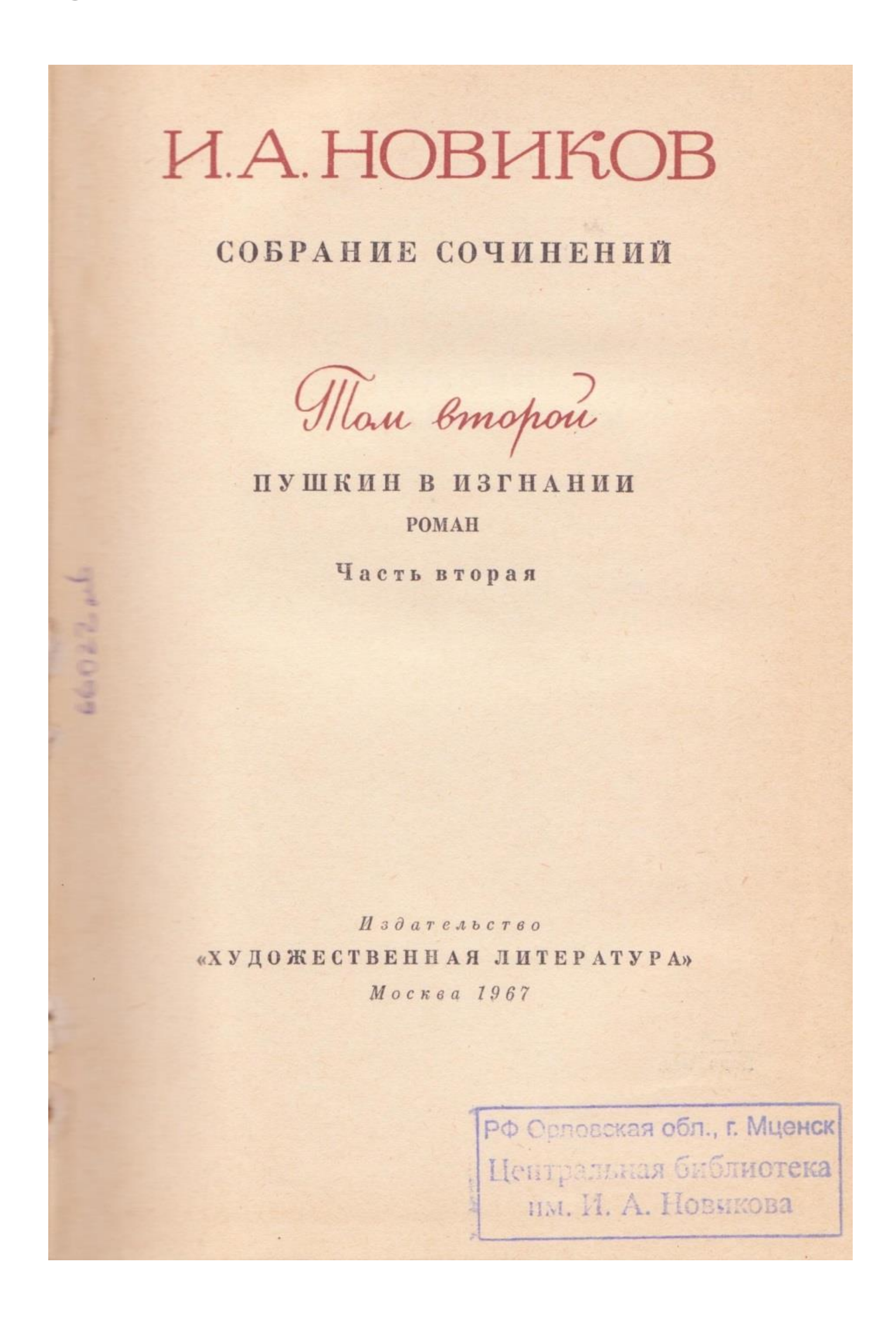
Оглавление



И. А. НОВИКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том второй

ПУШКИН В ИЗГНАНИИ

РОМАН

Часть вторая

Издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1967

Глава первая

Прощание с Одессой

Те же шлагбаумы, полосатые версты, станционные смотрители, запах навоза, дым над трубой; та же дорожная пыль, выбиваемая копытами тройки и уносимая ветром на полгоризонта, и самый ветер — послеполуденный — зноен, горяч; повсюду уже пахло зерном, и ветряки махали крылами; вдали залегло рогатое сивое стадо, ближе к дороге лошади в тени одинокого серебристого тополя стоят, положив точеные головы на шеи друг другу, непрерывно и равномерно махая хвостами, отгоняя слепней; духота. Синее небо, желтая даль.

Пушкин ехал теперь тою же самой дорогой, что и два месяца тому назад, во время анекдотической и оскорбительной своей командировки на саранчу. Не сразу тогда на нее он напал, роилась она очагами, а поездка сама по себе была неплоха; езду он любил.

Все по пути было таким же, как и сейчас, только тогда не было жарко, мягче ложилась дорога, а степь утопала в цветах; воздух был полон пряной цветочной пыльцы, стенанья сверчков и скрипа кузнечиков. Пушкин, конечно, понимал уже и тогда, что «лорд» Воронцов затеял прямой поход против него, но еще ясно себе не представлял, чем завершится их распря. Он шумел у друзей, произносил эпиграммы, писал почтенному и добрейшему Казначееву, правителю канцелярии, зная отлично, что это будет ведомо и самому графу. Он называл свое жалованье не жалованьем чиновника, а пайком ссылочного невольника и заявлял о своем стихотворстве как о ремесле, отрасли частной промышленности, доставляющей ему пропитание и независимость. И однако, стараясь быть сдержанным, подумав немного, он прибавлял, переписывая: домашнюю независимость. Вот ныне его и наградили домашнею этою независимостью: едет и в ссылку, но и домой, и везут без жандарма!

Подчинившись приказу и играя отчасти роль этакого настоящего коллежского секретаря, стрелой пролетел он тогда уезды Херсонский, Елисаветградский, Александрийский, делая и сам скачки, как саранча, можно сказать, обгоняя ее,— от станции к станции и от местечка к местечку. О саранче, возвратившись, он отозвался довольно небрежно, но ее дикие скопища все же поразили его: местами лежала она на земле целыми кучами, густо ворочаясь и издавая глухой, отвратительный шум. Отдельные насекомые скакали ему на грудь, на рукав. Они были желты, как лимон, а большие отвесные головы синели тяжелыми челюстями, выглядывая из тугих темно-зеленых воротников, и были как головы надменных, но обиженных богом начальников; брезгливым, однако же точным движением изысканного ногтя он их сощелкивал в пыль.

Зато уже вовсе недавно, всего две недели тому назад, он целиком излил душу старому другу — Александру Ивановичу Тургеневу, дав краткое, но точное определение своего шефа: придворный хам и мелкий эгоист. Он видел в поэте коллежского секретаря, а тот о себе думал что-то другое…

И все же, думай не думай, все кончено: как был он изгнанником, так и остался!

Последние одесские дни памятны все, один за другим можно их пересчитать. Он и покинул Одессу, и увозил этот город с собою. Больше того: он увозил ее — жизнь свою там — более цельной, прозрачной; все ежедневные мелочи сами собой отпадали (или сду-

вал их этот ветер дальнего путешествия, так свежо бивший в лицо?), и возникало лишь наиболее основное и яркое, запечатлевшееся в самой нежной глубине. Граф отплывал в Юрзуф, как восточный сатрап, даже пальнули из пушки, когда на мачте взвился флаг. Так и отбыли… да, кавалеры и дамы — до тридцати приглашенных, но в их числе не было Пушкина. Он готов был кусать себе пальцы от злости, обиды. Ему было горько, особенно после того, что произошло наконец — нежданно совсем, когда он уже вовсе отчаялся,— на даче Рено… Отныне она вошла в его жизнь.

Он не явился на проводы, но издали долго следил, как отплывала красавица яхта, серебрясь парусами. Ему и отсюда грезилось воздушное белое платье графини Елизаветы Ксаверьевны, гордая ее легкая шея и крестик, который он целовал, смеясь, что она его сделает добрым католиком. «Но я уж давно православная!» — возражала она; тогда он целовал мимо креста… Свежий ветер дул с моря, и яхта лавировала. Будет ли легок ей путь?

Чувства его несколько позже легли и на бумагу:

Морей красавец окрыленный! Тебя зову — плыви, плыви И сохрани залог бесценный Мольбам, надеждам и любви.

Это не было в нем мимолетным сентиментальным движением сердца. Это было глубокое и полное чувство. Яхта скользила, меняла свои очертания и уменьшалась, но, казалось, и издали его досягал быстрый взгляд небольших этих глаз, немного лукавый, немного печальный.

Он не мог сразу увидеться даже с княгиней Верою Федоровной, милой женой милого Вяземского, гостившей в Одессе. Едва замечая людей по пути, прошел он к извозчичьей бирже. Освежающим запахом и конским навозом одновременно пахнуло в лицо. Бородатый извозчик Береза, давний знакомый, первый заметил его и подкатил — с ухарским грохотом, щеголевато округляя из плисовой безрукавки кумачовые свои локти и цокая на рыжую пару.

— На хутор Рено!

— Так точно, мы знаем,— отозвался невозмутимо Береза.

Пушкину нравилось, что между каштанов и тополей, у синего моря, есть человек с этаким северным прозвищем; оно напоминало ему ту березу, которую он увидел, перевалив через Крымские горы: такое родное, русское дерево… Он был порядочно должен Березе, но упорный возница пока не отчаивался. Облако пыли окутало их.

На даче Рено было пустынно, как если бы никто никогда здесь не жил. Впрочем, Пушкин заметил, как на террасу поднялся старый слуга, наводивший, по-видимому, последний порядок покоя. Седок приказал остановиться, не доезжая, выскочил и побежал, как на свиданье, к знакомым пещерам, холмам. Все ему здесь было близко и больно. Сумрачная и влажная прохлада полнила грот, и неумолчно, как в раковине, бились протяжно прибрежные волны. Он постоял, не решаясь присесть в одиночестве; это еще обострило бы его уединенную боль. Море отсюда, в нависшей каменной рамке, блистало и билось, стесненное. Так же под сюртуком билось в груди столь же стесненное сердце. И медленно Пушкин вышел на солнце. Безмолвно и ослепительно было окрест. Красивая дача счастливо лежала в долине, зеленея на фоне пустынных холмов. У старика, коммерции советника Жана Рено, хороший был вкус!

Пушкин не знал, что ему делать. Не было ни слов, ни движений, которые дали бы исход все поднимавшемуся в нем томлению. Он было сел на камень, но нет… Этого благодатного внутреннего разрешения не было. Зноем дышала раскаленная почва, и он инстинктивно лег прямо на землю грудью — ничком. Мелкие камешки почти обжигали, а сухие отстой выжженных трав, смешанные с известковым запахом пыли, были пряны, остры. Он явственно слышал, как сердце ударялось в самую землю. Это была неутоленная страсть.

Но вот он внезапно и быстро вскочил и, заломив руки за шею, потряс головой, как после купанья: недлинные волосы взвеялись в воздухе. Шляпа лежала невдалеке, он поднял ее, отряхнулся; довольно безумств! Теперь он готов был к свиданию с доброй княгинею Вяземской.

Более лирическими были поездки в лунные ночи — все на тот же хутор Рено. Между жаркою кровью в груди и призрачным, холодноватым простором лунного моря устанавливалось какое-то гармоническое равновесие, и одиночество не причиняло тогда столь острых страданий.

И ночные прогулки бывали всегда более длительными. Он забывал о часах и замечал протекшее время лишь по тому, как дробящийся месячный столб переходил по другую сторону острого камня, маленьким мысом воткнутого в море. Думы его были здесь шире и подвижней и не были думами об одной лишь возлюбленной, хотя образ ее все время в душе был ощутим. Море дышало, ходило волнами — огромное, но серебряный свет его не покидал. Неудержимо влекло куда-то отплыть. Однако же мысли в таком состоянии не обретают словесного своего воплощения — приходит обычно оно значительно позже.

Никто в Одессе не мог бы в нем открыть и следа потайной этой внутренней жизни. Ничем он себя не выдавал, и разве лишь Вера Федоровна Вяземская шутила, отчасти догадываясь. Шутил с нею и он. В ней была милая женственность, и Пушкин ей нравился. Хотя и была она старше на несколько лет, отношения их были даже несколько вольны.

— Покинули вас все ваши пассии…

— Вы хотите, княгиня, сказать, что я также теперь их должен покинуть, раз судьба мне оставила вас?

Он говорил с тем нарочитым легким лукавством, которое, приближая, несколько и отдаляет.

Княгиня слегка розовела и уклонялась:

— Я знаю, вы больше всего вздыхаете по Оле Нарышкиной…

— Конечно. Удобная женщина…

— Как вы выражаетесь!

— А разве не верно? Муж целый день спит. Эту сонливость кузен его, граф Воронцов, давно оценил.

— В этом вы правы, дорогой Александр. Но не странно ль: Элиз, кажется, мужа совсем не ревнует. Отчего бы, скажите!

Так потихоньку она подбиралась, чтобы выведать что-нибудь о Воронцовой. Конечно, при этом она сильно хитрила: именно ревность Елизаветы Ксаверьев-ны очень могла бы быть на руку Пушкину. Порою над этим романом она немного подсмеивалась, иронизировала.

В сущности, они очень дружили. Вяземский просил жену устроить в Одессе Кюхельбекера, товарища Пушкина по Лицею, и вместе они составляли записку для Воронцова. Из этих хлопот, весьма энергичных, ничего, однако, не вышло. Графа сильно шокировало смелое обхождение Вяземской, и, относясь к ней с изысканной вежливостью, в сущности, он терпеть не мог этой московской княгини и отстранял ее от жены. Не мог он понять и дружбы ее со ссыльным поэтом. Узнав же, что Кюхельбекер также поэт, Воронцов, вероятно, подумал: «Довольно с меня и одного!»

Пушкин и Вяземская много гуляли; дети оставались дома на няню.

На улице княгиня хорошела: не было зеркала, и забывала, что некрасива. Гибкое тело ее дышало уверенно, ножки были малы. На берегу становилась она на огромные камни, выступавшие в море, но каждый раз убегала перед девятой волной. Впрочем, однажды, когда

Воронцова еще не уезжала, всех их троих окатил огромный вспененный вал, и дамам пришлось мокрыми бежать на дачу. Пушкин тогда яростно торжествовал, а позже не раз вспоминал «эту баню» и счастливо смеялся. Мужу писала она, что начинает любить его любовию дружбы. Как-то раз на камнях вдвоем провели они около часа под сильным дождем, чтобы поглядеть на корабль, разбитый бурею. Пушкин был немногословен. Покусывая губу, он мрачно глядел, как волны трепали остатки снастей. Она ни о чем не любопытствовала, но знала, что он был мыслью не с ней. Однако, когда наконец Воронцова из Крыма вернулась — без мужа, одна, Вяземской нечего было гадать: эти немногие дни, «после сорокадневного поста», как сама она над ним подшутила, Пушкин горел, как свеча. Елизавета Ксаверьевна, впрочем, никак себя не приоткрывала. Она оставалась все тою же легкой, изящ- ной и подвижной, чуть церемонной, даже, случалось, надменной на людях и кокетливо-сдержанной при Вяземской с Пушкиным. Она была скрытна, и это для Пушкина было особенно дорого: она охраняла их общую тайну.

Это была всего только неделя — самый конец душного и пыльного городского июля. Дача Рено вновь зацвела.

Воронцовская яхта плыла из Одессы в Юрзуф целых восемь суток. Когда молодая графиня вернулась, Пушкин шутил, что это его вздохи над морем ее не пускали и вызвали бурю. Елизавета Ксаверьевна дарила его нежным стремительным взглядом и о чем-то задумывалась.

Не белеют ли ветрила, Не плывут ли корабли?

Эти немудреные стнхи очень любила она и часто твердила их, стоя у моря и глядя, как убегало оно в синюю даль, подернутую солнечной дымкой, между тем как вуаль ее также скользила по ветру, чуть задевая светящиеся на солнце золотистые локоны. Что-то свое вкладывала небольшая эта изящная женщина в полюбившиеся ей плавные звуки: может быть, долгую девичью жизнь в Александрии, в деревне, когда ни единого корабля не было на горизонте? Но зачем повторяла теперь? Или это была присущая ей вообще неудовлетворенность, мечтательность? Как бы то ни было, но от ее милого ротика нельзя было оторваться, а сами слова звучали с такою пленительностью, что невольно трогало это все вместе и заставляло рукою искать ее руку.

Часто теперь гуляли втроем: Вяземская, Воронцова и Пушкин. Имя графа Михаила Семеновича между ними на этих прогулках вовсе не произносилось. Пушкин бывал, как и всегда, очень неровен: от задумчивой мрачности до настоящего мальчишества. Угрюмость его и молчаливость не особенно трогали дам, этим он ничего не выигрывал, но шалостям и болтовне смеялись без умолку. То прыгал он по камням через воду и, нагибаясь, брызгал на солнце, то, забежав, скрывался за куст и выскакивал оттуда настоящим ягуаром, вращая белками.

Впрочем, все чаще взгляд Воронцовой застилался печалью. Она уже знала, что судьба ее Пушкина была предрешена, что он должен покинуть Одессу, только не знала наверное, как это произойдет и когда.

А между тем за кулисами, в скупом и бесстрастном генерал-губернаторском, даже придворном, а то и в простом канцелярском быту творилось делопроизводство, пущенное в ход властною графской рукой. С английской надменной выправкой, которая и самую вежливость его делала, по существу, особливо оскорбительною, граф Воронцов соединял упорство, упрямство, презрительность и то изощренное самолюбие, которое не забывает и самой последней мелочи. Он уже совсем не мог выносить этого юнца, который чересчур о себе думает и ни с чем и ни с кем не считается. Почта скакала на юг, почта скакала на север. Среди других писем, исполненных забот о стихах и деньгах, одному из близких товарищей

великим постом Пушкин неосторожно писал: «Читаю Шекспира и Библию, святый дух иногда мне но сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь знать, что я делаю: пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма». Это Александр вспоминал о докторе Гунчисоне.

И в это же время, также на север, графу Нессельроде слал письмо Воронцов — о молодом человеке, не лишенном дарований, собственный интерес которого заставлял великодушного графа желать его удаления из Одессы. Льстецы ему кружат голову, а он в действительности только слабый подражатель лорда Байрона, в пользу которого тоже можно сказать очень мало. Все это отрывает его от изучения великих классических поэтов, а потому собственное его удаление из Одессы будет лучшею услугой для него самого… «Повсем этим причинам я прошу ваше сиятельство довести об этом деле до сведения государя и испросить его решения по оному… Повторяю, граф, что я прошу этого только ради него самого…» Эти просьбы потом были еще и повторены; писал Воронцов и самому императору и, уж верно, не только сторонкой — о Байроне и о классиках, — а и попрямее.

А из Москвы в Одессу шло Пушкину предупреждение не ссориться с властью. «Сделай милость, будь осторожен на язык и перо. Не играй твоим будущим… Ты довольно сыграл пажеских шуток с правительством, довольно подразнил его, и полно!.. Нам не дается мужествовать против него; мы можем только ребячиться. А всегда ребячиться надоест». Так другу писал князь Петр Андреевич Вяземский.

Однако, вернувшись из поездки на саранчу, Пушкин подал в отставку.

Раевский Александр Николаевич, загадочный друг, это прошение ему диктовал по-французски — в выражениях столь ядовитых и едких, как будто бы дело касалось лично его: так он был оскорблен за приятеля! И еще писал Пушкин — уже Казначееву — сам, совсем не стесняясь: о двух несовместимых вещах — о покровительстве и о дружбе, на которые он не может, да и не хочет претендовать, особливо же на покровительство Воронцова: «Ничто, сколько я знаю, не принижает более, чем покровительство… У меня есть на этот счет демократические предрассудки, которые стоят предрассудков аристократической гордости. Я жажду только независимости… Я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника…»

Просьба его была передана все тому же министру Нессельроде, и ответ на нее наконец воспоследовал. Распоряжение пошло по инстанциям. Все было сделано просто, точно и деловито. Скрипели отборные гусиные перья, подписи начальников ложились как акт священнодействия и угодливо тут же присыпались песком. И каждая подпись скрепляла предопределенную участь молодого коллежского секретаря, которого судьба угораздила родиться поэтом.

Пушкин был вызван, и Пушкину было объявлено. Объявлена высылка в Псковскую губернию, к родителям. Объявлен маршрут: через Николаев, Елисавет-град, Кременчуг, Чернигов и Витебск («Маршрут сей до Киева не касается»). И, наконец, выданы деньги, по числу верст — 1621, на три лошади — 389 р. 4 к.

И вот уже не дни, а часы стали считанными.

О высылке все же узнал до официального ее объявления. Он прибежал к Вере Федоровне, не помня себя, прямо с дачи Рено. Вяземская увидела еще из окна черную эту фигурку, как он с открытою головой перебегал через площадь. Стояла жара, и одесская пыль накалена была в воздухе. В первую минуту ей стало смешно, и она даже переступила от внутреннего хохотка с ноги на ногу: княгиня была по-детски смешлива. Так и встретила бы она его каким-нибудь фамильярным словечком, вроде: «Это что же еще за чучело такое!» — да отошла от окна, чтобы поправить цепочку на шее и прикрутить покрепче и без того

крутые букли свои. Так он предстал перед ней без доклада, но уже ничуть не смешной: Пушкин имел трагический вид. Непостижимо внезапно он похудел, резче стали черты, явственнее выдавались желтоватые скулы.

— Я вас никогда не видала таким,— сказала княгиня, и в голосе дрогнуло сложное чувство тревоги, жалости и доброты.— Вы от Элиз?

Пушкин кивнул головой. Рот его был приоткрыт, но он не произносил ни слова.

— Неужто поссорились?

Он сделал жест, как будто хотел снять наконец шляпу, но только провел рукою по волосам. Рассеянно он взглянул на руки. Тяжелое золотое кольцо блеснуло на пальце.

— Я, кажется, к вам без шляпы и без перчаток. Простите меня.

— Я пошлю человека за вашею шляпой. Хорошо, что вы не оставили там головы.

— Нет, головы я еще не потерял,— ответил он после молчания,— но…

— Что же? — спросила она и подошла к нему ближе,— Ну, признавайтесь! — И слегка поерошила курчавые его, с золотистым отливом, темные волосы.

Он взглянул на нее снизу голубыми своими глазами. В них уже не было ни смятения, ни торопливости. Вере Федоровне в эту минуту он показался обиженным мальчиком.

— Меня высылают. На родину. И она отказалась со мною… Я хочу на корабль, да и… по морю! Может быть… да, помогите мне в этом.

Это была действительно мальчишеская мысль. На секунду у Вяземской кольнуло на сердце: зависть не зависть, но все же капелька горечи: «Как он, однако, влюблен!»

Напротив трюмо отражало сидящего перед ним молодого человека со скрещенными стрекозою ногами, матовым цветом лица и высоко откинутой упрямою головой; видела она и себя рядом с ним: худую и узкую, но все же с широкою костью и с этим — увы! — некрасивым, но характерным лицом, на котором единственно что хорошо было по-настоящему — это мягкие каштаново-золотые глаза. И глаза эти, очень умевшие смеяться, глядели сейчас очень сосредоточенно. «Она отказала… но в чем? Ужели же мог он серьезно подумать, что она согласится бежать? Ведь если бы Воронцова не знала давно, что его отъезд предрешен, вряд ли бы даже…» Но и про себя она не договаривала, ей не хотелось быть злой.

И, успокоив немного взволнованного поэта, она принялась обсуждать вместе с ним, вовсе по-деловому, эту попытку скорого бегства. Под конец она и сама увлеклась необычностью этой затеи. А Пушкин вскочил и стоял перед нею, готовый тотчас же что-то начать, незамедлительно действовать.

— Я нынче же сбегаю на корабли. Я все разузнаю.

Мысль эта — бежать! — его обуяла. Что-то взметнулось в нем от его же «Цыган», еще не законченных, и от бродивших в нем свежих воспоминаний о кочевьях и таборе. Пусть хоть и дикая, да лишь бы свобода! Ночные морские мечты снова в нем закипали. Он потер себе шею, как бы теснимый тугим шелковым галстуком, скрывавшим ворот рубашки.

— А деньги?

— Денег найдем! — заговорщицки ответила Вяземская.

Он побывал-таки действительно и на кораблях, взяв с собою и Морали, полумавра и полунегра, к которому часто заглядывал в последнее время «отдохнуть от эпиграмм». Пушкин любил от души этого «сына Египетской земли», хоть и был мавр Али из Туниса. Морали был отлично сложен; желто-бронзовый лик его был рябоват. Когда-то и сам был капитаном, но для капитана несколько слишком богат, и оттого Пушкин его величал, полушутливо и полусерьезно, «корсаром в отставке».

Мавр оживился при одном слове «корабль». Он облекся для выхода в полный парадный костюм. Поверх шелковой красной рубахи статные плечи его облегла суконная алая куртка,

богато шитая золотом; весь он под солнцем горел. Турецкие башмаки на ногах и чулки до колен. Два восточных платка довершали наряд: один опоясывал по талии короткие его шаровары, скрывая в цветных своих складках целый набор пистолетов; другой платок, белоснежный, обрамлял массивную его голову. Он не расстался и со своею огромною железной палкой, похожей на лом.

Прихватил свою палицу также и Пушкин. Он не оставил и здесь эту свою привычку, приобретенную в Кишиневе.

Так они оба и шествовали мимо платанов и тополей, меж сюртуков и халатов, быстрых ребят и медлительных женщин с корзинками, минуя немало знакомых подъездов и ресторанов. Особняки перемежались малыми домиками; кошки, свернувшись в клубок или распластавшись ничком, лежали на жарких камнях во дворе. Из восточных кухмистерских тянуло пахучим барашком и перцем, маслинами и миндалем, разноцветные фрукты покатыми горками светились в палатках. Пушкин все более загорался своей новою мыслью. Черный сюртук ладно охватывал его небольшую фигуру, смуглый румянец пылал на щеках. Он быстро кивал головой многим знакомым: мужчины на дрожках, дамы в колясках. Рядом с ним выступал Морали, высокий, плечистый и важный: из-под снежной чалмы углем блистали глаза. На обоих на них оборачивались и глядели им вслед.

Под истомленным, выцветшим небом плыл ветер от моря. В порту, колыхаясь, чернели крутыми боками суда, и паруса плескались лениво на отдыхе. Отдыха не было людям: чистили, мыли, грузили, ругались. Ленивый и подвижной, угрюмый и беззаботный разноязычный народ.

На кораблях они побывали не раз, но ничего делового, конечно, не вышло, хоть и была эта мечта — покинуть Россию — совсем не простой минутной фантазией. Еще этой зимой как-то писал он младшему брату Левушке о том, как бы тихонько взять трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь.

Но Морали, хоть и корсар, на кораблях, где их встретили шумно-гостеприимно, проявил свою удаль главнейше в крепких напитках. Пушкин же, сразу понявший тщету своего предприятия, ничуть от пирата не отставал и, разойдясь, щекотал своего янтарного друга.

Так пировали они целых три дня. Пушкин пил много, но не хмелел, голова оставалась ясна.

Вера Федоровна между тем заботливо его собирала в дорогу. Пушкин к ней забегал ненадолго. Она крепко журила его, и он не обижался. Старый дядька Александра Сергеевича, Никита Козлов, со всеми делами обращался теперь непосредственно к ней, и даже коляску в дорогу, которую он деловито выглядел и, крепко поторговавшись, купил, осматривала и принимала все она же — заботливый друг.

Ей казалось теперь, что она уже все понимает. За последние дни только раз видела Елизавету Ксаверьевну: та была необычно мрачна и, кажется, сильно страдала. Это понравилось Вяземской, и во многих мыслях своих очень она заколебалась. Что же до Пушкина… Пушкин уедет, как уехала красавица Ризнич, о которой она только слыхала; и от этой разлуки не умер, однако, поэт. Кто-то недаром сказал про него, что предметы его увлечений могут меняться, но страсть остается при нем одна и та же. Приблизительно так начинала думать теперь и она.

И лишь об одном Вера Федоровна даже и не догадывалась — а это второю занозой сидело у Пушкина в слишком доверчивом сердце,— не знала его подозрений по поводу близкого друга — Александра Раевского. Подозрения эти вспыхнули остро, внезапно, хотя кое-что, по правде сказать, и ранее смутно мерещилось. Недаром однажды мелькнуло в

письме: «…да и не очень-то знаю, что такое мои друзья»; и писал ведь как раз по поводу своих обострившихся отношений с Воронцовым… Но вот именно что-то было такое в Елизавете Ксаверьевне в эту последнюю их бурную встречу, что осенило его.

— Раевский нее вас предупреждал!

— О чем? Но мы ведь с ним вместе писали письмо об отставке!

Не этот ли друг, имевший над ним страшную силу, почти что магическую, — не он ли устроил все так, что его выгоняли теперь из Одессы? И не он ли тайком порабощает графиню? Но об этом ни звука — ни Вяземской и никому; даже в себе старался тушить — или залить — едкие мысли.

Петр Андреевич Вяземский должен был Пушкину за «Бахчисарайский фонтан», тот не хотел всего брать: по изданию были расходы, да у Веры Федоровны и у самой не было денег; и однако ж — достала; быть может, у кого-нибудь и сама заняла, но отдала ему все. Кроме того, Пушкин как раз выиграл в карты, но шестисот рублей ему недоплатили, он взял их у Вяземской же: должник его обязался ей возвратить. Сборы покончены; ехать!

Двадцать четвертого июля Воронцов из Симферополя распорядился о Пушкине одесскому градоначальнику графу Гурьеву, а 29-го от Пушкина отобрана была собственноручная подписка о выезде и о маршруте; 30-го вечером слушал он оперу, а 31-го уже выехал — утром.

Пушкин и занимал и расплачивался. Перед самым отъездом он распахнул окно в клубном доме, где жил, откинул рукой занавеску и перегнулся на улицу. Шумела под ним конская биржа. — Эй, кому я там должен!

Должен был многим, и все услыхали. В том числе и извозчик Береза получил свое полностью и даже с прибавкой за долготерпение.

Вяземская, проезжая мимо, видела всю эту «народную сцену» и не могла не рассмеяться.

Самое их расставанье было коротким. Княгиня к нему чуть наклонилась, поглядела, как в синее море, в глаза своего Александра и, крепко зажав бедовую эту кудрявую голову, сильно и коротко притянула к себе, тотчас же, однако, и отстранив. Он ее с чувством, с горячностью поцеловал.

— Все ничего, Александр! Мы не забудем вас. Мы будем писать…

Это коротенькое и многозначительное «мы» было горячим и дорогим ему словом. Быстро он тронул где-то между своих сжатых бровей и повернулся на каблуках. Уходя, он с собою унес запах ее духов и последнее, от сердца идущее напутствие: — Ну, Александр, мужайтесь!

Думы и думы; версты и версты; почтовые станции. Завтрак: яичница с луком, кусок ветчины — от окорока, висящего под крышей возле крыльца, стаканчик вина. Мухи шумят, бьются в стекло, картинки из Библии, на скатерти красные орут петухи. Что за смотритель: нет даже дочки! Больная жена легонько постанывает за занавеской. Пушкин стал у окна. Все эти дворы похожи один на другой. Конюшня, сарайчик, крапива. Он видит, как охаживает коляску длинный его, в бакенбардах, Никита: он и с коляской как нянька. Но на дворе оживление: встретились почты — на север и с севера.

Пушкин глядел и не знал (да и как это знать!), что вовсе недавно на этом самом станционном дворе встретились так же — почта и почта. На север как раз шло то самое его письмецо, о котором с таким удовольствием он только что вспоминал,— про придворного хама, а навстречу шло отношение к этому самому «хаму» от министра иностранных дел Нессельроде, где государь возвещал свою волю о Пушкине.

Так же тогда, как п нынче, лениво, но аккуратно, сумки валили в тележки, лошади так же бодро пофыркивали, ямщики подправляли кушаки и поглядывали, не нагрянет ли туча, а станционный смотритель с подвязанной серым платком разбитой щекой так же невнятно и косноязычно шипел, потому что орать мешала скула. Он не мог не ругаться и не распекать по той самой причине, по которой хорошее эхо не может безмолвствовать. И он был тем перекрестком, где пересекались пути низовой молчаливой России и одаренных голосом свыше господ. Но и ему, как почтальону, как ямщикам, решительно не было дела до того, что таилось в баулах и сумках, пересылаемых с юга на север и с севера на юг. Это был разговор по верхам.

Воля монарха о Пушкине… Вот ему самому любопытно было бы вникнуть, как все там возвышенно было изложено, а впрочем, самую суть этой воли Пушкин знал хорошо и уже выполнял. В Одессе еще он уже знал, что его письмецо об «афеизме» перехвачено было в Москве и послужило предлогом к высылке. О нем еще будет у Пушкина переписка с самим императором! А пока что и его самого, как почту, пересылали — сперва на юг с севера, а вот нынче — с юга на север.

Завтрак окончен. С подорожного кончено. Смотритель вздыхает, поправляя повязку. Не только до почты — ему никакого нет дела и до проезжающего: довольно того, что не завзятый драчун, а человек будто бы мирный.

Лошади тронули, и снова дорога: версты и версты, думы и думы…

Глава вторая

Дорога

Думы Пушкина, впрочем, порою не очень-то были связны и отчасти мешались. Дорога местами была довольно тряска. Никита Козлов, в новой татарской ермолке, подаренной барином, громко посапывал и клевал носом, но, во всяком случае, ничему не мешал. Мягко и ровно бежала навстречу дорога; пустынная степь полна была запахов, и ноздри у Пушкина слегка раздувались. Он и молчал, но не оставался в покое, всякая резкая мысль вызывала движение. Изредка он как бы что с себя стряхивал. А не довольно ли Воронцова? Черт с ним совсем, с Воронцовым! Если так много думать о нем — это, в сущности, быть от него как-то зависимым. Граф свое сделал, но и… свое получил! Пожалуйста, будьте покойны, ваше сиятельство!

Так к сокровенному, большому и пылкому чувству Александр Сергеевич добавлял и того озорства, мальчишеской злости, веселья, которые пенились в нем всю его жаркую юность; и так оба те чувства, не противореча одно другому ничуть, скорее друг друга крепили.

Это обычно: всякая трудность его возбуждала, подхлестывала. Так было с детства, через лицейские годы, Петербург, Кишинев; такова же была и Одесса. Брать, нападая; подчас задирать, даже бесцельно, чтобы возникла из столкновения вполне настоящая, хоть и условная ценность; честь, которую надлежит защищать с пистолетом в руках,— в этом было дыхание жизни. Но о дуэли с такою персоной нечего было и думать,— а жаль…

Певец Давид был ростом мал, Но повалил же Голиафа, Который был и генерал И, положусь, не проще графа.

Однако ж тогда издеваться уж было бы нельзя, большая игра требует строгости и уважения. Но здесь была пущена в ход голая власть, а потому, веселясь, в ненавистном ему феодале мысленно он поражал простого ревнивца, умного дурака, которого удалось обмануть.

А впрочем, тут Пушкин невольно смыкал свои казавшиеся чуть набухшими, как у матери, веки, и при движении этом тотчас ощутимее становился все набегающий ветер, уже с едва уловимой прохладой, быть может, несущий отдаленную влагу, - ужели с Днепра? Брови немного от ветра ломило, только сейчас и заметил, но все ощущения эти были приятны. Закрыть глаза, ничто не рябит перед ними, не отвлекает, и мир воспринимается больше через осязание: самое сладостное н самое острое из всех наших чувств.

Эта едва ощутимая летучая влага, и эти касания, ц как неустанно и нежно скользила струя упругого воздуха — все это уже далеко и от мыслей и от борьбы, это вкушается самая жизнь — недавняя, страстно взыгравшая вновь, ворвавшаяся в сегодняшний день. Воспоминание вставало отнюдь не в слова, было оно столь же живое, как самая явь, и омывало его потоками чувств, осязаемых образов. Он неосознанно делал движение ртом, как бы освежая пересохшие губы, и открывал сразу глаза. Голубизна их глядела сгущенная, и влагой на них покоилась нега.

Так бы, казалось, и оставаться, покоиться и самому, но опять и опять, как сургуч на письмо, полное нежного чувства, капала горечь разлуки, насилия, над ним учиненного. И вот

он порывисто вытягивал ноги и расправлял плечи, переплетал длинные пальцы и Еыкидывал их к спине ямщика.

— Пошел! Погоняй!

Торопиться ему было некуда, незачем, но были необходимы движение, быстрота. Если бы шел, железную палку кинул бы перед собою и побежал ее догонять.

Кони прибавили рыси. Он поглядел на худые свои и небольшие крепкие руки, приблизил к глазам. Перчатки торчали из-за сиденья: не надо, теперь ни к чему! Но под ногтями набилась дорожная желтая пыль. Хотел их почистить — щеточки были в ларце: оставим до вечера!

Аккуратно обернутый ватой, в ларце же уложен был и драгоценный предмет — загадочный сердоликовый перстень с еврейской надписью — память и талисман. Он ни за что не хотел подвергать его случайностям дороги и только повел глазами к задку запыленной коляски.

Никита все спал. Голова его перестала качаться, он круто откинул ее и опирался теперь затылком йа???порыжевшую кожу задка, тщетно стараясь вытянуть всласть свои непомерно длинные ноги. Высокий кадык время от времени ходил по жилистой шее: Никиту, видимо, мучила жажда, и он глотал слюну. Лицо его было невинно, спокойно. Пушкин глядел, как сладко спал человек. Потом ему пришла в голову шаловливая мысль. Он вытянул из-под подушки сиденья торчавшую оттуда соломинку и пощекотал у Никиты за ухом: детское баловство! Никита в ответ только смешно мотнул головой. Потом соломинка поползла по щеке, и спящий щекой как бы смаргивал ее прочь. Забавней всего оказалось у носа: кожа морщинилась, ноздри кривились и раздувались, пока, наконец, не раздался оглушительный чих. Человек в бакенбардах метнулся, моргнул и открыл белесые очи, в которых клубился еще крепкий, дремучий, непроворотный сон. Он был столь глубок, что воспитанный этот слуга, силясь бодриться, выпалил, как настоящая деревенщина:

— Может, прикажете… самоварчик уздуть? Александр Сергеевич громко и весело захохотал: Кишинев и Одесса — вот они, рядом!

Понемногу отошел ото сна Никита, вновь обретая свой строгий и выдержанный вид рачительного дядьки при молодом барчуке: он еще часто глядел на него как на дитятко. Ехали уже третий день, к потемкам должен быть и Кременчуг. Самая крепкая Украина. Да, Кишинев… да и Одесса — они позади. Дыхание глубже, ровнее; и мысли спокойней; и само ощущение жизни более цельно и просто.

Деревни теперь мелькали погуще. Белые мазанки, старики, полуголые ребятишки, хутора побогаче в долинах — с холмами кудрявых садов, с собачьим заливистым лаем. Подсолнечники из-за плетней сгибали свои тяжелые головы. Дыни на огородах лежали, как поросята на солнце. Брызгами из-под колес прыскали простодушные куры, и, вытянув змеиные шеи, шипели — тоже неумные, но злые — гусыни. Народ по пути был молчалив, с неохотой ломая высокие шапки; случалось, какой-нибудь парень нарочно при встрече глядел в облака, как будто пора уже было лететь журавлям… Тугие, но прочные думы грелись под этими теплыми сизыми смушками.

К вечеру зной понемногу спадал. Днепр ощутимо дышал на расстоянии, еще умеряя жару, и ветер бил им обоим в лицо — широкий и свежий. Еще погодя на западе медленно стал созревать алый закат.

И там, на закате — где-то невдалеке на водах Тяс-мина,'— столь памятная ему Каменка… Ему ставят в вину две строчки в письме об «афеизме» — там были вещи покрепче и поближе к земле. Освобождение крестьян, истребление царской фамилии. Он стал уже

много спокойней и рассудительней, но и теперь все его симпатии — там. Сложились бы только удачные обстоятельства — и все эти люди покажут себя…

И вспомнил морозную украинскую ночь, иней на деревьях за окном, треск пылающих дров за решеткой камина, свечи, огромную залу, мундиры, рождение тайного общества и смелые речи… и как там жестоко над ним посмеялись! Не доверяют? Однако ж и сам он чувствовал крепкий запас неистраченных сил. Он и сам еще с императором поговорит!

И все же езда убаюкивала, версты бежали, стлалась дорога. Сколько воспоминаний! Молодость, где ты, ужели прошла?

Каменка… Киев, Раевские… Если бы можно было туда подать хоть короткую весточку! Но маршрут его точен, и Киев ему запрещен.

Закат наливался все гуще — палевый, алый, кое-где наверху подернутый легкой, прозрачной прозеленью. На фоне его два одиноких дерева,— вероятно, кладбище,— одно из них накренилось, но, в противовес, изогнутый сук, как рука, страстно перерезал пылавшие облака: сочетание покоя, заката с гневным протестом.

И вот, наконец, за горизонтом, вдали, узко блеснула полоска воды. Понемногу она вырастала и глянула полной рекой. На той стороне — Кременчуг.

Когда-то давно он был уже здесь. С тем же Никитой, ходившим за ним как добрая нянька. Он был еще, в сущности, мальчиком, хотя… хотя и тогда казалось ему, как высылали его из Петербурга, так же насильственно вырвав из горячей его и беспорядочной жизни,— казалось, что молодость уже позади. Почему-то всегда это чувство сопутствует дням его жизни; и обостряется ночью, и особенно — если деревня и тишина.

— А помните, батюшка барин,— тоже мягко и по-просту отозвался Никита Козлов,— помните, как мы скакали с вами сюда? Какою околицей? И, боже ты мой, сколько краев!

Пушкин ответил:

— Все помню, Никита.

— И как старый барин, справляя в дорогу, сказали — береги, дескать, барчука ото всякой напасти.

Пушкин вздохнул: предстояло свидание с дорогими родными!

— И как еще Сергей Львович добавили: «И ларчик, Никита, смотри береги. Приедешь — спрошу».

Пушкин опять промолчал, но усмехнулся.

Улыбка, однако, была коротка. Больше всего запало в него «сколько краев!». А Никита, он видел, был предоволен, что теперь-то уж едут в родные края…

Могучую реку переезжали при факеле. Паром был пустынен. Городская коляска напоминала собою усталое пыльное насекомое, у которого не хватало силы самому перелететь через воды. Одинокие фонари бледно сияли на том берегу, с силой дробилось и прыгало в крепких струях их отражение. Кони пофыркивали и тянулись к воде. Коренастый усатый ямщик потрогал в паху у пристяжной.

— Погоди еще трохи. Остынешь, так выкупаю.

— А потом поводи, чтобы на ноги не пало,— заметил Никита, движимый вековою, опять-таки деревенской заботой, любовью к животным и стародавними знаниями.

Ямщик ничего не ответил, неразборчиво только буркнул в усы и крепко протер пх меж пальцами. Смысл недовольного бурканья ясен был Пушкину: чего там еще — поводить! Ему ли не знать — ямщику! — всю повадку п всю природу коней!

Пушкин сам в разговор не вступал, но послушать любил. За словами всегда возникал новый характер, свежие чувства. Да и самая речь, далекая книг, была наслаждением. Так вот когда-то слушал он и на Дону…

Под рубашкой ходил холодок, пробираясь к плечам. Одесская лава, потрескивая, в нем остывала: целый год жизни! Но эта река, безмолвная, важная, едва обозримая,— иная стихия, чем море, и стоила моря.

— Ты как пойдешь их купать,— обратился внезапно он к ямщику,— скажи мне. Я тоже пойду окунусь.

Он посмотрел на сапоги, на штаны — все было пыльно. Длинные ногти и в полутьме крепко были черны.

— Не застудиться бы вам,— с осторожностью вымолвил нянька Никита.

— А ты потом меня поводи, чтобы на ноги не пало,— передразнил его Пушкин.

— Да мы уже знаем, чего приготовить,— отозвался слуга, покорствуя и понимая.

И обоим им все же припомнилось, как четыре года назад в Екатеринославе он также, в недобрый час, видно, выкупался и слег в лихорадке. «Хорошо, Раевские-господа тогда отыскали, а то б пропадать!» А Пушкину живо представилось, как после озноба проснулся он весь в поту; Никита Козлов заботливо вытянул откуда-то — летом! — заячий старый тулупчик, который он прихватил «для всякого случая», и им отогрел барчука.

Нынче купанье прошло без вреда. Пушкин нырял и отфыркивался: особая прелесть пресной текучей воды!.. Он решил наконец отоспаться и с наслаждением вытянул ноги; не закрывая глаз, долго глядел в темноту.

Опять Кременчуг! Здесь он замкнул путь этих лет, как бы арканом окинув пространства и затянув их огромной петлею: и снежный Кавказ, и полуденный Крым, и вся Украина, Молдавия, и море, Одесса… А назавтра с утра — след в след, как ехал тогда из Петербурга,— дорога на север.

Тут он быстро свернулся, как в детстве, и, сомкнув обе ладони, сунул руки под голову: спать! Да и хорошо бы без снов!

Усталость дороги, купанье, речной охлаждающий воздух — ив довершенье всего ничего не приснилось; видно, и впрямь Одесса была позади.

Как и во всякой дальней поездке, после долгого отсутствия из родных палестин, бывает какой-то рубеж, на котором погода внутри нас меняется. Одна половина — это отъезд, расставанья, воспоминания; это как в гору: глянешь назад, а под тобой та страна, что покидаешь. Воспоминания живы и жгут, недавние образы отрываются с болью. Но вот — перевал, и в очень короткое время закрыта страна за спиной, а в новом тумане встает и мерцает то, что впереди. Это для Пушкина тоже былое, но более давнее, оно не печет, как открытое солнце, оно наплывает туманною дымкой, прежде чем стать знакомой и новою явью. Воспоминания эти не бегут по следам, догоняя, ими веет навстречу, они и мпротворят и освежают; пожалуй, что даже и молодят.

Так позади оказалась жаркая и золотая Одесса, и потянуло прохладным видением матовых гладей озер: где-то вдали — впереди — ждало Михайловское.

Пушкин катил теперь дальше — на Лубны и При-луки, Нежин, Чернигов. Все еще шла Украина, но здесь уже чаще мелькали березы, по ручьям ивняки. На одном перегоне глянула группа осинок: раннее золото чуть уже тронуло некрепкое дерево.

Дорога шла в гору, и Пушкин не вытерпел, спрыгнул на ходу. Он подбежал н потряс серенький ствол. Несколько желтых плавных кружков, колыхаясь, упало на землю, Пушкин серьезно следил это падение. Потом его взгляд скользнул за опушку, в глубь леса, и он увидал отличную кочку, густо покрытую пышным игольчатым северным мхом. Мох был как детство: и зимою за окнами на пушистых валиках ваты, и весеннею ростепелью по мочажинам в лесу. Брови расправились; ему стало * весело, беспричинно легко. Бездумно сложил он ладони у рта и гукнул совой, произведя переполох между мелкими пташками.

Орешник заколебался под солнцем, и обнажилась мохнатая гранка орехов. Дать себе волю — ушел бы далеко, но голос Никиты окликнул его, и он побежал, по-мальчишечьи перескакивая через зеленые кочки. Горстка спелых орехов все же была зажата в руке. В нем возникало теперь желание подвигаться и почудить, желание людей, шуток и смеха.

Он вспомнил «Родзянку-предателя», жившего неподалеку. Свидание их должно было состояться еще в Одессе, да тот не приехал. Когда-то встречались они в Петербурге, когда Родзянко служил еще в гвардии. Пушкин тогда сильно фрондировал, а в эпиграмме Родзянки как раз был намек на один эпизод: юноша Пушкин в театре соседям показывал портрет убийцы герцога Беррийского, а под портретом было написано: «Урок царям». Старший приятель неосторожно тогда над ним подсмеялся, и Пушкин был на него очень сердит. Но это так было давно! Родзянко теперь жил на покое в богатом поместье своем в Хорольском уезде. Стихи вообще он писал весьма неприличные, что, впрочем, Пушкин легко извинял,— хуже гораздо, что стихи были плохи. Но, в сущности, этот толстяк был добряком и лежебокой; и был собутыльником веселой поры. Пушкину вздумалось его навестить.

Не полагается этого, но отчего-то как раз и заманчиво именно то, что не полагается. Это не Киев, и это другим безразлично. На остановке Пушкин не торопясь заглянул на конюшню. Там в полутьме жевала овес, еще в хомуте, почтовая лошадь. Долго не думая, он вскочил на нее, и не успели окликнуть, как поскакал. Ему было забавно приятеля повеселить: перед тем как выйти во двор, он облекся в свой молдаванский костюм. На нем были теперь красные широчайшие шаровары и желтые туфли; пояс не столь был широк, как у Морали, но ярок, богат; с турецкой фески свисала, болтаясь, длинная кисть, а на плечах развевался малиновый плащ.

— Это Родзянки село?

Три украинца в ответ кивнули согласно. Долго глядели они вослед этому странному всаднику.

— Экой цыган, гляди, озорной!

— Никак и не цыган — венгерец!

Спорили крепко, пока самый старый не снял высокую шапку.

— А копыт не видал у цыгана? Желтых, паленых?

Тут он осенил себя трижды крестом, а спорщики смолкли: «Вот оно что! Знать, спознал старый Тарас и взаправду чертяку!»

Родзянко его увидал из окна и был восхищен. Он замахал, перегнувшись, длинным своим чубуком и закричал:

— Пушкин! Откуда?

В подъезде, куда он тотчас побежал, приветствовал и иначе:

Он снопа в бурях боевых Несется мрачный, кровожадный!.,

Пушкин узнал свой «Бахчисарайский фонтан» и рассмеялся. Они обнялись, как если бы натянутости меж ними и не бывало.

— Порфирий! Порфирий! — звал брата Родзянко.— Иди погляди-ка на Пушкина; больше, пожалуй, и не увидишь! Да слушай, сооруди там на скорую руку… Наш пленник кавказский торопится.

Вино перемежалось стихами. Аркадий Родзянко прочел три отрывка из поэмы своей, называвшейся «Чупка». Название это Пушкина весьма насмешило. Почитал для Родзянки и сам. Порфирий весь завтрак безмолвно следил, как во рту дивного гостя исчезали ломтики холодного ростбифа и как из уст вылетали крылатые строки.

Вспомнили и Петербург, знакомых актрис, «Зеленую лампу»: субботы у Всеволожского.

— Никите писал. Всеволожскому. Я проиграл ему как-то тетрадь со стихами. Хочу воротить.

— Будешь печатать? Книжица лирики! Вот мы ее тут почитаем с Анной Петровной! — И хозяин чуть с хитрецой подмигнул.

— С какой еще Анной Петровной?

Братец Порфирий открыл было рот, чтобы ответить про Анну Петровну, но Аркадий Родзянко взглянул на него носорогом:

— Порфирий, не ври!

Пушкин весело рассмеялся п больше не спрашивал. Он начал рассказывать, как однажды в великую пятницу он протрезвлял Всеволожского н повел его в церковь: богу молиться, а кстати чтоб поглядел п на свою танцовщицу…

Разговор теперь принял игривый оттенок, и Анна Петровна так до поры и осталась для Пушкина тайной.

Путь до Родзянки оказался длиннее, чем говорили на станции, п Пушкин пробыл у него всего с полчаса.

Па прощанье Порфнрпй его насмешил, а отчасти и тронул:

— Братец сказали, что я никогда вас не увижу. Позвольте вас крепко поцеловать.

Болтали с Родзянкой, а как далеко Петербург! И как недоступен! Он очень хотел бы прямо вернуться туда, но все же, пожалуй, сначала заехал бы но пути в Мнхайловское. Пожить там одну погожую осень, надышаться лесами, деревней, кончить «Цыган».

Он знал, что родные в Михайловском, п предвкушал эту встречу. Он без родителей никак не скучал. Почему? Для него это было понятно как-то само собою, без дальних рассуждений, и ощущение далекости этой не тяготило его. Так повелось. Он очень ценил предков и род, невзирая на то, что там было достаточно мрачного. Пушкин и Ганнибалов носил в крови. Но то были прадеды, и были они — фигуры! Родителей же воспринимал, хоть п живы, неярко. Ярким было, пожалуй, одно раздражение: не столько на скупость отца, очень, однако, чувствительную, сколько на пустоту его бытия, прикрытую призрачным блеском. Мать он любил, но и эта любовь была пятнами, перемежавшимися настороженностью, холодностью: мать была в стане отца, и оба они не ощущались как предки.

Когда-то дружил с сестрой, вместе играли и представляли комедии, которые он сочинял по-французски. Но уж слишком стремительно Оленьку он обогнал, а с другой стороны, столь же быстро сестра обогнала в своем роде и брата: он все еще оставался подростком, когда она уже выросла светскою барышней; самое слово «сестра» как-то поблекло и выцвело. Другое дело был Лев: этот был хоть и мальчишка, но полноценный брат! Тут не было вовсе противоречий, он был живой и смышленый, талантливый. II он был мальчик, то, что называется «свой брат», младший товарищ, и Пушкин со Львом очень дружил, «дружба» же — это высокое слово.

Левушку, правда, любили и дома, его баловали, талантам его никто не завидовал, но Пушкин но ревновал и не отбивал, он только тревожился, как бы в разлуке не отдалили там мальчугана от брата-изгнанника.

Со Львом в пансионе вышла история. Пушкин о ней знал только по письмам, еще в Кишиневе. Его исключили за «бунт», поднятый им в защиту учителя русской словесности — все того же нелепого и милого Кюхлп. Пушкину живо тогда припоминались собственные его лицейские истории с «иезуитом» Пилецкпм, который учил надзирателей читать у воспитанников в глазах… II как из Лицея они его выдворили! II бы:о приятно, что Левушка выступил так благородно, но все же с тех пор он болтался без дела, подлинным недорослем.

Как-то теперь пойдет его воспитание, когда он предоставлен одним обстоятельствам да самому себе… Пушкин писал тогда Дельвигу, близкому другу: «Я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца,— в этом найдут выгоду. Но я чувствую, что мы будем друзьями и братьями не только по африканской нашей крови». II писал самому брату Льву — не как Оленьке, про ее любимых собачек, а как младшему взрослому, наставлял и журил. Так и теперь, задумываясь о предстоящем свидании, он прелюде всего хотел бы представить себе, как выглядит Лев.

И случилось так кстати, что в Чернигове встретился с однокашником брата, начинающим поэтом Андрюшек» Подолинским. Это было приятно!

Встреча произошла довольно ^ забавно.

Семнадцатилетний мальчик, ехавший в Киев но окончании пансиона, в мундире еще, одинаковом слицейским мундиром, увидел из залы гостиницы, как возле стойки в буфете ходит взад и вперед какой-то чудной человек, похожий на полового. На нем были желтые нанковые шаровары, сдвинутые у пояса набок, цветная рубаха — измятая, подвязанная вытертым черным шейным платком. Сам же Андрюша был розовый, чистенький, только что выспавшийся, немного по-детски надменный. Он с интересом и недоумением глядел на незнакомца и был весьма удивлен, когда тот подошел и обратился к нему очень запросто:

— Вы из Царскосельского лицея?

— Нет.

— Значит, из пансиона. Так вы были там с моим братом?

Юноша был очень сконфужен, вся важность слетела с него, он растерялся и только спросил:

— А с кем я имею честь?..

— Я Пушкин.

У Подолинского глаза заблистали: в этом имени было нечто магическое для молодежи. Александр Сергеевич добродушно взял мальчика под руку.

— Пьете? Не пьете?

Закрасневшись, стыдясь, юноша робко признался в своей непреодоленной еще трезвости.

— Не пьете? Неважно. Ну, как же там львы бушевали? Вы знали и Кюхельбекера? Правда, смешно!

Подолинский вступил в пансион уже после ухода Льва, но история эта наделала шуму, и Пушкин впервые теперь слушал ее из живых уст. Это было, конечно, и очень ребячливо: тушили свечи, шаркали и шумели, выкрикивали. Но это же было и освежительно, и истинно благородно.

— И еще мне говорили, что он даже побил одного из надзирателей.

Пушкин смеялся.

Так они долго болтали. Пушкин был как всегда, не только не чинился он и не важничал, но можно было подумать, что они совсем ровня. У Подолинского же порой замирало сердце. С тайным волнением признался он Пушкину» что пишет стихи.

— Когда будет книжка, пришлите мне!

Перед отъездом Пушкин развернул свою подорожную:

— Укрощение мое не вовсе закончено. Вот поглядите! — В подорожной стояли все города по пути.— Как урок географии. И половину, пожалуй, уж выучил. Только вот Киев мне запрещен.

— А я как раз в Киев, к родным!

— Раевских вы знаете?

— Как же!

— Я дам вам записку к генералу Раевскому.

И тотчас же наскоро стал набрасывать весть о себе.

Он сжато и горячо, не переводя ничего на слова, опять и опять ощутил, как вся эта семья была для него незабвенна. Но он не давал себе воли. Он написал очень коротко. Ему только хотелось, чтобы друзья его знали о том, как судьба его переменилась.

Андрей Подолинский издали глядел на него и видел теперь совсем другого человека перед собою. Как мог он допустить хоть на минуту, что это был половой? И не был он также тем милым простым собеседником, каким был минуту назад. И странный дорожный костюм его теперь не мешал, чем-то он шел к поэту в дорого. Вот он у стойки что-то писал, простую записку. Но пишущий Пушкин был очень серьезен. Он на минуту забыл о других и был только самим собою.

Вот кончил писать, перечитал и спросил себе свечку, сургуч. Рассеянно тронул он палец, но перстня-печати не оказалось, он был в ларце.

— Возьмите,— сказал Подолинский,— те же ини циалы: А. П.

Пушкин взял у Андрюши печать и стал писать адрес. Он капал сургуч с высоты и дул на огонь на бумаге.

В комнате были теперь и другие проезжие, шел разговор. «Как не похож он ни на кого»,— думал Андрюша, не отрываясь взглядом от Пушкина.»

И вправду, и в фигуре его, гармонически легкой, была разлита тайная сила. Малого роста — казался большим; и был он изящен и строг.

Андрюша, поэт, с сердечным волнением жарко подумал: «Он как олень в стаде овец».

II еще одна была по дороге, очень шумная, встреча.

Правда, ни ямщикам, ни почтальонам и ни крестьянам, встречавшимся по пути, имя Пушкина ничего не говорило. Но офицеры и горожане, молодые помещики, зараженные последними веяниями, знали стихи его наизусть и восхищались их вольностью.

Даже Аркадий Родзянко, па другой день увпдез-гаись с хорошенькой Керн, Анной Петровной, которую он утаил от проезжего гостя, обратился к ней так:

— Вы знаете, как я скажу: это южная роза на льдяных снегах!

Это было, конечно, витиевато, но произнес эти слова ленивец и циник с истинным чувством.

Анна Петровна была возмущена, что он не послал тотчас же за пей; она рассердилась и написала длинную жалобу приятельнице своей Анне Николаевне Вульф, соседке Пушкина по Михайловскому.

В обширной тяжелой стране вспыхивало временами открытое недовольство — в деревне, в казармах,— и где-то шел по верхам ветерок, подувавший на трои. Это, конечно, были лишь разговоры — за стаканом вина, с длинною трубкою, набиваемой крепостным казачком. Но все ж говорили

Насчет глупца, вельможи злого, Насчет холопа записного, Насчет небесного паря, А иногда насчет земного.

Пушкину всегда было тесно в той скорлупе, в которую его заключали, и он делал порою самые резкие телодвижения, чтобы ее раздробить. Все было связано с личной судьбой, п оттого все было ярко, эмоционально. И в этом была та огромная сила, которая так заражала других.

Однако же был и другой, невидимый Пушкин — медленно зревший, не полностью ясный для себя самого. И там было личное тоже, но другая струя, и сливалась она с родовым: с самого юного возраста огромный у Пушкина был интерес к предкам своим, вплетенным в

историю, к самой истории с тяжелой ее, неумолимою поступью. Он ехал и думал о Пскове; да и не думал, пожалуй, а чувствовал только свое к нему приближение, чем-то чреватое.

Но все это в Пушкине еще было скрыто. Извне же он был в своих проявлениях быстрый, горячий; для одних неприятный, для других очаровательный. Так и в стихах его пробегал жаркий огонь; так и в этом пути ого встречи время от времени загорались яркою вспышкой.

Так было п в Могилеве, куда он приехал под праздник преображения и где заночевал.

Утром сквозь дрему слышал он праздничный звон, и в полусне ему смутно мерещилось, что это Никита ведет его за руку на колокольню Ивана Великого, как но раз это бывало в детстве в Москве. Он упирается и идет неохотно. Оп видит в просветы пасхальный народ, набившийся в Кремль. Цветные платки, зипуны колышутся где-то глубоко. Апрельский сырой ветерок охватывает ноги, а колокол гулко падает сверху. И вдруг рука его выпала из широкой ладони Никиты, ноги скользнули на повороте, он рушится вниз и — просыпается.

Сердце стучит, но этот сон — из повторных тех снов, которые сопутствуют жизни. Порой и во сне знаешь уже, что будет дальше.

Звон продолжался и наяву, дробно звонили совсем где-то рядом, должно быть, к «Достойно». Никита давно уже бодрствовал. Из коридора явственно доносился звук щетки: это он чистил пыльные барские сапоги. Пушкину сделалось весело, и он громко ему закричал — по-кишиневски:

- Дан, Никита, мне одеться, В митрополии звонят!

Но ни в какую «митрополию», само собой разумеется, он не пошел. На сей раз оделся он нонарядней и вышел на улицу в шелковой русского покроя рубахе; однако ж поверх была городская шинель. Он хотел пройти на базар и купить себе яблок: яблочный спас!

Город был оживлен. Утро стояло погожее. Перед манежем играла полковая музыка. Обедня давно отошла, нарядная публика гуляла но улицам.

— Это приезжий,— сказал корнет Куцинскии своему товарищу, указывая издали на Пушкина.— Я забегу на почту, узнаю, кто это.

Но молодой человек, оставшись один, не стал дожидаться. Он быстро последовал за незнакомцем. Перегнав его, он обернулся и тотчас узнал Пушкина.

— Вы не узнаете меня? — спросил он, сияя глазами, робея.— Я племянник бывшего директора Лицея, Егора Антоновича Энгельгардта, по праздникам меня брали из корпуса в Царское Село, и я вам и Дельвигу стихи декламировал.

Пушкин обнял его:

— Вырос ты, Саша. Я помню, ты был проворный кадет.

— Александр Сергеевич, вот счастье! Да как вы здесь? Я не могу… Я не верю!

Он почти не мог устоять на месте и все раздвигал и складывал руки, точно хотел подпрыгнуть от радости. Томило его и нетерпение: поскорей рассказать и показать Пушкина другим. Увидев группу товарищей, Зпгельгардт подбежал к ним, как мальчик.

— Пушкин приехал! Пушкин приехал! Пушкин приехал! — громким шепотом выпалил он и потащил их к нему.

Корнеты, забыв свою юную важность, прикладывали руки к козырьку и выражали свое восхищение видеть поэта. Движение по тротуару было отчасти нарушено. Любопытные горожане останавливались и глядели на этого небольшого смуглого человека в шинели и красной рубахе, огражденного молодыми офицерами, точно они взяли его в плен.

Да и похоже было на то: Пушкина так и не отпустили.

Сначала вся группа отправилась на почту. По дороге стрелой навстречу им врезался розовощекий корнет Куцинскии.

— Это Пушкин! — кричал он.— Я в книге прочел с подорожными. Клянусь вам, сам Пушкин!

— Вы правы,— смеясь, отвечал ему пленник.— Коллежский секретарь Александр Пушкин, едущий из Одессы во Псков не «по собственной надобности».

Куцинскии в смущении все повторял:

— Да нет же, я сразу узнал, как только увидел… Мне сердце сказало.

Офицеры смеялись, настроение их было приподнятое, но они не знали еще, чем его выразить. А впрочем — конечно, шампанское! Шампанского, однако же, первым потребовал сам неожиданный гость — и хозяин,— едва они переступили порог почтовой станции. Потом перешли к Куцинскому и племяннику Энгельгардта, жившим совместно. Пирушка здесь закипела широко. Тосты провозглашались один за другим. Пушкина заставляли читать. Он не отказывался. Стихи были вольные, ему рукоплескали, качали, подкидывали под потолок.

Перед вечером разразилась гроза, рокоча над Днепром. Отъезд задержался, и перешли всею гурьбою в гостиницу. Разговоры становились все оживленней. Спросили было и карты, а Пушкин вытащил ужо пук ассигнаций:

— Давайте, могу! Вот они — деньги.

Но кто-то присел к клавикордам и заиграл ритурнель, довольно печальную. Все переглянулись, точно был заговор, и расступились. Пушкин увидел, что на диване сидит офицер в красной феске на голове и ярком молдаванском плаще; перед ним на пол с дивана спускалась огромная траурная шаль. Все это, как оказалось потом, певец прихватил по дороге. За ритурнелью раздались и звуки печального красивого голоса:

Гляжу, как безумный, на черную гааль, И хладную душу терзает печаль…

От группы молодых людей тогда отделились еще два человека и принялись, очень искусно, легко, едва намечая движения, мимически изображать эту историю страстной и несчастной любви.

Слух о том, что «Черную шаль» в Москве исполняли на сцене, дошел до Могилева недавно. Мимический аккомпанемент родился в тот вечер как импровизация. А самая музыка Верстовского показалась всем вдвое прелестней оттого, что ее слушали в присутствин Пушкина. Певец исполнял мелодию с чувством и страстью, а когда прозвучали слова:

С главы ее мертвой сняв черную шаль, Отер я безмолвно кровавую сталь, — и молоденький мим действительно отер о нее с трагическим видом свою острую саблю, — раздались рукоплескания.

Так были карты отставлены, и опять полились вино и беседы; пели и хором.

Гроза давно миновала. У подъезда гостиницы фыркала тройка. Было темно, ямщик клевал носом, а Никита Козлов терпеливо поглядывал на освещенные шумные окна.

Пушкин вскочил на прощанье на стол и читал:

Я люблю вечерний пир, Где веселье председатель, А свобода, мой кумир, За
столом законодатель; Где до утра слово пей! Заглушает крики песен, Где
просторен круг гостей, А кружок бутылок тесен.

С громкими возгласами принялись его снова качать. Красная рубаха в свете свечей взвивалась, как пламя. Князь Оболенский, молодой офицерик, кричал:

— Господа! Господа! Торжество наше нынче необычайное. Я предлагаю: сделаем нашему кумиру ванну из шампанского!

Затея готова была осуществиться. Но Пушкин был трезв. Он глянул в окно, увидел Никиту.

— Нет, друзья мои, нет,— сказал он с улыбкой. - Благодарю от души. Я, конечно, не прочь пополоскаться в шампанском, это было б отлично. Но ехать пора. Я спешу.

Он обнял ближайших, крепко пожал руку другим.

— Никита-Никнтушка, а ну, подсади-ка меня, - пробормотал он, пошатываясь, у самой коляски.

Это было последнею шуткой, потому что, когда Никита расставил было уже широкие руки, чтобы помочь, Пушкин сам легко вскочил в экипаж.

— Яблоки есть?

— Так точно, анис и грушовка.

Поздняя ночь и тишина спящего города поглотили его. Огнен как бы не было. Только холодные звезды блестели в вышине. Пушкин глядел перед собою. «Кое-чего не надо было читать. Ребята хорошие, да толку из них большого не выйдет». Никита уснул, как только сели. Пушкин взглянул на него и окинул шинелью: было прохладно.

Так и за городом он долго не спал. Спокойная ясность его не покидала, а в голове роились стихи. «Как только приеду, так и засяду!»

Глава третья

НА БЕРЕГАХ СОРОТИ

Вечер над Соротью был ясен, прозрачен. Едва уловимая августовская желтизна разлита была в воздухе. Розовые легкие облака летели над розовым своим отражением, но самые воды реки были, казалось, недвижны.

На деревянной со спинкой скамье сидела старшая дочь помещицы Осиповой от первого брака — Анна Вульф. Деревья шатром шумели над нею, а отдельные ветви одиноко покачивались над самым обрывом. Михайловские рощи, подернутые сквозною сиреневой дымкой, лежали на горизонте у тихих озер. Окрест была тишина, лишь из усадьбы отчетливо доносились размеренно-крепкие удары цепов и крутой говорок: пробный обмолот ржи. Мать была там, а сестры — Зи-зи и Алина — отправились к Пушкиным: «На охоту за львом!» — как объявила Зпзи. Анна осталась одна; ей не хотелось людей, ее посетило одно из тех раздумчивых состояний, какие столь свойственны были ей за последнее время.

Девушка глядела перед собою на реку и даль за рекой, немного склонив загорелую открытую шею и уронив руки на колени. Не было никого, кто бы мог ею полюбоваться, но она всегда хранила изящество и ценила это в себе. Сестренка Зизи могла до самого обеда по жаре скакать в нижней юбке, задирая братьев, сестер, и, лишь завидя чьи-нибудь дрожки, с визгом бежать к туалету. Но что с нее взять: всего-то пятнадцатый год! И тут же глубоко вздохнула: самой — двадцать пять… Давно уже минуло время, когда но помышляла она о годах. Но только весна, но и лето ее отгорало нежарким огнем.

Бездумно и бессознательно отдавалась сегодня эта как будто спокойная, круглолицая девушка той тайной гармонии, какая была между нею и вечером — недвижным, томительным. Так же, казалось, не колыхнув, текли ее дни, как Сороть внизу, и так же сгорала в ней отраженная жизнь. Сколько порывов, в себе заглушённых, сколько томлений, не находящих исхода! Все то же в себе, все то же вокруг, и никакого движения. В доме всегда куча народу, но ни в ком ни глубины, пи значительности. Ни мать, ни Ллина ее не понимают. Она одинока, горда. И нет человека, который ее разгадал бы.

Она еще раз перебрала мысленно всех. Все больше женщины. Старшие мальчики отсутствуют. Брат Алексей, дерптский студент, уехал во Псков на два дня и там пропадает уже четвертые сутки. Задумчивый Миша, семнадцатилетний философ, тихий, как мышь, и книги грызущий, как мышь, гостит у тети Лизы Ганнибал. Один шалун Валериан, верно, купается в соломе на молотьбе. С Зизи дружить еще рано, она еще все торчит, как вихор,— во все стороны сразу… Ну, хорошо, это Вульфы; а еще трое Осиновых. Когда мать второй раз вышла замуж и в доме появилась дочь вотчима, Анна очень обрадовалась: Алина была и чужая, и все же сестра, можно было как будто дружить. Так это и было — недолго, потом разошлись. С ней не легко, она неровна: то резка, то задумчива и разговаривает по-настоящему с одними, может быть, пяльцами да с клавесином: рукодельница и музыкантша! Этой зимой, в феврале, мать опять овдовела, и на руках — двое малюток. Отчего б не дружить теперь с матерью? О, как это сложно! Все очень сложно на свете… Да и вообще со своими дружить не приходится.

А вот Оленька Пушкина… Девушка — прелесть, но как по натуре мягка,— больше того: вяловата, расплывчата! То, что у Левушки даже — какой он ни есть ветрогон — как бы

в стакане, у нее разлито на мелкое блюдечко. Да, это так: ей иногда удаются сравнения! Левушка очень недурен собой, жив и подвижен, и болтает без умолку. Но что же особенно нравится в нем? Особенно нравится, как он читает стихи настоящего Пушкина!

Тут Анна вздыхала, высокая грудь ее поднималась, темнели глаза, и сомкнутые пальцы слегка содрогались. Прошло уже полных пять лет, как они не видались. Как это давнее лето в памяти живо! Но ни он («Александр!» — чуть прошептала она) и ни кто другой не знают, не подозревают ничего… О, душа ее — как могила, и на могиле — цветы. Она опустила ресницы и вздохнула еще раз — не столь глубоко. Суждено ли им встретиться? Помнит ли он? Узнал бы ее? И кому же можно бы было все это хоть чуть приоткрыть? Разве кузине Анне Петровне, да и то потому лишь, что она далеко и как-то немного похоже, что говоришь не человеку, а словно бы в траву или в кусты… Но и сама Керн давно уж замолкла. Да и какой-то Родзянко там с нею, верно, такой же медведь, как и собственные их соседи. Соседи! Пещуров? Тоска! Рокотов? Фи!

Девушка хрустнула пальцами, встала, оправила платье; потом подняла одну ножку, взглянула; подняла и другую, взглянула. Когда-то ей Пушкин сказал, что у нее чудесные ножки, и с тех пор она больше всего следит за своей обувью. Тихонько ступая, она направилась к дому. Березы, дубки, старая ель… Она огляделась вокруг и подумала: «Как все это могло бы зажить и запеть, если бы… если бы…»

Все одиннадцать комнат деревянного длинного дома были пустынны. Окна отворены. Мухи влетают и вылетают, как настоящие хозяева жилища. Над кухнею дым, там происходит возня, и оттуда доносятся запахи близкого ужина.

Анна прошла прямо в столовую и открыла буфет. Хрустальная вазочка с овалами розовых впадин стояла высоко. Но девушка стала на цыпочки и сняла с полки варенье. Варенье было крыжовенное — густое, с желтым отливом: Пушкин любил такое варенье! И во славу его щедро она положила — целую ложку! — в стакан и, налив из графина воды, перемешав, с наслаждением выпила.

Это почти что обряд: так не спеша и изящно проделала она всю эту несложную процедуру. Однако внезапно проснулся в ней аппетит, и, вопреки всякому ритуалу, она присела на корточки и из нижнего отделения извлекла: начатый сыр, масло, остаток домашнего окорока, ситный маленький хлебец — свежий, пахучий. Всему отдала она должное и аккуратно салфеткой вытерла полные губы.

Так по-деревенски она хоть с запозданием, а попо-лудновала, чтобы разбить длинное время между ободом и ужином. Так и томление духа слегка разрядилось чем-то вещественным, и Анна направилась в сад.

В саду копошились, играли две малолетние сестренки: пятилетняя Маша и двухлетняя Катя. Няня, девочка с дворни, с белой косичкой и туго вплетенной в нее голубенькой ленточкой, немного покашивая ры-> жим глазком, за ними приглядывала. Впрочем, верховный надзор был воплощен в образе Анны Богдановны. Наслаждаясь свободой без барыни, почтенная экономка с желтым лицом и увесистым носом сидела па стуло и вязала из шерсти теплый шарф на зиму. Спицы в руках и очки на носу властно поблескивали. Время от времени встряхивала она клубок и запасала нить на коленях, широко раздвинутых.

— А наши не возвращались?

— Ах, милая барышня, да вы разве не знаете, что из Михайловского жди только к ночи!^ Голосок у неэ был не без яду, хотя и податливый.

— Да нет же: они собирались Льва Сергеевича к нам привести. Вы маме скажите: я пойду им навстречу.

Дети с лопаточками и игрушечными ведерцами возились в песке. Старшая все мастерила одна, серьеа но посапывая, и, когда кулич был готов, каждый раг» говорила неизменно сестре:

— Ну, стукни теперь!

И отходила на шаг, чтобы было видной.

Толстенькая розовая Катюша, деловито переваливаясь с ножкн на ножку, ища равновесия, подходила к куче песку и еще раз вопросительно взглядывала: можно ли?

— Стукни! Ну, стукни!

И тогда она пухленьким своим кулачком, как бы перевязанным ниткою у запястья, стукала сверху зыбучую горку, и та рассыпалась. С забавной задумчивостью малютка глядела, как только что был песочныш куличик — и вот его нет. А Маша скакала на месте, хлопала в ладоши и хохотала, сгибаясь и перехватывая живот — по-бабьи — руками.

Анна подумала, что если бы здесь была не она, а Зизи, та, уж конечно, и сама вовлеклась бы в игру: и пекла бы и стукала. Отчего же сама она только глядит? Что-то в ней есть непростое по отношению к детям: то почти что брезгливость, как к голым улиткам, выпавшим из раковины, то — даже не нежность, а настоящий внезапный восторг: так бы и задушила в объятиях…

Но оба эти, казалось бы противоречивых, чувства имели один общий исток: ведь у нее у самой могли б уже быть такие же детки! Целый вулкан несбывшихся и несбыточных чувств поднимался в груди и опадал, не принося разрешения.

Однако же Анна сейчас не хотела тревожить себя этими мыслями и, повернувшись на каблуках, быстро пошла прочь. Она не думала заходить и к матери, но когда еще издали увидела ее на току с метлою в руках у вороха ржи, что-то ее потянуло туда. В сущности, так нестерпимо быть все одной да одной! Бедная мать — дважды вдова, а ведь она еще так молода и ничуть не монашка…

Как настоящая деревенская жительница, Прасковья Александровна не любила стоять на работе без дела. Обмолот был закончен, к из рабочих оставался один Никапор, щупленький, хилый, однако ж себе на уме и больше распорядитель, чем работник. Орудовал он по-жепски — граблями, сгребая солому; а маленький озорник Валериан, к удивлению сестры, тоже здесь не мешал и даже пытался работать, откидывая в сторону колос. Сама же Прасковья Александровна внимательно охорашивала березовой длинной метлою небольшой ворошок свежей ржи, уже перевеянной лопатою на ве;гру. Хозяйскому глазу мила была эта сыпучая горка на гладком току, и она умело, легко обметала крутые бока, выбирая, выкидывая то пустой колосок, то голову татарника, то коричневые щеточки васильков.

— Ну, вот мы с тобой, Никанор, нынче и поработали! Как думаешь, будет мер шесть… шесть с половиной?

— Четыре хрестца,— отвечал Никанор,— точно копна, а в прошедчем году было па круг всего по осьмине.

— Что в прошедчем году! В прошлом году весной сколько вымокло, а летом пожгло, вот и собрали всего по полчетверти. А ты погляди, разве не видишь на глаз?

Никанор помолчал. Он знал хорошо, что будет и шесть, и шесть с половиной: он сам отбирал для почина снопы покрупнее и потяжелее. Надо ж хозяйку потешить! Но и ему был приятен ее говорок — чистый, довольный, уверенный.

— А у Пушкиных, говорят, и четырех мер не даст! — И огорчения в голосе не было: и свойственники, и дружат, но хозяйская жилка билась в ней горячо.

Анна глядела со стороны и матерью залюбовалась. Небольшая фигурка ее была еще очень изящна, стройна; немного, быть может, полна, но не полнее, однако, чем подобает ей

быть у женщины несколько за сорок, возросшей на воле. Анна запомнила с детства, как ее мать гоняла лошадей на корде, пока хлопотун и копуша отец возился с детьми или варил, путаясь в полах шлафрока, варенье. Анна тогда со смешанным чувством страха и восхищения глядела, как мать как бы танцевала в кругу на широком дворе, в высоких козловых сапожках, с коротким хлыстом, руки в перчатках и волосы по ветру. Сейчас на ней был желтый, цветами, платок, по-бабьи повязанный: от ветру и пыли. Но как подвижна, весела! Лицо было чисто и кругло, а черные живые глаза влажно блестели по-молодому.

Дочь подошла и поцеловала в плечо; на нее пахнуло запахом разогревшейся кожи и свежею щекочущей пылью.

— Вот что, Анета, сбегай-ка, девочка, принеси мне ключи от амбара. Сейчас мы промерим и уберем.

Ну вот! Так-таки мать ничего и не поняла, не оценила. А какое красивое и теплое было это ее движенье души!

— Я не знаю, маменька, где вы их бережете. Пошлите Валериана. Валя, сходи за ключами!

— Барчук, не туда, не туда! — одновременно заворчал Никанор.— Солома соломой, а колос — он колос и есть. Солома — она любит, чтоб чисто.

— Хорошо,— суховато ответила мать.— Сходи ты, Валериан. Ключи должны быть у Анны Богдановны.

— А Анна Богдановна в девичьей! — И мальчуган заскакал попеременно то на одной ноге, то на другой.

Прасковья Александровна была недовольна и покосилась на дочь. Нижняя губа ее выпятилась, а все выражение лица стало пренеприятным. Ничего нельзя попросту. Все, видишь ли, тонкости да деликатности!

Анна немного еще постояла и ушла, в свою очередь обиженная и огорченная.

Но вечер был так миротворен и тих, что, каковы бы ни были чувства в груди, они неизменно переплавляются в зыбкую грусть.

Облака на закате уже отгорели, и плыла синева. Девушка спускалась с горы не спеша, как если бы в каждый свой шаг вкладывала какую-то думу.

Тропка одна: Анна пошла на Михайловское.

У Ольги Сергеевны болит голова. Старшие Пушкины сидят на парадном крыльце — озабоченные. Умолот был неважный. Оброк поступал туговато. Долги. Лето кончается. С чем показаться в столицу? Лева без службы. Как показаться в столицу?

Служба для Левы еще, может быть, выйдет. Пущены в ход все возможные связи.

— Ты знаешь, Падин… пока я жив, я делаю все, что могу — и чего не могу. Я делаю больше, чем сделал бы всякий другой отец.

— Я знаю это, мой друг,— устало, но несколько недовольно отзывается Надежда Осиповна; и кажется, что недовольство это питается глубочайшим ее скептицизмом по отношению к дееспособности мужа.

Но Сергей Львович этого не замечает. Он знает цену себе. Он великий стратег и дипломат. Надо быть человеком очень тонкого ума, чтобы в таких трудных обстоятельствах находить выход из положения. Длинный свой остренький нос, от природы изрядно унылый, он поднимает с заслуженной гордостью. Узкие плечи его кажутся созданными для широких увесистых эполет, а несколько впалая грудь — для ленты и звезд. Впрочем, он выше всего этого — золотой мишуры и капители. Ценности — в мире духовном. Блеск остроумия, изящная мысль, каламбур: это равно далеко и от жизненной прозы, и от слишком высоких полетов философических. Философия старит, а нужно быть молодым и отнюдь не утрачивать

очарования. Это первее всего! Но, однако же, и дела не отпускают. Он возвращается к вопросу об устроешш Льва в департаменте духовных дел иностранных исповеданий. И тут выясняются заботы папаши:

— С бароном Иваном Ивановичем Дибичем — поговорят…— И он кивал многозначительно.— С Шишковым Александром Семеновичем, министром и адмиралом, поговорят…— И тут уже он откровенно подмаргивал.

— А Александр наш Шишкова этого воспевал под фамилией… да, да — Ослова, ты разве забыл? В послании к Василию Львовичу! — вовсе некстати и не без желчи напомнила Пушкина.

Сергей Львович сложил свои тонкие губы в тонкую трубочку и испустил легонький вздох, ПОХОЖИЙ на свист.

— МОЙ бедный сын! Он получил свой дар от меня, но темперамент его…

Тут он воздел свои ручки, не отнимая локтей от жилета. Однако тотчас же и испугался, взглянув на жену. На мгновение ему показалось, что перед ним мелькнула барсова шкура. По лицу Надежды Осиповны прошли желтые и багровые пятна. Это было, может быть, безобразно, но все же в эту минуту была она и блистательно красива.

— Ваш талант,— сказала она по-французски,— вот: как блоха.— И щелкнула в воздухе ногтем.—' А мой темперамент…

— Я его знаю! Я его знаю! — жалобно воскликнул Сергей Львович.— Но, дорогая, ведь я ж пошутил. К тому же и вы негодовали не раз на нашего дорогого, но блудного сына.

— Я, может быть, кое-когда даже его ненавижу, но оскорблять предков моих я не позволю.

— А ведь твой же отец тебя разорил! Он все прокутил, он все раздарил — этой… наложнице…

— А в чьем имении и в чьем доме сидите вы здесь, Сергей Львович?

Ссоры такие бывали не раз, и не так чтобы очень боялся он вспышки, но вечер для этого был неподходящ, не возникало ни гармонии, ни соответствия, а ко всему такому был Сергей Львович очень чувствителен. К тому же и на дворне могут услышать… Этого он не любил. «Впрочем, Надин никогда не позволит себе…— так он думал с опаской.— Нет, нет, она вовсе не виновата, что так раздражается. У нее начинается этот период — как его… с трудным названием. Я это знаю…» И он решил помолчать, тем более что не все еще было обговорено касательно Льва.

Но их уединение было нарушено. Перед крыльцом возник человек: в русской поддевке, остриженный ладно в кружок, с большими усами и круглою русою бородой. Картуз он держал, опустив руки по швам.

— Что скажешь, Михаила? — важно спросил Сергей Львович.

— А смею вам доложить, так что вышел просчет.

— Ну что ж, очень рад, а то я огорчился. Четыре меры копны — это — как там у вас говорится?..— тощe! — Он порою любил щегольнуть русским словечком.

— Так что три с половиной, как оказалось в натуре…

Михаила Калашников взглянул исподлобья: ему желательно видеть, как будет принято это известие. Барин вскипел:

— Как это три с половиной? А мне говорила Прасковья Александровна, что ей Никанор обещал пять или шесть! Земли у нас одинаковые, погода одна. Попросту ты не умеешь…

Михаила Калашников был, когда можно, скор на язык. «Ты-то много умеешь!» — сказал бы он с быстрой веселой насмешкой; но Михаила Калашников не всегда гнался за

словцом. Весь разговор был только началом хитрого плана, обдуманного совместно с Розой Григорьевной, управительницей. Между тем Сергей Львович весьма вспетушился:

— Я вот возьму и обменяю тебя на Никанора! Я напишу Прасковье Александровне! Как ты скажешь, Надин?

Надежда Осиповна ответила ему по-французски:

— Зачем одну мерзость менять на другую пакость? Не понимаю.

— Ты думаешь так? Нет, ты уже слитком… Но я этого счета никак не могу потерпеть. Я никаких пони-жений не принимаю, как ты себе хочешь.

— Так же и мы, собственно, думаем,— спокойно и ободряюще промолвил Калашников. —На круг, надо думать, четыре с пригоршнями будет. Натянем! Да, близко к пяти!.. Останние копны в зерне куда пожирней!

— Как ты сказал? Пожирней?.. Пожирней! Да, этот русский язык от причины прямо восходит к последствиям… Оригинально! Так близко к пяти? Ну что ж, молодец! А то было меня рассердил. Зайдешь к Розе Григорьевне — она в кладовой,— скажешь, чтобы стакан поднесла. Старайся и впредь!

Калашников неторопливо, достойно ушел. План его очень простой: урожай был хороший, а обмолот они с Розой Григорьевной решили считать всего меры в четыре. Но так как выразил барин неудовольствие, надобно было его припугнуть еще меньшим, чтобы и этот показался хорош. Излишкам же место найдется.

Этой маленькой сценой городской человек Сергей Львович остался доволен вполне.

— Видишь, Надин, стоило мне показать свою строгость — и урожай на глазах пошел вверх. А раз пошел вверх, можно и… этого… так сказать, поощрить! С этим народом надо уметь обращаться, я его знаю насквозь!

— И все-таки ты почему-то к нему снисходителен… несколько слишком! — недовольно заметила Пушкина.

Втайне она опасалась, не увлекается ли ее женолюбивый супруг хорошенькой Оленькой, дочкой Михаилы, сидящей за пяльцами в девичьей. От него всего можно ждать…

Однако ж супружеский мир тотчас же и возродился, как только опять заговорили о Льве. Это была их общая слабость. Льва баловали, а кое-когда и ревновали друг к другу. Льву было двадцать, он уже рьяно волочился за барышнями и вообще умел многое, но всё на него глядели, как на младенца. Снова по косточкам разобрали друзей, могущих помочь. Кажется, все складывалось добропорядочно. Но Льва было жалко, и родители дружно вздыхали.

— Конечно, служить ему рано, но надо же и привыкать! А к тому же, ты знаешь, наши финансы… Ведь если бы Александр был человек деловой…

— А главное — если бы помнил родителей,— со своей стороны добавила мать.

— Ах, он не любит меня! За что он не любит отца? Это непостижимо! — И ручки опять уже было вздыбились вверх, но скрипнула дверь, и они преспокойно легли на колени.

— Ольга Сергеевна вас просят,— сказала вошедшая старая няня.— Они было задремали, да проснулись опять.

Няня была в очках н чепце. Черная кофта с белым горошком подвязана фартуком. Мягкие туфли.

— А что, уж не жар ли у барышни? — спросила с тревогою Пушкина.

Если Левушка был общею с мужем любовью, то Ольга была их общей заботой: здоровьем слаба, и — слова из песни не выкинешь — все нет женихов настоящих! А ведь она в семье самая старшая… «И сколько расходов на платья, на туфлп!» — не раз Сергей

Львович считал и вздыхал, вздыхал и считал. От няни дышало спокойствием, как если б от дерева падала тень и прохлада. Это невольно ощущали порою и старшие Пушкины.

— Ну, какой же там жар,— сказала она неторопливо.— Свежа, как огурчик. Только тоскует.

«Двадцать семь лет… а где женихи? — подумал отец.— Тут затоскуешь!»

— Тоскует? О чем? — спросила невольно Надежда Осиповна; больше всего боялась она беспричинной тоски.

— Об чем? Да об братце, об Александре Сергеиче, вспомнила, вот и взгрустнулось.

— Ах, вот оно что! — И Надежда Осиповна поднялась с кресла, высокая, стройная, со все еще неукротимою грацией резких движений.

Няня ее пропустила в дверях и помедлила. Хотелось ей что-то сказать еще про управительницу Розу Григорьевну и про Михаилу, которого она недолюбливала, что они что-то уж очень запировали, да воздержалась; терпеть не могла она пересудов. Впрочем, пожалуй, была и другая причина. Очень любила она Олю Калашникову, и не захотелось порочить отца.

Сергей Львович внезапно сам к ней обратился:

— Вот ты всех наших детей вынянчила. Кого нее ты больше всех из них любишь?

И он сощурил глаза, слегка поводя между тем пальцами по лбу, как будто бы этот вопрос был обращен не к ней, а к самому себе.

— Мне все ваши дети родные,— степенно-уклончиво ответила Арина Родионовна.

— Так… Ну, иди!

Оставшись один, без жены и без всякого вообще постороннего взгляда, Сергей Львович сразу как-то слинял. В сумерках стал он похож на старую моль, понемногу и вяло точившую жизнь.

«Няни любят всех нелюбимых детей… Но разве действительно я не люблю Александра?»

Он поднялся, все еще очень легко, и оперся о перила. Вечерняя свежесть лежала на трухлявом уже, стареньком дереве. Цветник перед домом смутно пестрел в надвигавшихся сумерках. Запоздалый белый табак томительно благоухал. Над парком мерцали первые скромные звезды. В комнате дочери зажжены были свечи, и на траве можно было легко угадать в склонившейся тени фигуру жены.

«Они теперь там говорят об Александре. Ольга так любит его! А я… разве же я не люблю? Какая неправда!» — И пожилой человек заморгал.

Сентиментальные слезы в нем пробуждались, и он уже вынул сзади из сюртука маленький свой, обшитый оборочкой кремового кружева носовой платок. Но далекие звуки колес привлекли его внимание, и, по мере того как он вслушивался, рука потихоньку, непроизвольно, опускалась обратно в карман: надобность и в платке и в слезах миновала. Он был любопытен.

«А что, если к нам? И кто бы мог быть? Левушка, может быть, видел… Надо спросить, как вернется».

И мысли опять побежали легкой дорогой:

«Лев — молодец. А Алина мила чрезвычайно… Какие изящные ручки и небольшая ее, будто воздушная, но крепкая грудь. Глазированный крем. — Губы его зашевелились.— О, она с огоньком! А может быть Зина, Зизи? И у нее уже формы обозначаются… Так розовым перстом обводит згод облака на востоке…— Он был доволен этим возникшим в нем образом.— Да, этот дар Александра идет от меня. Это наш общий пушкинский дар… Но непонятно, почему вдруг Евпрак-сию зовут все Зизи, ЕирЬгозуие… в конце концов

Ефросиньей? Милая девочка — и какой деревенский жанр! И в довершенье всего дочка Прасковьи…» — Тут он улыбнулся, отчасти полемизируя таким образом с Оси-повымп, у которых урожай доходит будто бы до шести… Да не хвастают ли?

Бледные краски, подобие жизни, снова вернулись к нему. Колеса скрипели все ближе. Он перегнулся совсем за перила, но в ту же минуту плеча его властно коснулась чья-то рука. Он с живостью перехватил ее и, обернувшись, поцеловал.

— Ольга расстроена,— сказала негромко Надежда Осиповна. — Она задремала и видела нехороший сон. От Александра давно уже нет писем. Ты нынче же ему напиши.

— И я здесь стоял, думал о том же — о нем! — с горячностью отозвался Сергей Львович.— Как я хотел бы обнять его! .Видишь, вот он в кармане — весь мокрый платок. Слезы отца…

Анна пошла в обход через рощу и разошлась с молодою компанией, совершившей большую прогулку вдоль озера, так красиво лежавшего на закате ровною розовой пеленой. Они возвращались берегом речки. Лев пошел проводить девушек до самого Тригорского. Его ничуть не смущало, что он должен был болтать в обе стороны — и с Зизи и с Алиной: он ни в одну по-настоящему не был влюблен.

— Однажды в Венеции, я был еще мальчиком, я влюбился в одну черную паву. Вы знаете, они там ходят в шалях до пят и сами напоминают гондолу…

Лев врал без зазрения совести и сам нодхохатывал; Евпраксия, впрочем, кажется, чуточку верила.

— Вроде монашек? — перебила она.

— Нет, скорее похояш на кипарисы. Мне так брат Александр объяснил.

— А он вам давно не писал? — спросила Алина.

— Да, еще в Петербург. Я вам говорил. Поручает продать первую песню «Онегина»…

— Вы говорили — «главу»!

— Ну, поставьте мне двойку, учительница! Верно: ошибся.

Льву было досадно, что его болтовня была прервана, но он же и важничал, что вершит дела брата.

— Редко он пишет вам! - продолжала Алина поддразнивать.

— Пишет он часто, да почта у нас чересчур любо-вытная. Так вот, мы с ней сели в гондолу…

— А кто ж гондольеру деньги платил?

— Ну что же вы спрашиваете? Я подписал ему счет и направил к папаше.

Все засмеялись.

— И еще эта пава подарила мне перстень!

— Покажите, павлин!

— И покажу… коли не забуду! — Он наболтал лишнее и полагался на то, что Евпраксия это забудет.— А вот брат Александр это местечко очень любил.

— Не говорите как про покойника,— суеверно отозвалась Алина.

Они поднимались на Савкину гору. Сумерки сильно густели. Синели озера, и, голубая, спокойно внизу протекала тихая Сороть. Издали, влево на горизонте, чуть зачернел экипаж.

— Не к нам ли?

— Кто к нам приедет…— сказала задумчиво Евпраксия.— К нам не приедет никто.

Минутная грусть ее охватила. Она отошла и села на камень, поставленный легендарным попом Саввой. Евпраксия помнила надпись: «Лето 7021 постави сей крест Сава поп». Она сидела легко: так опустилась бы, пролетая, вечерняя птица. Локоны падали по обе стороны

щек и легонько, ритмично покачивались. Пожалуй, нельзя было бы удивиться, если бы так же легко снялась она с камня и полетела над Соротью.

Лев на нее загляделся, но все же тем временем взял руку Алины; та как бы ничего и не заметила. Вечерняя тишина плыла над рекой и завораживала. Лев потихоньку и осторожно сжимал прохладные пальцы. Раз или два он ощутил и ответное пожатие. Было, впрочем, оно вовсе легко и непроизвольно. Девушка думала о ком-то другом: сводный брат ее Алексей все не возвращался…

Вдруг Евпраксия с места спросила:

— А Пушкин похож на вас, Лев? Я что-то не вспомню. Забыла.

— Я Пушкин и сам! — ответил он не без задора.

— Почитайте стихи,— попросила Алина и отняла свою руку.

Лев помолчал и начал читать из «Онегина»:

Он пел любовь, любви послушный, И песнь его была ясна. Как мысли девы простодушной Как сон младенца, как луна В пустынях неба безмятежных, Богиня тайн и вздохов нежных…

Луна как раз н поднималась над лесом, цепляясь за дальние ветви. Все стало призрачным в тишине. Первая встала Евпраксия, она предложила всем взяться за руки.

— Пойдемте. Так будет дружней! — А помедлив, добавила: — И Лев из гондолы в гондолу не перепрыгнет. Не смейтесь: после стихов, я считаю, и вообще хорошо помолчать.

Вернулись домой только к позднему ужину. Впро* чем, Прасковья Александровна отнюдь не протестовала. У нее было много хлопот и различных хозяйственных соображений — о ржи и о льне, о картофеле. Кроме того, ей довелось произвести и одну экзекуцию, виновник которой, наплакавшись, тедерь уже спал, Евпракснясразу тотчас обо всем разузнала от Анны Богдановны и потихоньку, краснея и почему-то пыхтя, по секрету передала Алине и Льву:

— Валерьян-то! Послали его за ключами… А он прямо в девичью и там произвел кутерьму. (Ей очень понравилось, что она так сумела сказать: произвел кутерьму.) II чего его к девушкам тянет?

Вздернутый носик, ноздри слегка раздуваются, и, громко шепча, она трогала грудь.

— А где же Анет? — немного рассеянно спросила Прасковья Александровна.— Она пошла к вам навстречу. Дети, садитесь к столу!

Когда наконец Анна вернулась, она не сразу вошла и постояла в дверях незамеченная. Шла она быстро, и грудь ее высоко поднималась — и от ходьбы и от волнения. Сразу она не могла передать своей новости, и она была счастлива, что только одна знает эту важную тайну. В мерцании свечей одно за другим она озирала знакомые лица за чайным столом. Да еще говорить ли им? Так она думала, глядя на них как бы с холма. На Льва поглядела с улыбкой. Нет, не похож! То есть похож, и кудрявый, да лучше бы даже был не похож: нельзя было б сравнивать. И поглядела на мать, на сестер. Как они все всполохнутся!

«Я ничего не буду рассказывать. Я только скажу…» II ей опять живо, почти до видения, представилось, как в Михайловской роще, в сумерках, ее настигла коляска. Она была очень задумчива и вспоминала, как ходила сюда, когда не было здесь никого, как забрела и в дом, трогала книги, мечтала. Смутный говор колес не доходил до сознания, и вовсе нежданно, за самой спиной, послышался храп лошадей. Она отскочила и, спрятавшись, одним глазом стала глядеть из-за ствола. Коляска была хороша, но в ней ничего не было необычайного. Один человек сидел позади, его не было видно. Но внезапно другой поднялся с сиденья, в шинели, накинутой на плечи, и что-то — кому-то в пространство — сказал. Отчетливо было одно только слово: «Здравствуй…» — и сел, запахнулся.

Анна узнала тотчас. Она задрожала, прижалась к стволу, и быстрые слезы восторга часто закапали на руки, на грудь. Так она долго стояла, все повторяя тихонько:

— Здравствуй же! Здравствуй!

Потом отклонилась от старой сосны н засмеялась от счастья. Ей было стыдно и гордо-счастливо; ей было необыкновенно. Целый рой милых стихов закружился в ее голове. II она почти побежала домой.

— Анета, это ты? — увидала Евпраксия, и все обернулись к дверям.

— Да, это я. Пушкин приехал. Я его видела.

Пушкин проснулся чем свет, не понимая, где он. Окно оставалось на ночь открытым, и утренний ветер колыхал занавеску. Простыни были свежи. Кажется, дома? Он чуть приподнялся и глянул в окно. Деревья качнули навстречу влажной листвой, блеснула полоска знакомой воды. Дома, конечно! Кончились степи, леса. Кончились запахи дынь, курной избы, конопли. Кончилась скачка.

Еще только позавчера он заезжал к Деспот-Зенови-чу. Хозяина не было дома, но как его встретили! После обеда в саду он ходил между яблонь, как новый Адам, и давал имена желтым и розовым яблокам. Как это вышло?.. Да, в Могилеве, это оттуда гусары направили, чтобы непременно заехал. А в Псков не поехал, прямо домой. Пусть как хотят!

И он потянулся, руки закинув за голову. Дом еще спал, была тишина, и самые стены, казалось, дремали.

Встреча с домашними вышла совсем хорошо. Как въехала тройка в Михайловский парк, так сразу и принял все — как родное. Сороть и рощи, луга и родители — все под одно: родное гнездо! Отец прослезился (как постарел!), мать долго его прижимала к своей спазматической костлявой груди (как еще хороша!). Пять лет не видались — достаточный срок! Пушкин был рад, что отчуждения не было. Но только они… надолго ль в деревне?

Няня! Няня из погреба несла кубан с молоком и, увидав его, выронила, всплеснула руками… Как он смеялся, ее обнимая! Даже отец лишь покосился на черепки, но ничего не сказал. Няня да бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал,— вот и все его бездумное детство, когда каждый день открывался, как новая жизнь. Пусть уезжают (что-то такое мелькнуло уже в разговоре), но няня останется с ним!

А где Ольга? Что Лев? Лев молодец, конечно, с девчонками! Оленька спит. Он было думал ее разбудить, но дверь отворилась, и, босая, в рубашке, она кинулась брату на шею. От нее пахнуло сонным теплом и свежим девичеством. Поцелуи сестры — как ключевая вода. Странное дело… И это единственная девушка в мире, которая для всех других просто девушка, а для него вот еще и сестра. В этом было какое-то очаровательное неудобство. Он целовал ее с нежностью — подругу и в играх и в шалостях. Себя увидал в корзинке у бабушки, куда он забился от матери, слушает сказку и глядит на мелькающие в желтых руках серые спицы; и видит сестру, как она кутает старую моську в длинную шаль и что-то над нею подшептывает…

— А помнишь?..

— А помнишь?..

Ольга не успевала ответить и счастливо смеялась, не отпуская пыльных братниных рук.

— Ездишь верхом? Вместе поедем! Замуж не вышла ли? — И хохотал.— А писем мне не было? — внезапно спросил он серьезно и тотчас догадался, что их не могло еще быть, да и самый вопрос неосторожен.

Левушка быстро вернулся. Он с шумом перемахнул через подоконник, когда все уже были за ужином. Две бутылки вина скромно и щедро встречали «блудного сына». Впрочем, никто еще дома и не подозревал, что Александр продолжал быть изгнанником.

— И знаешь,— болтал за столом маленький Пушкин (Лев как-то сразу стал маленьким),— Анета тебя увидала и, как с Синайской горы, объявила торжественно: «Пушкин приехал!» Что только было!

— Приехал, приехал… И мы завтра же сходим туда. Ты за которою волочишься? Предупреди. Чтобы не вышло дуэли. Вы помните, маменька, как я дядю Павла Исаковича, мальчишкой еще — помоложе тебя, Лев,— на дуэль у него вызывал? А фамилия барышни была Лошакова, и у нее были зубы вставные. Я только потом разглядел.

Левушка был неписаной летописью всех происшествий и тотчас же продекламировал стихи, сочиненные по этому случаю Павлом Исаковичем Ганнибалом:

Хоть ты, Саша, среди бала Вызвал Павла Ганнибала, Но, ей-богу, Ганнибал
Ссорой не подгадит бал…

Вспомнили братья и дядю Василия Львовича Пушкина,— впрочем, совсем осторожно, чтобы не обидеть как-нибудь отца, принимавшего своего старшего брата всерьез. Но все-таки вышел легкий конфуз, когда, развеселясь, Александр несколько громко шепнул брату о тетушке Анне Львовне:

— В «Бахчисарайском фонтане» я «хладного скопца» уничтожил из уважения к ее давней девствен ности…

Лев громко фыркнул, а Сергей Львович недовольно заметил:

— Если сестра моя Анна Львовна отсутствует, то здесь за столом ваша сестра.

Это вышло не очень-то ловко, и Пушкин ответил:

— Ну, Ольга не довольно стара, чтобы принять это на свой счет, и достаточно взрослая, чтобы понять шутку. Не сердитесь, батюшка! Я рад, что вернулся, и болтаю вздор.

Этот родственный тон в устах Александра был великою редкостью, и отец был польщен, а мир восстановлен.

Няня Арина Родионовна входила и выходила, прислуживая. II точно она помолодела, серые глаза ее ясно глядели из мелких морщин, как птенцы из гнезда.

— Уж так-то я рада, что ты к нам вернулся, голубчик наш батюшка! — сказала она, когда Пушкин налил ей вина и звонко с ней чокнулся.

И она же ему постелила и увела из его комнаты за руку Льва, который все не хотел уходить…

Итак, стало быть, дома! Теперь, и в Тригорском знают и ждут. Работать? Отлично! Ну, а еще?

И внезапно, как сквознячок, потянуло если не самой тоской, то явным предчувствием острой тоски. Невидимая черта здесь его окружала. Он ничего не сказал о новом своем положении. Но это неважно. Скажет и огорчит. Он уже привык, что им огорчаются. Важно другое: за эту черту переступить он не может — никак; и — никогда? В Одессе так не было. И в Кишиневе особенно. Там это не было все-таки формальной ссылкой. Из Кишинева ездил он в Каменку, из Каменки в Киев; ездил в Одессу, побывал в Тульчине. Да и в Одессе его не держали на привязи. Он думал ехать свободным. Писать, продавать!

Это направило мысли его на другое. Кто до пего торговал своею поэзией и можно ли жить на стихи? По старым понятиям, это было зазорно для дворянина. По для себя он это крепко решил, пусть называется это цинизмом! Он вспомнил свое же признание: «Правда, я пишу только под прихотливым влиянием вдохновения, но раз стихи уже написаны — я смотрю на них только как на товар, по стольку-то за штуку». Чистое творчество не мыслит о плате. Но плата приходит потом. Это только законно.

Он долго лежал на постели, забыв о часах. Но тут он откинул одеяло и простыни и сразу вскочил. Мысль о стихах, где все это высказать прямо, ему показалась заманчиво

дерзкой. Краткая формула возникла внезапно, и быстро, размашистым почерком, карандашом, на подоконнике, он записал на небольшой четвертушке, не доканчивая слов, не заботясь о знаках препинания, две короткие строки:

Не продается вдохновенье, По можно рукопись продать!

Вот, вот! Именно так… II стал одеваться.; Но, одеваясь, он поглядел на свои голые ноги с ветвистыми крупными венами, и быстрая новая мысль заняла его: а что, если попробовать похлопотать, чтобы уехать отсюда лечиться?.. Куда? В Петербург? За границу? Заветная мысль! Не пустят. А если не пустят…

Мысли его были подвижны. Точно бы он окидывал взглядом, попавши сюда на долгое жительство, много возможностей. Но мысли его одна другой не мешали; так же было и с чувствами: в нем много простора и никогда никакой тесноты.

Добыть себе денег и…

Он только присвистнул п, полуодевшись, вышел в бильярдную. В окна оттуда видны были службы и двор. Он увидал, что отец кружит в халате вокруг одесского его экипажа, по временам останавливаясь и вскидывая голову. Никита, без шапки, давал пояснения: Допрос был подробный, и не об одной, верно, коляске и о фамильном ларце, но и как поживали в далеких краях…

Никого на дворе больше не было. Только меж пестрых индюшек важно ступал надменный индюк с синевато-багровыми шишками на подбородке. И так же порою он останавливался и точно бы что вокруг озирал.

Смутное сходство с отцом могло показаться, пожалуй, смешным. Но Пушкин не засмеялся. Негустые брови его несколько сблизились. Смешного тут не было. Он долго стоял и глядел, забыв, что не вовсе одет.

Нет, ничуть не смешно, когда этот тесный и узенький мир глянул в глаза тусклым своим и, однако ж, надменным хозяйским глазком.

И быстро обрывочки начатых фраз сложились в одну и — завершились:

«А если не пустят — добыть себе денег и — бежать! Бежать за границу!»

Глава четвертая

Первые дни

Высылке Пушкина друзья его ужаснулись. Но у него были и недруги. Смутные слухи о неполадках в Одессе давно уже доходили на север. Булгаковы, братья-почтмейстеры из обеих столиц, переписываясь, передавали друг другу беглые новости. Константин Яковлевич писал из Петербурга в Москву Александру Яковлевичу: «Кто-то сказывал новость… Сказавший слышал — от кого, не знаю, — что молодой поэт Пушкин застрелился…» И от себя не без сожаления прибавлял: «Он, может быть, душу свою погубит, а тело никогда». Брат, в свою очередь не поверивший слуху о самоубийстве и уже знавший о высылке, отвечал ему так: «О Пушкине… никто не пожалеет. Кажется, Воронцов и добр и снисходителен, а и с ним не ужился этот повеса. Будет, живучи в деревне, вспоминать Одессу, да нельзя уже будет пособить. Василий Львович предполагает, что это убьет отца».

Иначе писал жене Вяземский: «Я надеюсь, что Пушкин никогда не будет убит, — разве каким-нибудь животным!» И даже пошучивал: «А если он застрелился, то надеюсь, что мне завещал все свои бумага. Если и вперед застрелится, то прошу его именно так сделать. Бумаги мне, а барыш — кому он назначит. Вот так! Теперь умирай он себе сколько хочет. Я ему не помеха!»

Но от шутки переходил и к негодованию. Александру Ивановичу Тургеневу писал он, узнавши о высылке: «Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство — заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской? Правительство, верно, было обольщено ложными сплетнями. Да и что такое за наказание за вины, которые не подходят ни под какое право? Неужели в столицах нет людей, более виноватых Пушкина? Сколько вижу из них, обрызганных грязью и кровью? А тут за необдуманное слово, за неосторожный стих предают человека на жертву… Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси? Должно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина». «Да зачем не позволить ему ехать в чужие край?..»

А между тем не уставали скрипеть и казенные перья. Отправив свое предписание о высылке Пушкина Воронцову, Нессельроде послал с него копию и генерал-губернатору Псковской и прибалтийских губерний маркизу Паулуччи, сопроводив письмом, где рекомендовал принять по отношению к Пушкину надлежащие меры строгости, дабы «привести на стезю добродетели и успокоить избыток воображения». Паулуччи тотчас предписал псковскому гражданскому губернатору Адеркасу учредить надзор над Пушкиным, как только он приедет.

Пушкин во Псков не явился и, махнув рукой, прикатил прямо в Михайловское. Это было уже ослушанием. И Адеркас, как только узнал о приезде своего подопечного, сделал распоряжение о вызове его в Псков, а надзор за ним поручили близкому соседу Пушкиных по имению, Ивану Матвеевичу Рокотову, тому самому, о котором, вспомнив его, Анна Николаевна Вульф молвила: «Фи!»

Рокотов был холост, недалек, молодился, французил (хоть плохо знал по-французски) и вообще любил держать тон. Ему было уж за сорок, брюшко он имел основательное, но все еще сильно ухаживал, причем особливо любил девушек брать за локоток: «Точно росточек!

Словно огурчик!» — и облизывал губы. Он всполошился, узнав о возложенном на него поручении, и хоть состоял в молодые годы при русском посольстве в Дрездене, а потом служил даже в Секретной экспедиции коллегии иностранных дел, но поручение это показалось ему чересчур щекотливым. Он решил отказаться, ссылаясь на нездоровье, и тотчас поскакал к высокочтимому Сергею Львовичу.

В Михайловском шли все еще тихие первые дни. Пушкин сказал о своей высылке только брату. Они вообще были теперь неразлучны и часто бывали в Тригорском, куда возвратился из псковской отлучки и Алексей Вульф. Мысль о побеге, раз зародившись, весьма процвела. Вульфа в нее, впрочем, не посвящали и строили разные планы только вдвоем. Сергей Львович отчасти подозревал что-то неладное, но все ж был уверен, что Александр просто в Одессе поссорился с Воронцовым и плюнул на службу. Тем непонятней сначала были намеки приехавшего удивительно некстати (перед самым обедом!) соседа, и тем потрясательней оказалась открывшаяся внезапно ужасная правда.

Рокотов начал издалека: как он поистине счастлив, что сын возвратился к отцу, и как сожалеет, что не застал «знаменитого баяна нашей славной эпохи», который, конечно, — простите за откровенность! — иногда дозволяет себе нечто такое… как бы сугубо «французское», что в политическом климате Севера, склонном к морозам… несомненно, однако ж, как он надеется… войдет в берега.

Сергей Львович с утра был расстроен. За завтраком подали несвежие яйца (это было еще терпимо в городе, но не в деревне же!); масло опять пересолили; Лева вчера разорвал новые панталоны и скрыл это; крысы ночью скреблись. А теперь еще этот пропахший оподельдоком сосед тоже разводит что-то не слишком понятное: явно, что тянет к обеду! И, наконец, выждав, любезно, но прямо спросил, какое же, собственно, дело привлекло почтенного гостя в скромное их обиталище. (Несомненно, обед был готов, но к обеду, пожалуй, надо вина, а вина было мало. Да и, кроме того, этот назойливый запах тимьяна и розмарина, смешанных с камфарой, вызывал в нем легкую тошноту и отбивал аппетит…)

— Вы простите мою откровенность, — Рокотов даже галантно, но и смущенно привстал, — я на себя эту роль взять не могу… Здоровье и прочее… Я откажусь. Конечно, по соглашению с губернским предводителем нашим Алексеем Ивановичем, его превосходительство Борис Антонович фон Адеркас предложили мне, так сказать, оба… надзор за поэтом, за политически вредными для общественной жизни и предосудительными — возможно, что мыслимыми — поступками ссыльного, да-с, неослабный надзор. Но я прямо скажу: не мо-гу!

Сергей Львович, только что мучимый голодом, а равно и томлением, что засидевшийся гость все не может уехать, сразу забыл обо всем. Все простое, житейское куда-то вдруг провалилось, и страшная, дикая предстала пустыня глазам. Он слушал, не смея вымолвить слова, и жуткие картины вставали перед его воображением. Александр, его сын, по высочайшему повелению сослан в деревню! Это марало и честь, это грозило и благополучию всех членов семьи и в первую очередь — его самого, безукоризненно чистого дворянина и верноподданного. Неисчислимые беды стали теперь у порога. Из просто прожившейся и кругом задолжавшей семьи, но, однако, еще не утратившей веры и в лучшие времена, они превращались теперь в семью заклейменных, отверженных. Бедный Лев! Горестный мальчик! Теперь нечего было и думать о его устроении по службе, все рушится, все исчезает! Бедная Ольга… Какие уж там женихи! Несчастная мать и убитый отец! Каких еще ждать последних известий новому Иову?

— Я полагаю… — продолжал изливаться почтительный гость. — Я так ценю ваше мнение… Я, собственно, даже не сомневаюсь, что вы одобрите это решение. — И тут он замолк.

— Что же тут одобрять или не одобрять? — рассеянно вымолвил Сергей Львович. — Я не смею судить веления свыше. Воля монарха священна, и неистовства надо смирять. — Мелкие капельки пота выступили на его впалых висках.

Гость поглядел на него с изумлением и почти что с испугом.

— Да ведь я не о том… Я… о себе; я о своем, простите за откровенность, решении. Как вы это одобрите? Да вы ни о чем разве не знали?

— Я принял его, как блудного сына, под отчую кровлю, — отвечал Сергей Львович, уже декламируя и в том находя какую-то точку опоры. — Я этот приезд его понял как глубокий порыв, как раскаяние. Я принял его. Я человек широкого взгляда, истинных чувств. высоко ценю ваше мнение, — поддакнул на всякий случай воспитанный гость.

Хозяин же хоть и глядел на него, но минуя его, и говорил сквозь него, как сквозь воздух.

— И что же? Я узнаю, как в древних трагедиях, от лица постороннего… Так на котурнах фигляр глубоко равнодушной рукою наносит удар в самую грудь.

Едва ль Сергей Львович в эту минуту сколько-нибудь сознавал, как глубоко неуместны были все эти выспренние его излияния. Рокотов даже несколько съежился. Он древних трагедий не знал, но не мог не почувствовать себя неудобно в неожиданной роли фигляра с проезжей дороги. Он не знал, что ему делать, как поступить. Наконец он поднялся и в замешательстве одернул фалдочки фрака. Конечно, и он не отказался б покушать… «Но бог с ним совсем — с обедом! Хорошо еще сына не встретил: говорят, что он с палкой не расстается…»

Отставной дипломат трусил определенно, но и был обозлен, оскорблен. Ему-то хотелось погарцевать, порисоваться своею душевною тонкостью — и вдруг этакий неожиданный оборот!

И он уже понемногу начал было пыхтеть, набираясь и воздуху и отваги, чтобы каким-нибудь изысканным, но и не лишенным язвительности оборотом восстановить благородство своей первоначальной позиции, как внезапно донесся до слуха его топот копыт. Он глянул в окно: два молодых наездника ловко соскочили с коней. У него подпрыгнуло сердце, и, пробормотав нечто невнятное, он бросился к выходу, чтобы не присутствовать при сцене между отцом и сыном и чтобы не подвергнуться гневу последнего за невольное свое разоблачение…

Он мечтал ускользнуть совсем незаметно: братья Пушкины заняты были еще лошадьми. Но Лев увидал его сразу и весело крикнул:? Уже пообедали? Иван Матвеевич, здравствуйте! — и отрекомендовал: — Мой брат Александр… Иван Матвеевич Рокотов! Александра в руках не было палки, но он энергично только что свистнул по воздуху коротким хлыстом, и, пока подходил, Рокотов мысленно поминал царя Давида и всю кротость его. Все ему вдруг середи белого дня стало казаться сплошь фантастическим и, значит, возможным. Пушкин к нему подходил не торопясь. Краски играли на лице его. Он был разгорячен быстрой ездой. И, конечно, был в настроении самом миролюбивом, даже веселом, но к незнакомому человеку, про которого только слыхал (правда, смешное), все ж приближался не улыбаясь, несколько сдержанно. Рокотов видел все это; но и эту игравшую силу, и самую сдержанность воспринимал он невольно как напряженность: изгнанник к нему не подходил, а подступал, как бы готовясь к удару, к прыжку. Не сводя с Пушкина глаз, смутно он ощущал, что за спиной еще было пространство, куда в случае надобности можно и

отскочить. уже слышал о вас, — приветливо сказал Александр Сергеевич, пожимая его завлажневшую руку. — В Тригорском только и разговору, пожалуй, что о любезном соседе. сразу осел и размяк, как ребенок. Он тем уже был счастлив сейчас, что никакой непосредственной опасности не было, а тут еще эта любезность!, полноте, что вы? — запел он с величайшей медовостью в голосе, совсем не заметив насмешки. — А давно ли вы прибыли? А не ваша ли это коляска?

Пушкин взял его под руку и, подведя, стал показывать одесский свой экипаж. Перепуганный было гость расцветал. Его уже начинало томить желание оказать какую-нибудь приятность очаровательному молодому хозяину. Он хотел бы сказать: «Как я могу согласиться быть соглядатаем ваших поступков, когда я успел душевно вас полюбить… Я так дорожу вашим мнением…» — но тема была щекотлива, и как-то непроизвольно у него вырвалось нечто гораздо более существенное:

— А не продадите ли вы мне вашу коляску? Она, извините за откровенность, мне пала на сердце!

— Пушкин обрадовался. У него не было денег или очень мало их, что все равно.

— Охотно. Пожалуйста.

— А ваша цена?

— А вот я спрошу у Никиты, сколько он заплатил. Вы не обедали? Пойдемте обедать!

— Нет, нет! Я прошу извинения. Я очень спешу… К тому же у меня ревматизм… изволите слышать? — Онодельдок в самом деле и на дворе благоухал.

В эту минуту в окне показалась фигура отца. Он успел уже несколько прийти в себя после внезапного потрясения: хорошая порция первоклассной риторики всегда его успокаивала. И когда на дворе увидел он Александра, он только подумал: «Как ни в чем не бывало! Каков молодец!» Но, услышав, какой оборот принимает разговор о коляске, он весь насторожился и постепенно стал все сильнее тревожиться, как бы сын не продешевил., Александр, — сказал он, не вытерпев.

Тот подошел, и, наклонясь из окна, Сергей Львович стал быстро и спешно шептать:

— К обеду его не зови. Мы уж простились. Обед опрокинули в кухне… Чад, смрад!

— Как жалко! А я как раз очень проголодался.

— Молчи. Я знаю, Никита мне говорил. Полторы тысячи. Так и скажи.

Коляска, конечно, стоила меньше, по Александр Сергеевич так и сказал: он поверил отцу.

Рокотов выслушал, болезненно сморщился — то ли от ревматизма, то ли от непомерной цены, — но закивал утвердительно и начал поспешно прощаться. Пушкин был рад нечаянной сделке с коляской. Был также доволен своею находчивостью и сам Сергей Львович, хоть и несколько жаль, что заготовленные речи пропали… У него уже было возникла целая сцена, как благородный отец клеймил нечестивого сына, но эта коляска спутала карты.

Разговор между ними все же произошел. Но он не развернулся в трагедию: сын никакого не совершал преступления, а не говорил, чтобы отца не тревожить, и только. В довершение всего и Надежда Осиповна, узнав о событии, хоть и очень была огорчена, но не разгневалась. Лишь на мгновение глаза ее остро сверкнули и выпрямилась лебединая шея. мои всегда были гонимы, — гордо произнесла она. — А мой дед-арап два раза и со службы бегал.

Тут Александр рассмеялся, встал с места и поцеловал сухую и желтую ее прелестную руку.

В тот же день вечером через земскую полицию было получено и предписание: незамедлительно Александру Сергеевичу Пушкину явиться во Псков, к губернатору фон Адеркасу.

Что же до Рокотова, то настоящая дрожь прохватила его значительно позже. Он велел кучеру гнать лошадей, как если б его преследовала шайка разбойников. И, однако же, он благополучно от них ускакал: и от истязаний и от грабежа. Николая Матвеевича, брата, отставного полковника, не было дома, он направился в город (по середам у исправника в Острове — карты), так что душу излить было решительно некому. Тогда он приказал экономке ставить скорей самовар и, когда вода закипела, положил две горячие бутылки — на печень и на селезенку; сам же, лежа, пил чай с вареньем из свежей малины.

Пушкин не торопился ехать во Псков и строгое предписание явиться к властям выполнил лишь через несколько дней, но сам этот старый северный город ему очень понравился, и он в нем задержался. Официальный визит обошелся без всяких «страстей», как ожидали и боялись домашние, взволнованные губернаторским вызовом. Фон Адеркас хотел было рассердиться, да не сумел. Пушкин с первых же фраз его рассмешил и обезоружил: просто решил хорошенько сначала отмыться в реке — и от пыли дорожной, и от кишиневских своих анекдотов.

Старая псковская Русь Пушкина поразила. В нем ярко возникли воспоминания раннего детства: церковь в Больших Вязёмах и древние фрески на ее потемневших стенах. Он их разглядывал, когда хоронили его младшего брата Николая, умершего в Захарове, подмосковном имении бабушки Ганнибал. Тогда он и сам был еще маленьким и смерти не понимал, но вот отошедшая, умершая жизнь — живая — глядела со стен. Читая теперь Карамзина, уже ясно он ощущал, что прошлое вовсе не умирает, оставаясь меж нас и даже действуя в виде истории. Так и в той церкви все было насыщено движением Смутного времени, эпохою Годунова.

И там же, в Вяземах, он был восхищен стоявшею отдельно от церкви старою звонницей, с пролетами в небо, с седыми колоколами. Сквозная, изящная, легкая — она ему снилась. Тут, в некогда вольном городе Пскове, у коренастых, низких церковок, точно бы выпеченных из белого теста, этих возносящихся звонниц были десятки. И когда он ступал по откосам кремля над рекою Великой, к нему поднимались, словно туман, живые воспоминания непреходящей истории. Воображение видело здесь жизнь и движение, а шумный говор толпы на базаре, скрипенье телег и лошадиное фырканье, все эти звуки, к которым он жадно прислушивался, были прямым отголоском и продолжением народного гула в минувших веках. Непосредственно он о работе не думал, но знал хорошо про себя, что «Цыганы» кончаются, «Онегин» сопутствовал жизни и, собственно говоря, конца не имел. Не очень-то он планировал свое время, но все же близилась осень, зима, и именно время само открывалось пред ним, как широкое снежное поле, простор. И на этом возникшем просторе смутно, но и настойчиво задымилась, зареяла в воздухе старая Русь, как бы ждавшая себе воплощения. Страсти ее не угасли и ныне. Хотя бы и Годунов! Кто такой, собственно, был Годунов, севший на трон, добытый кровью? Троны в крови и сейчас, и на них преспокойно садятся.

Пушкин во Пскове ел в ресторанах, играл в гостинице в карты, смеялся и балагурил, поздно ложился, но каждый день рано вставал: у него было и настоящее дело, которое творилось как бы само собою, будучи вовсе невидимым и едва уловимым; он в этом городе дышал стариною и размышлял. И все же мысли его никак еще не были связаны с прямою работой, с определившимся замыслом. Это было простою, органической жизнью внутри самого себя, собственным ростом, закономерностью. И, уезжая из Пскова, он увозил в себе

творческий этот туман живой старины, так густо пахнувший на душу, но никак еще не позволявший ему разглядеть ни скрытой конструкции целого, ни обособленных образов: слышимо было только гудение толп, да смутно маячил образ царя — одинокого, мрачного и обреченного.

Не очень заботясь о ждавших родителях, по пути он заехал в Тригорское. Ему по душе был этот дом с его безалаберной, но легкою жизнью. Здесь ничто не царапало, не надо и настораживаться. Похоже на луг перед речкой — просторно и все одинаково, ничего чрезвычайного. Девицы отчасти на одно лицо все. Мягкий псковский овал, ясные взоры, носики — нет, не орлиные, — нижние губки капризно вперед. Что до ума — также, конечно, не блещут. Но это и не обязательно! Однако ж какие в доме ватрушки, варенье, какое тепло и радушие! И сама Прасковья Александровна забывала о ржи и о льне, когда он появлялся у них.

Так и сейчас, когда Пушкин с поцелуем наклонился к ее несколько пухлой руке, пахнувшей свежим укропом (солила на дворе огурцы), она обняла его голову и крепко поцеловала в кудрявый висок.

— Ну, вот вы и вернулись домой, — сказала она, поблескивая глазами и с удовольствием включая в это понятие не только Михайловское, но и Тригорское. Пушкина, в сущности, она не беспокоилась. Через знакомых предприняла даже шаги, чтобы Адеркаса немного смягчить и внушить ему здравую мысль, что для поэта хорошо именно быть в деревне и тишине: работа, досуг. В размышлениях этих, заботах было, конечно, и кое-что эгоистическое: Пушкин вносил в их сельскую жизнь живость и блеск, ощущение широкого мира, поэзию. Тригорское вдруг становилось звучным и ярким… И потерять все это, потерять его — да ни за что!

Анна стояла в гостиной в углу, когда Пушкин вошел. У самых ног ее лежал, как бы расплескавшись, небольшой кружевной платок. Пушкин взглянул на нее и догадался: даже и не заметила, как уронила, так велико было ее замешательство! Впрочем, на самом лице ее, сильно зардевшемся, все было ясно написано: и тревога минувших дней, — как-то все обойдется? и не вышлют ли дальше? не оставят ли в Пскове? — и тревогу сменившая радость, которую некуда деть и невозможно укрыть. В таком состоянии была она очень мила.

Руки ее Пушкин при матери не посмел бы поцеловать: руки целуют у дам! Но, здороваясь, все же слегка ее задержал. Анна опустила глаза перед живым его взором и застеснялась еще сильней, увидав оброненный платок. Неловко она потянула назад свою руку и одновременно нагнулась, чтобы поднять, но в ту же минуту наклонился и Пушкин. Оба они крепко стукнулись лбами, и он громко от неожиданности захохотал, все не выпуская ее руки и подымая так смущенную девушку.

Евпраксия настоящим бесенком скакала вокруг.

— Как звонко они поцеловались! — кричала она. — Как настоящие козлики! Нужно теперь и как следует, право! Александровна нахмурила бровь:

— Зизи, помолчи! Я пойду, Александр, распоряжусь вам с обедом.

Но еще раньше матери и Анна вышла из комнаты., как мячик об стенку, — сказала Евпраксия, — стукнулась и откатилась… А у нас нынче топится баня!

— А разве суббота? — спросил Пушкин, смеясь.

— Вы и дни уже забыли. Суббота, конечно. Завтра к обедне!

— А Лева у вас?

— Парятся там с Алексеем. А вечером свежий мед будем есть! Нам поп Шкода прислал. Он нынче рушил на пасеке соты.

Пушкин отправился в баню один, без слуги. Смена белья была в чемодане.

В парке знакомая старая ель стояла простая, величественная. Липы мирно поблескивали своими крылатками, и дуб уж ронял первые желуди. Внизу под откосом Сороть блистала — серая, матовая. «Как мило она покраснела!» — вспомнил он Анну и невольно сжал пальцы в рукопожатии. Потом засмеялся и, выбросив воздух из кулака, пощупал на лбу — не вскочило ли шишки. Потом его взгляд привлекло чье-то белое платье. Он пригляделся и тотчас отгадал. Это сидела Алина у мостика через овраг. Что она делает там? Ясно, что ждет. Кого? Алексея!

Догадка тотчас оправдалась: он увидал за кустами быстро шагавшего Вульфа. Значит, все было условлено. У молодого студента вид был вороватый. Окликнуть? Не стоит!

Брат был еще в бане. В облаке пара он выливал шайку за шайкой на дымящуюся голову. Баня была жарка и тесна. Покосившиеся черные оконца едва были видимы.

Лев хотел обернуться на скрип, но, поскользнувшись, чуть не упал.

— Что ж ты вернулся? Или сробел?

— Нет, он как кот через траву — резво бежит на свидание! А у тебя тут как в Тартаре…, Александр! А я думал, что это Вульф воротился…

И они принялись болтать наперебой. Александр ему живописал свои псковские дни, Лев не скупился в ответ: врал и прикрашивал.

— Что, батюшка очень небось беспокоился?

Лев растирал брату спину.

— Ужасно боялся! Ставни сам затворял. И по ночам выходил на крыльцо — слушать, не едут ли…? всю семью! Не крепко так?

— Нет, ничего! Можно и крепче. Так что же отец? Эти огромные лужи на полу и то, как он чуть не упал, повернувшись, — все это Льва вдохновило:

— Да что! Нынче все жаловался. Староста, видишь, пришел и наседал о каких-то делах… — И он стал представлять Сергея Львовича: — «О каких-то делах, мелочах, для которых, ты знаешь ведь, Лев, я не рожден. Сам посуди. Крыша промокла где-то в сарае. Что? Протекает? Так подотри! Я-то при чем? Или, видишь ты, пала корова. Вовремя надо было смотреть, так сказать, поддержать, чтобы не падала!»

Пушкин, весь в мыле, громко смеялся.

— Ну, ну, довольно, пожалуй. А то как бы и мне не упасть. «Подотри!»

Одевались они долго и не спеша. Лев поверял Вульфовы тайны, или, вернее, догадки о них. Разговор между братьями шел открытый, мужской. Пушкин и сам заметил уже у Алексея эти «глаза с поволокой, роток с позевотой», как говорится в русском присловье: примета дурная. А между тем Алексей ему нравился. Это был чистенький юноша, красивый, воспитанный; порою он говорил даже вовсе не глупо, и притом о вещах, малознакомых Пушкину. Может быть, было все это откуда-нибудь и нахватано, по речь была ясной и интересной.

— Так-то, брат Лев, — сказал Пушкин, потягиваясь. — Помнишь, как я тебя остерегал от холодной «обезьяньей любви»? А это похуже. Нельзя эту штуку носить только тут, — и он тронул свои лоб. — Нельзя, не то загниет.

Пушкина ждал разогретый обед, после был чай. Мед был действительно великолепный и между хрупкими сотами выступал, как янтарь. чаю, гуляя, пожаловала и Ольга Сергеевна. Этот путь для нее был не близок, и она не такая частая гостья. Все ее шумно приветствовали. Пушкин ее принялся тормошить и расспрашивать. Он без внимания оставил замечание сестры, что его дома заждались, но с интересом отнесся к тому, что отец ездил сегодня к Пещурову.

— В гости?

— Нет, зачем-то тот сам присылал: просил, чтобы папа приехал.

— Значит, по делу?

— Не знаю. Псков замолчал — что-то Опочка заговорила, — заметил Пушкин, а Лев тотчас принялся представлять, как «гавкает» их предводитель дворянства Пещуров, тот самый, о котором, вспомнив его, Анна сказала: «Тоска!»

Интереснее всех была за чаем Алина. Пушкин с любопытством сегодня глядел на нее. Говорят, она вся в отца: тот был высокого роста и худощав, скромен безмерно, но отлично сложен. Розовый ротик ее очерчен был тонко и грациозно, длинные пальцы — как нарисованные; и у нее был к тому же один неповторимый, ее именно жест: когда внимательно что-нибудь слушала, легко поднимала левую руку ко рту, губы слегка размыкались, и она клала на них указательный палец. Это было бездумно кокетливо: точно бы и призывала и запрещала. Рядом с ней Алексей переминался с ноги на ногу под столом и плавно и медленно поводил томными, красиво очерченными глазами. Он молчал и томился.

И Анна была несколько возбуждена. Пушкин, сидевший с ней рядом, много шутил и все вспоминал — многозначительно, — как козлики лбами поцеловались. Но, конечно, в тот вечер ему нравилась больше Алина, и он забавлялся, смущая ее.

— Как хорошо в парке у мостика! — говорил он соседке, но так, чтоб Алина не пропустила ни слова. — Я когда-нибудь сяду там с книгой и вам назначу свидание. Придете ли?

— Нет, — отвечала Анна, зардевшись, и добавляла кокетливо: — Я вас боюсь.

— Надо быть посмелей, — и глядел при этом на Вульфа; тот опускал глаза и принимался тереть ладонь о ладонь. жмурки! — диктаторским тоном приказала внезапно Евпраксия, как только встали из-за стола.

Пушкин ее поддержал, и маленького деспота послушались все: в жмурки так в жмурки!

— Как ты сказал? — спросил Вульф.

— Я сказал: «Будь посмелей!»

— То есть?

— А то вот и есть! — ответил загадочно Пушкин, намекая глазами на многое.

Сумерки шли от реки, прохладою веяло с пруда. Дуб на пригорке, еще молодой, но уже умевший насупить крепкую крону, колыхал над водой своими широкими лапами важно и многозначительно. Далеко, кругами, ширясь и замирая, плыли звуки от дома: выкрики, смех, всплески **ладоней**. Прасковья Александровна сидела одна на скамье у пруда. В играх участия она не принимала и слушала издали. Чувства ее в этот вечер двоились. Ей было приятно по-настоящему, что вся молодежь эта шумела на воле, как только что отроившийся рой, что там веселились так простодушно, но было и грустно, что она здесь одна и никто ее, верно, даже не вспомнит. Она не любила подобных своих состояний и, как всегда, нашла себе выход, минуя разноречивые чувства, и мысли ее без особых усилий потекли по привычному руслу…

Хозяйство! Вот где она была полновластна: здесь все от нее исходило и к ней возвращалось, тут все заботы были — ее, удачи и неудачи — ее. Затеяла строить новый дом — большой, настоящий, совсем не такой, как этот полусарай, оставшийся от покинутой парусинной фабрики. Брало сомнение, хватит ли сил. Урожай был хорош, это правда, но… И потекли бесконечные «но»… Иные зачеркивались, с другими — трудней, и все же, как бы то ни было, волновавшие звуки теперь ее не досягали, ибо внутри была водворена тишина.

Она даже вздрогнула, когда кто-то на лету на нее наскочил. Быстрые руки обняли шею, и горячие, мокрые щеки толкнулись в лицо. Евпраксия задыхалась от бега и всхлипывала.

— Зизи, что с тобой? Перестань!

Это было так непривычно для матери. Бедовая девочка не баловала ее своей лаской. Но Евпраксия к ней прибежала совсем как ребенок, а куда же еще ребенку в обиде бежать, если не к матери?

— Ты плачешь? Да что? Расскажи!

— Пушкин… кричал… Перстень… отняли! Он мне принес показать, а я думала — он подарил!

— Да кто подарил? Какой еще перстень?

— Лев подарил! А перстень от павы… понимаю. А кто же кричал?

— Пушкин кричал! — И она затопала от обиды ногами. Долго Прасковья Александровна ничего не могла понять. Но понемногу все прояснилось. Лев принес перстень, который ему подарила какая-то будто бы пава-венецианка. А перстень оказался вовсе не его, а Александра Сергеевича. И когда после жмурок стали играть в фанты, тут-то она и дала его как свой фант. А Лев его стал отнимать, а она не давала. А он говорит: не дарил, а только хотел показать… А Пушкин увидел и рассердился, и начал кричать.

— На тебя… он кричал?

— Зачем на меня! На брата сердился, а мне его жалко, Левушку… из-за меня! Мне Левушку жа-а-алко!

— Не плачь. Это их дело., кажется, камушек выпал, как мы возились, или что-то погнулось. Я убежала.

От дома давно уже слышалось:

— Где ты! Зизи! Зизи!

Евпраксия не отвечала и все еще жалась к матери.

— Все пустяки. Вытри глаза, и пойдем. Никто на тебя не кричал.

— Еще бы! Пусть бы они только попробовали! — И она отошла, оправляя помятое платьице.

Позже смеялись над этой маленькой драмой. Но Пушкин действительно внезапно и сильно вскипел и выругал Льва. У того еще долго был виноватый и отчасти испуганный вид.

— А перстень-то, Лев мне сказал, оказался волшебный. Александру Сергеевичу морская волшебница его подарила, — еще не совсем успокоенная, шептала Евпраксия Анне; та сильно бледнела и не спускала глаз с Пушкина.

Все это, правда, могло быть и неприятно Прасковье Александровне, но Пушкин, как только вошла она на террасу, был уже вовсе другой. У него блестели глаза, и он веселее был вдвое, точно действительно коснулась его та рука, что подарила ему талисман.

— Простите! Простите меня! Я, кажется, эту малютку перепугал.

И он целовал руки хозяйки и высоко за локти подкинул Евпраксию. Девочка сжалась в комок и была тяжелее обычного, но глаза ее уже поблескивали огоньком удовольствия. Все снова быстро наладилось.

— Я, видишь ли, как-то им врал, — оправдывался дорогою Лев, — что будто бы мне такой перстень красавица одна подарила. соврал только одно: что подарили тебе, — перебил его брат.

— Зизи ко мне все приставала… Я и принес показать, пока тебя не было. Я у тебя увидал подходящий…

— Что ж, ты лазил ко мне?

— Честное слово, я даже не знал, что он есть у тебя. А он лежал на столе, просто как желудь!

— Значит, другой кто-нибудь лазил… Как это скучно!

— Не я, — кратко промолвила Ольга Сергеевна.

— Знаю. А писем мне не было?

— Нет.

Пушкин вздохнул и замолчал. Но перстень был с ним, и что-то опять в душе подымалось, звучало: снова Одесса, Елизавета Ксаверьевна… и как ему подарила тот перстень.

У самого дома Лев подольстился:

— Ты, значит, не сердишься? Я тебе сам поправлю его.

Ответ был неожиданный:

— Нет, не сержусь. Я даже тебе благодарен.

Так и осталось для Льва совсем непонятным, за что ему брат был благодарен.

Родители спали. Пушкин и этому рад. Он быстро прошел в свою комнату и сразу разделся. Лечь было приятно, однако же он не тотчас уснул. Дорога его затомила, баня и мед, пожалуй, разнежили, брат рассердил, но странная крепость росла изнутри. Его подымало. Он начал твердить стихи свои «К морю», но эти стихи перебивались другими: волны ложились в них мягче, и возникало видение залива, как если бы не было море беспредельно далеко, а мирно плескалось вот тут, за окном… И невозможное становилось возможным. Он развернул томик Парни и быстро напал на историю с Прозерпиной. Улыбка скользнула по его настороженным губам, готовым что-то шепнуть. Но скоро его стало легонько покачивать, и он незаметно уснул.

Опять была баня, похожая на Тартар, и облака ходили по ней. И отбывал мрачный бог Аида и с ним равнодушная и ревнивая супруга его. Но… все переменилось, и несбыточное стало действительностью: перстень был с ним, она была с ним…

Повинуется желаньям, Предает его лобзаньям Сокровенные красы…

Все мешалось во сне, и снова все возникало в изумительно ясных, прозрачных струях. Мелодический звон их отдается в ушах, когда первый луч солнца пронзает сонную быль —

И счастливец отпирает Осторожною рукой Дверь, откуда вылетает Сновидений ложный рой.

Пушкин в постели. Глаза его кажутся пусты. Он смотрит далеко, но это «далеко» — внутри; взоры его обращены в себя. Он чертит огрызком пера короткие быстрые строки начала стихов, концы их, и через все бьется, как пульс, жаркая интонация ночи. Пушкин пишет свою «Прозерпину».

Глава пятая

Письма

Дни идут за днями. Осень дышит в стекло по утрам, и струйки холодной воды сбегают прерывисто, судорожно: похоже на слезы. Но позднее солнце наводит порядок: дали опять прозрачно светлы и легки облака. Так и хмурость в душе сменяется творческой ясностью. Заалел бородавчатый бересклет, и сережки его — как огоньки в редеющей чаще лесов. Жухнут увядшие травы, и один только мох еще, кажется, ярче на солнце горит изумрудным огнем. Тянут на юг перелетные птицы, и паучки-путешественники реют на паутиновых своих коврах на высоте, далеко озирая ландшафт. А вот человеку — не дано путешествовать...

Пушкину тесно в семье, скучно порой и в Тригорском. Не все же ведь фанты да жмурки!

Скучно в семье: отец в меланхолии и раздражительности сильнее обычного; невесела и Надежда Осиповна, ей уже хочется в Петербург, она не любит деревни и не выносит шума дождя. Но это бы что! Пушкин стал замечать, что отец каждый раз особенно зорко следит, чтобы не пропустить почту. Он выходил па балкон и принимал ее не иначе, как в собственные руки. При этом он подозрительно живо интересовался, почему это нет писем для Александра.

Писем действительно не было. Правда, что Пушкин никому — и Раевским в спешной записке, отправленной в Киев с Андрюшею Подолинским, — не дал нового адреса. И, однако же, в один ясный денек бабьего лета он получил первую весточку, пробившую заветную черту его бытия. Это было письмо от Вяземской, направленное ею через псковского губернатора. Оно миновало отца. Никому бы и ни за что не показал он эти милые строки. Это была первая весть из Одессы...

Пушкин вышел из дому и в лесу еще раз перечитал душистый листок. Письмо было необычно для Веры Федоровны. То, что никак не ложилось в слова при разговоре и разве слегка лишь, быть может, угадывалось во взглядах и интонациях, дышало открыто на этих страничках в неровных строках и еще того более явно меж строк. Это было глубокое неприкровенное чувство, которое безопасно может быть высказано лишь на таком большом расстоянии...

О Воронцовой не было ни единого звука, и Пушкин понимал, что в таком письме, естественно, не оказалось ей места. Он был странно взволнован. Но еще более необычным было одно ощущение: одновременно он чувствовал себя старше княгини Веры и мысленно читал ей дружеское нежное наставление. Так говорил бы, пожалуй, Онегин с Татьяной в ответ на ее признание. Больше того: само письмо Вяземской определенно напоминало именно послание Тани. Он ей читал эти строки еще у моря, в Одессе... Он колебался тогда, как заставить русскую девушку писать не по-французски и каково должно быть самое это признание.

Письмо Татьяны к Онегину было написано раньше, чем было нужно по ходу романа, но только теперь он как раз к нему подошел: это было удивительным совпадением.

Письмо Татьяны предо мною: Его я свято берегу. Читаю с тайною тоскою И начитаться не могу.

Однако же письма Веры Федоровны он не сберег. Он не хотел компрометировать милого друга: он чувствовал домашнюю слежку — и за собою, и в особенности за своей перепиской, раз она возникала, и уничтожил этот листок на той же прогулке.

В речке купали овец и, выкупав, стригли на берегу. Это веселое зрелище открылось ему, едва он вышел из лесу. Все женское население усадьбы было собрано здесь. Веселые брызги сияли на солнце, возгласы, крики были еще веселей. Пушкин не сразу заметил, что на склоне сидит и наблюдает сам Сергей Львович. Он быстро сбежал уже на половину дороги и только тогда признал серый ночной колпак отца. «Он, должно быть, уверен, что это к нему очень идет!» — подумалось Пушкину, и он было замедлил шаги, но потом опять почти побежал: э, все равно! И еще какая-то озорная мысль мелькнула в уме: он тронул в кармане письмо.

Ты гуляешь? — спросил небрежно отец.

— Да.

— А я слежу за хозяйством.

Сын улыбнулся: взоры отца от него не укрылись. Связанные по ногам веревками, овцы были добычею пожилых обстоятельных женщин, ловко отгибавших меж пальцами чистую шерсть и наискось, как бы вместе с оттянутой кожей, перерезавших ее широкими ножницами. Это можно было б еще, пожалуй, назвать и «хозяйством», по веселая борьба девушек с овцами, плесканье в воде, и как порой, вырвавшись, уплывало животное, вытянув узкую морду и откинув рога, а за нею скакала в волнах быстрая босоножка, плеща руками, брызгаясь, смеясь и крича, — это скорей походило па некую мифологическую игру. Так, верно, это воспринимал и сам Сергей Львович, весь ушедший в созерцание: взоры его устремлялись, конечно, сюда.

Но игра продолжалась порой и на суше. У хорошенькой Оли Калашниковой, как взглянула, выходя из воды, на молодого барина, видно, ослабла рука, и взбудораженная пленница ее, почуяв под ногами привычную землю, стремительно вырвалась и поскакала по лугу. Девушка бросилась следом. Открытые ноги ее сверкали на солнце, билась коса за спиной, а мокрое платье на быстром бегу облипало всю ее стройную молодую фигуру. Овца оказалась из резвых, и Оленьке пришлось-таки погоняться за нею. Пушкин следил за состязанием в беге и ловкости. Ни Воронцовой, ни Вяземской, ни самой отдаленной мысли о них не существовало в эту минуту. Точно бы легким ветерком веяло на него от этой стремительной юности, ладных движений и легкого бега. Пушкин неслышно вздохнул, точно в ответ на тот ветерок, и продолжал не отрываясь глядеть. Но вот, наконец, поймала, нагнулась, полуобняла и ведет ее на берег. Волосы Оленьки светились на солнце, влажно сняли глаза, щеки пылали. Смущенье и радость составляли сейчас живое ее очарование.

Что-то заставило Пушкина оглянуться: быть может, косой, нечаянный, в сторону, Оленькнн взгляд. И, обернувшись, он увидал, что Сергей Львович тоже стоит и глядит, вытянув шею, глаза его сузились в щелки и поблескивают из-под сдвинутых век, как глаза лесного паучка. Неприятно. Пушкин вспомнил: письмо! Он вынул его и разорвал перед отцом — медленно — вдоль и поперек. Тот встрепенулся.

— Что это?

— Это письмо.

— Зачем же ты рвешь? От кого оно?

— От возлюбленной, — И поглядел на отца. — А впрочем, если хотите, от губернатора!

Накопившуюся свою неприязнь и насмешку он не очень даже скрывал. Сергей Львович затрепетал, по сдержался, что было редкостью. Он пожевал безмолвно губами и, стараясь не торопиться, однако же мелко и часто ступая, направился к дому. Пушкину несколько

неприятно было остаться так одному: он рассчитывал на другое и приготовился было в ответ на нотацию высказать все, что за эти дни накопилось. Между тем выходило, что он просто обидел отца. Тогда и он пошел прочь, но в обратную сторону, вниз по течению Сороти. Между пальцев его зажато разорванное письмо. Ему было жаль его, но уничтожить необходимо, он сбережет его в памяти. И, остановившись, он окончательно разодрал листок па мелкие части и стал кидать в воду. Река принимала их спокойно и широко, равнодушно. Крохотные кораблики плыли по направлению к Тригорскому и скоро совсем скрылись из глаз. Невольно его потянуло туда, следом за ними... но — скучно порой и в Тригорском! Да и что-то другое еще, помимо сознания, властно направило шаги его к дому, к берегу, где продолжалась стрижка овец. Минутное недовольство собою он погасил и отошел под крылышко няни.

Несколько важно, но и спокойно, легко сидела она между старух, наблюдая за ходом работы и сама выбирая из волны застрявшие в ней летние орепьи (по-няниному). Усмиренные, затихшие овцы лежали вокруг, покашивая покорными своими глазами. Купанье закончилось, и Оленька также возилась теперь с огромными ножницами. Пушкин полуприсел и поболтал со старухами, с няней. Временами, однако, поглядывал он и на девушку. Она приникла к работе со всею старательностью и не поднимала опущенных глаз. Это тоже к ней шло. Но все же (один только раз) он поймал ее взгляд. Глаза были серые и глядели просто и ясно; напоминали они воды реки.

Вечером Пушкин был очень мягок с родителями.

Вульф уезжал. Вакации кончились. Когда он пришел с последним визитом в Михайловское, вся молодежь сопровождала его.

Пушкин к гостям вышел не сразу. Письма ему были большою отрадой, а он только что получил первую весть от лицейского друга — поэта и увальня Дельвига. Целый поток литературных вестей и интересов увлек его. Дельвиг писал о Жуковском и Вяземском, о Баратынском. Он предлагал второе издание «Руслана», и «Пленника», и «Бахчисарайского фонтана». Скромно писал и о себе, благодарил за похвалу и замечания. Обещал скоро приехать. «Только что все приведу в порядок, буду у тебя». Тут Пушкин не мог не рассмеяться: он хорошо знал, как умел его друг барон медленно поспешать. И как приятно: ни слова о ссылке и никаких деклараций о том, что он отнюдь не боится, как бы их переписка его не скомпрометировала! Уверениями подобного рода, бьющими на благородство, было исполнено до краев другое письмо, полученное ужо несколько дней тому назад — от Александра Раевского. Это послание сидело занозою в сердце и не требовало иного ответа, кроме разве стихов, да и то лишь для себя, дабы облегчить душу. А Дельвиг был прост, как лесной ручей. Хоть и ленивец, а хлопотун со своими «Цветами»!

Но, читая письмо его, каждый раз все возвращался Пушкин к началу, где Дельвиг писал: «Прозерпина» не стихи, а музыка: это пенье райской птички, которое, слушая, не увидишь, как пройдет тысяча лет. Эти двери давно мне знакомы. Сквозь них еще в Лицее меня часто выталкивали из Элизея. «Какая искусная щеголиха у тебя Истина!» И Пушкин опять улыбался, целый рой царскосельских историй, на которые намекал барон, возникал в голове... Пушкин любил это время искренней дружбы и беззаботных веселых проказ. Но как же, однако, Дельвиг ошибся, думая, что «Прозерпина» была рождена этими воспоминаниями... Какая же в самом деле «искусная щеголиха» эта истина!

Он был доволен. Открытый до дна в стихах своих, он был в них открыт — для себя. Стихи вырастали, как ветка на дереве, и были полны последнего кровного смысла лишь в сочетании с целым. Для него они были неотделимы от жизни, в них протекала действительно

настоящая кровь и бился пульс живого его сердца. Но зачем же так открывать себя другим? И что ж? Какое дело свету до сокровенных этих биений, когда он всем им чужой?

И ему нравилось, чтобы ветку принимали за целое, за отдельность и не искали корней, которые он таил про себя. «Ах, Дельвиг, Дельвиг! Попался и ты! Ты знаешь и чувствуешь эти подземные корни, ибо сам ты поэт, но в темноте под землей ты немного ошибся...» И глаза у Пушкина делались мягкими, и он улыбался добро и длительно.

«Теперь о деньгах», — писал ему Дельвиг. Вот именно, о купле-продаже. Тут таить ему нечего. Даже напротив: бросая свой вызов, он стремился к тому, чтобы быть понятым верно. Еще в первое утро в Михайловском он набросал эту формулу: «Не продается вдохновенье...» Когда вернулся потом из бильярдной, листка на подоконнике не оказалось, его сдуло порывом ветра, но он успел увидать, как кривой садовник Архип тут же его подобрал.

— Ты что это? — невольно спросил его Пушкин.

— А вот цидулка попалась, — ответил Архип, — трубочку ей хорошо раскурить.

«И ничего, — пришло тогда в голову Пушкину. — Вдохновение не продается, а рукопись хоть на раскурку, да пригодилась».

«Для чего же писать? — думал он теперь. — Какой удел я выбираю?» И его опять потянуло было к тетради. Но, видно, не очень: там ждали тригорские... «Надо. Пора...» И он вышел к гостям.

— Дельвиг всем кланяется, — сказал он, обращаясь к домашним. — Всем поименно.

— Где это вы запропали?

— Простите меня, господа, я беседовал с другом.

— Вы беседовали с другом, о чем — неизвестно, — обратилась к нему Анна, когда он пожимал ее руку. — А я беседовала с подругой. И тоже в письме...

— А о чем — неизвестно!

— Очень известно: о вас!

— Кто же вам пишет?

— А ну, отгадайте!

Пушкин не мог отгадать, а Анна сразу не сказывала. Она берегла этот разговор: сейчас было слишком много народу. Отец был в отменно хорошем настроении. Из Петербурга он получил извещение, что дело со службою Льва продвигалось: все, кого он просил, «поговорили»... И он весело болтал и каламбурил с девушками. Надежда Осиповна глядела на него снисходительно: она строга была только к девкам, которые обретались на дворне.

В центре внимания сегодня был Вульф. Он, как и всегда, несколько был декоративен в узком своем сюртуке, с затянутой талией. Плечи его, приподнятые ватой, классически были недвижны, когда повертывал голову в профиль (зная, что профиль красив). Одною ногой он был уже в Дерпте и охотно распространялся в высоком стиле о профессорах и науках. Алина была грустна и задумчива. Пушкин над нею подтрунивал и говорил, что, как только уляжется пыль за отъезжающим, он сядет у ее ног и не встанет, пока...

Умолчание было нарочито глубокомысленным, и Анна, слушая издали, ловила себя на невольном волнении, а Левушка чуть ревновал даже самое это волнение Анны. Все было как и всегда.

Позже гуляли по парку: с Алиною Вульф, Левушка с быстрой Зизи, с Анною Пушкин. И тут только Анна поведала о полученном ею письме от двоюродной сестры своей, Керн Анны Петровны. Та изливала ей жалобы на ревнивца Родзянку, не показавшего Пушкина, когда он заезжал по дороге в Михайловское, и писала по этому поводу.

«...тысячу... тысячу нежностей, хотя вы никак их и не заслужили. Вот ни настолько!»

Пушкин был так далек в мыслях от Керн! Для него это было большою и яркою неожиданностью, но он скрыл это свое впечатление и отвечал вовсе небрежно:

— Так вот это какая Анна Петровна! Родзянко ее поминал, но не позволил о ней, помнится, брату даже и слова промолвить.

— И молодец. Я вам говорю, что вы этого вовсе не стоите.

— Я вообще грешник известный и попаду после смерти немедленно в ад. И рад был бы попасть, потому что в аду будет пропасть хорошеньких, — но только одно смущает меня: что вы-то, конечно, будете в райских садах. Спасите меня, больше я в ад не хочу!

Так он с нею по виду дурачился, и хоть понимала Анна, что он просто болтает, а все же сердце у ней защемило.

«Спасти тебя! О, как бы хотела! Ото всех отгородить своими руками... отогреть курчавую эту головушку!» И она нежно во тьме глядела на спутника и отдавала в полную его власть свою руку.

Но как бы отдернула, если бы знала...

Для Пушкина лет не существовало. Пять лет? Пустяки! Шел он меж сосен, в потемках, с милою девушкой, но видел, как наяву, не лес, не ее, а большую залу Олениных, залитую светом. При дворе траур, и танцев не было, играли в шарады и фанты. Как крупные рыбы в аквариуме, тяжело проплывали почтеннейший Иван Андреевич Крылов и просто почтенный Иван Матвеевич Муравьев-Апостол. Фант выпал Крылова, и его заставили прочитать одну из его басен. Посадили па стул посередине залы и столпились вокруг. Он обтер круглое свое лицо полной рукой с коротковатыми пальцами, огляделся неспешно, с тихою хитростью, немного прищурив зеленые глазки, покашлял и начал серьезно и внятно:

Осел был самых честных правил…

И тогда же молоденький Пушкин толкнул Алешу Оленина и шепнул ему с радостью, как от находки:

— Это он про моего дядюшку Василия Львовича. Прямо точь-в-точь!

Смешливый Оленин фыркнул на всю залу, так что все оглянулись, но Пушкин успел принять вид совершенно невинный, и про себя у него тотчас же возникла строка:

Мой дядя самых честных правил…

Он и не думал тогда, какая река потечет из этого малого шутливого родничка, где он приравнял дядю-поэта к ослу!

Ему было просто в тот вечер беспричинно весело и легко.

Он пришел к Олениным рано и застал еще маленькую десятилетнюю Анечку, которой наскоро и представил в углу веселого сбитенщика («Ой, сбитень горячий, пьют подьячие!» — «Сбитень-сбитенек, пьет щеголек!») — и будто бы сбитень весь убежал, а сбитенщик сам обварился. Ему запомнилась девочка, и даже сейчас, когда проносилось все это с такой быстротой, как если бы происходило почти что одновременно, он увидал веселую детскую рожицу и как брови ее поднимались от удивления все выше и выше и остановились только тогда, когда ползти уже было некуда...

Так было всегда: ни одна черта прошлого ничуть не стиралась — фраза иль стих, почему-нибудь зацепивший, выражение лиц (небезразличных), походка и голос, запахи, звуки — все чудесно в нем было утаено, в полной готовности вновь зацвести при первом касании памяти...

Но все это было не больше как окружение, фон, на котором внезапно возникла та самая юная генеральша, девятнадцатилетняя, сохранившая все черты молоденькой девушки... И это она писала о нем «тысячи нежностей», и это ее он мог увидеть у Родзянки-предателя...

В шарадах играла в тот вечер она роль Клеопатры и держала корзинку с цветами. Он не без озорства пошутил, что змеею, которая должна укусить ее в грудь, будет вон тот! И показал: двоюродный брат ее Саша Полторацкий, — так явно в нее был он влюблен! Керн осердилась, но и за ужином, сидя поблизости, он осыпал ее веселыми шутками, и это он ей говорил про ад и про рай, про хорошеньких, и что она будет в раю, а стало быть, и ему рая не миновать, — то самое, что повторял сейчас Анне.

Если бы та это знала, как бы отдернула руку и какая б обида пала на сердце! Но Анна не знала, а Пушкин непроизвольно все пожимал ее пальцы.

Все это было тогда за ужином весело, дерзко, легко. И лишь когда разъезжались и Полторацкий, усадив Керн в экипаж, сам сел с нею рядом, а Пушкин стоял на крыльце, провожая, и она коротко глянула на прощанье бархатными своими, грустно-прелестными глазами, — сердце тогда в нем глухо стукнуло — как и сейчас. Глаза эти были и взгляд — как у Бакуниной: первая его детская любовь... Лошади тронули, и как бы все поплыло вместе с ними... как и сейчас.

Пушкин медленно поднял к губам руку Анны и осторожно ее поцеловал.

Воспоминание это было так кратко, но и так полно! Он мигом очнулся и, не отнимая руки своей спутницы, взмахнул обеими, и своей и ее, в воздух — высоко.

— Вечер... хорош, — сказал он. — Но, кажется, все повернули домой. Надо и нам. — И замолчал.

Анна, счастливо затихшая, почувствовала, однако, в эту минуту что-то неладное, но так и не могла до конца разрешить охватившего ее волнения.

Понемногу опять все собрались у крыльца. Последним пришел отъезжавший студент, и несколько раньше Алина. Она необычно была возбуждена, а Вульф имел вид томный и вороватый, но очень довольный. Кажется, беглый совет ему Пушкина понят был им на его собственный лад.

Неугомонная Евпраксия хотела «в горелки», но стало темно. Тогда перешли на другое, спокойное: кидали платок па колени с начатым словом, которое поймавший должен был угадать и закончить. Но и в этой тихой игре произошел маленький глупый казус, имевший, однако, последствия.

Отчаявшись па сегодняшний день в Анне, Лев, по обычаю, возился с Евпраксией. Еще на прогулке он ей наболтал между кучею всяких других пустяков, будто в доме у них появилась какая-то необычайная икра, привезенная специально папаше, и он никому ее не дает, и подбивал Евпраксию за ужином сказать: «Ах, как мне хочется черной икры»

— А вы сами скажите! А вот и не скажете!

— Хотите пари? Если я выиграю, я вас поцелую при всех!

— Еще чего захотели... Мизинчик — пожалуй!

И когда началась игра с киданьем платка, Лев заявил, что он все-таки скажет запретное слово, хотя бы в игре. Ольга Сергеевна это услышала. Она оставалась с родителями: ей не было пары, да и гулять она была не большая охотница. Дома как раз был разговор, и решили икры не подавать. В качестве блюстительницы домашнего мира она вмешалась и тут:

— Пожалуйста, Лев, ты не выдумывай. Папа рассердится.

Но на Льва иногда что-то накатывало. Он уже выдумал трюк и заранее радовался. Сделав преувеличенно серьезный вид, он раздельно и громко провозгласил:

— Чер-ная и-кра.

И, оборвав, точно должно быть еще продолжение, кинул платок на колени Евпраксии.

Все громко захохотали, так это было неожиданно, а Сергей Львович, также принимавший участие в этой игре, почувствовав неприятный намек, недовольно сжал губы и сморщил свой узенький нос.

— Это что же такое? — спросил он. — Целая фраза. Как же кончать? Ольга Сергеевна, всегда очень тихая, громко, сердито сказала:

— Ты просто, Лев, глуп, и я запретила тебе над этим шутить. Пушкин почувствовал легкий скандальчик и невинно спросил:

— Над чем же над этим?

— Да над икрой! — досадливо и не подумав, пояснила сестра.

— Окончательно не понимаю, — уже вовсе сердито сказал Сергей Львович и встал.

Евпраксия, сидя с платком, томилась от смеха и махала руками:

— Не по закону! Неправда! Как тут кончать?

Тогда Левушка встал и спокойно все разъяснил:

— А очень просто, Зизи. Черная и кра-сная смородина! А вы не сумели докончить, и вы проиграли!

Эффект был большой, и сам Сергей Львович не мог не рассмеяться обычным своим тоненьким смехом.

— Глупо, но остроумно, — издали вымолвил он.

Ужинать гости не захотели и скоро уехали. Ольга ушла к себе, немного подварчивая. Братья остались одни на крыльце. Из комнат до них долетали отдельные фразы.

— Я не знаю, что делать, — говорил Сергей Львович, все более и более раздражаясь. — Это не Лев. Лев — просто ребенок. Я тебе говорю, что это все Александровы штучки. Это его наущенье, дурное влияние. Глупые шутки! При посторонних!

— Ну, Левушка просто сострил, он и сам это может, — вступилась Надежда Осиповна.

— Да, острота не плоха, — подтвердил Сергей Львович, — но в ней был и яд. А Лев не способен на яд. Ты понимаешь ли это: дело не в остроте, а в пропаганде!

— Какой?

— Глумленье над старшими. Непочтенье к родителям. Вот, вот к чему ведет афеизм!

Лев было, слушая, крякнул, но Александр был серьезен.

— Ты слышишь? — спросил он настороженно.

— А... болтовня! Стоит ли обращать внимание!

Но Сергей Львович не унимался:

— В собственном доме... собственные дети... Этот медленный яд афеизма! Ты знаешь, что Ольга перестала креститься перед едой? Ты не заметила этого?

— И я иногда забываю, — спокойно ответила Надежда Осиповна.

— Ты — это дело другое... Так вот. Дело совсем не в политике! Я никогда с ним не говорил о политике; вы знаете, что я не придаю значения политике поэтов, и мой упрек состоит в том, что он недостаточно уважает религию.

Лев почувствовал, что брат его вздрогнул.

— Что с тобой, Александр?

— Это цитата! Я получил письмо от Раевского. И там — слово в слово! Пусти меня... Нет, я должен сейчас же сказать... Он читал мои письма!

Дрожь охватила Пушкина, и в рассеянном свете, шедшем от окон, было явственно видно, как у него разгорались глаза. Лев, проклиная себя и свою остроту, едва его удержал.

— Я не могу здесь стоять. Пойдем тогда в лес. Меня это... душит! — И Пушкин рванул воротник. — Я только подозревал и вот... убедился.

Сейчас Александр мог бы ходить целую ночь; Лев был послабей. С новою силой возникло у Пушкина это стремленье — бежать! Взволнованный Лев обещал все предпринять в этом смысле, как только будет в столице. Он был рад одному: что домашний скандал все-таки не разыгрался и что они вместе строили какие-то планы, — это было отдушиной. Под конец они даже условились и о шифре, которым будут пользоваться в письмах: банкир — о посылке денег за границу, переписка — о доставке писем... Пушкин мечтал явиться к Чаадаеву: тот, выйдя в отставку, давненько уже пребывал за пределами отечества. Надо бы узнать его адрес.

Братья вернулись нескоро, в доме уже было темно. Но и оставшись один в своей комнате, Пушкин долго не мог успокоиться. Сон не приходил к нему, и он не смыкал глаз.

Что ж делать? Бежать? Но он отдавал себе ясный отчет в том, что бежать из России — дело нелегкое и, во всяком случае, нескорое. Но жить так изо дня в день?.. Невозможно! Отец оказался шпионом!

И снова в нем кровь загудела, как густая струна.

В комнате очень прохладно, но Пушкина вдруг затомила жара, духота. Он откинул сперва одеяло, потом простыню, встал и распахнул настежь окно. Ноги и голую грудь охватило дыхание ночи, и понемногу он стал успокаиваться. Да, там, на крыльце, он за себя не ручался, и хорошо, что брат его не пустил. Надо дать адрес для писем на Осипову... Ах, да скорей бы они уезжали!

И когда снова он лег и стал согреваться, мысли его перешли наконец на другое. Он подумал опять о давнем том вечере у Олениных, но уже не Керн была теперь в центре, а снова с особенным мальчишеским удовольствием вспомнил он про осла и про дядю. Это его освежило, и он принялся фантазировать. «Я добавлю еще примечание к первой строке: откуда заимствовал и что это дядя Онегина, а не мой! — чтобы читатель не спутал!»

И так, рикошетом, отвел-таки душу, если не прямо против отца, то все же поблизости. «Обязательно дам примечание!» И, думая, как его точно изобразить на бумаге, наконец-то уснул.

Дольше его не спала только Анна в Тригорском. Но мысли ее были другие...

По-своему тревожную ночь провел и Сергей Львович. Что это, боже мой, за наказание! Кажется, встретил он Александра так бескорыстно и радостно, но каким обернулось мучением возвращение блудного сына в лоно семьи...

Как это, собственно, вышло и с чего началось? Коляска и Рокотов; позже Пещуров...

Да, это было в самый тот день, когда Александр вернулся из Пскова, но заехал сначала к Прасковье Александровне, и без него, еще утром, прискакал верховой с письмом от Пещурова, где тот просил глубокоуважаемого соседа и милостивого государя Сергея Львовича пожаловать срочно к нему по весьма важному делу.

«Так... начинается... — тогда же подумал он и, вздохнув, стал облачаться во фрак. — Конечно, о сыне... об Александре...»

И теперь еще живо припоминал Сергей Львович, как всю дорогу он про себя непрерывно ворчал. Но ведь отчасти и правда имел же к тому он свои основания? Да, Алексей Никитич Пещуров, добрый сосед — это одно, и он всегда рад его повидать, но предводитель, вызывающий дворянина по делу, да еще срочно — это было уже вовсе другое! Пещуров ему, в конце концов, не начальство, хотя бы и предводитель! Да могли бы они посчитаться и по части чинов... Да и помоложе он был, — черт возьми! — этот Пещуров, едва ль не на добрый десяток... Мог бы приехать и сам! И поминутно тогда то руку прикладывал к сердцу, то ладонью поглаживал вдруг занемевший живот: все это были сигналы и спутники душевных волнений.

А было в дальнейшем все так.

Предводитель тотчас различил некоторую кислоту на лице прибывшего дворянина и принялся его обвораживать, не скупясь на лесть:

— Я никогда бы себе не позволил вас потревожить и приехал бы сам, но обстоятельства дела таковы, что требуют строгой конспиративности...

Речь у нас будет об Александре Сергеевиче, наследнике вашем, новоприбывшем в наши края. Прошу вас присесть!

Сам Алексей Никитич не сел. Он имел слабость думать, что стоя он сохраняет больше величия. Но величия не было — ни сидя, ни стоя. Ростом он мал, фигурою щупл и сильно сутуловат. Единственный дар его — журчание голоса и французская плавная речь. Он никогда не изъяснялся иначе, как по-французски (кроме, конечно, тех случаев, когда приходилось вступать в соприкосновение с хамами, то есть с мужиками и дворней).

— Я слушаю вас, Алексей Никитич. Но я просил бы вперед вас различать: Пушкина-сына и Пушкина-отца, — И Пушкин-отец энергично указательным пальцем провел черту наискось влево и черту наискось вправо.

Пещуров с улыбкой, обнажившей передний заячий зуб, склонился пред гостем: это стоило целой обольщающей фразы. И тотчас Сергею Львовичу стало заметно уютнее в кожаном кресле — низком, широком; он откинулся к спинке и вытянул ноги.

Пещуров помедлил, пока он усаживался, и затем продолжал, все прибавляя словесных тех чар, которыми обладал в изобилии:

— Так мало у нас образованных, истинно тонких людей, Сергей Львович! Ведь наши поместья суть раковины, назначение коих хранить одинокую такую жемчужину, перл. Наш век становится груб и не постигает истинных чувств. Сами извольте прикинуть: ведь было бы просто ужасно, если б какой-нибудь маловоспитанный полицейский чиновник вздумал соваться к вам в дом! Сколько могло бы возникнуть нелепостей, недоразумений, искажающих истину слухов и даже доносов, марающих честь! А между тем молодости свойственны и увлечения. Все это надо понять и отечески-нежной рукою... как женщины гладят батист...

Так Пещуров и сам — «как женщины гладят батист» — без особых трудов, мягко разгладил сомнения гостя о том, должен ли он принимать непосредственно участие в «опеке», как деликатно именовал любезный хозяин домашнюю слежку за Пушкиным-сыном.

Ведь истинный долг его как предводителя, почтённого лестным довернем дворянства, первее всего и заключается в том, чтобы нравственность на вверенной его попечению территории... да, процветала. И, как для злаков в полях, в лугах для цветов — холод и зной равно нестерпимы, так те же законы господствуют и в общежитии. Ласка, умелое слово, проникновение в корень вещей... («С вашим умом и с вашею проницательностью, совсем исключительными...») Но, дабы врачевать, надобно знать возбудителей данной болезни. Надо нащупать те, так сказать, плевелы и дурные влияния, под воздействием коих они произрастают и процветают. Есть, несомненно, друзья и в Одессе... Их надобно выявить. И вообще — на юге России, ибо юг беспокоен. Да и один только ли юг беспокоен?

— Однако же тут мы восходим, так сказать, и к вопросам высокой политики. Племянник мой, князь Горчаков, дипломат, как вы знаете, лицейский товарищ вашего сына, очень следит за отражением этих явлений в английской столице. О, Альбион все видит, все знает! Хотя бы взять нашу семеновскую историю в Петербурге, только недавно закончившуюся. Ведь всего лишь два года, как мой полк восстановлен в прежних правах.

В молодости Пещуров недолго служил в Семеновском полку, и хоть пришлось его быстро покинуть, и притом по обидному поводу — из-за «недостатков фигуры», все же

любил он припоминать «боевое военное время». Так и сейчас, произнося эти слова — «мой полк», — он даже тронул рукой то самое место, где на груди должен был быть маленький орден, почетный для воина, и попытался выпрямиться, отчего у него вдруг возникло и спереди подобие небольшого горба. Но тут не замедлил вступить со своей декламацией и сам Сергей Львович, и два французских ручья в псковской глуши зажурчали совместно, согласно.

А между тем подошло и время обеда, а у Пещурова были отличные вина... И оттого, возвращаясь домой и подводя итоги визита, был Сергей Львович в настроении очень приподнятом. Ему было приятно сознание, что еще и еще раз, и притом в обстоятельствах наитруднейших, он оказался на высоте. Весь щекотливый вопрос обоими ими был освещен светом высокой морали. Явственно черное вдруг просквозило приятною голубизной. Письма? Так что же особенного?.. Между своими?.. Необходимое дело было изъято из рук грубых чиновников и попадало в руки искусные и деликатные, в руки... отца: что может быть ближе! И будем же наконец справедливы: кто бы посмел и теперь утверждать, что он не любил своего старшего сына? Только любви этой надлежит быть воистину мудрой любовью.

Тут снова ему вспомнился Рокотов, и мысленно он с ним обошелся очень сурово. Провинциальный болтун! Коляску купить обещал и не купил. Александр ему даже писал — не явился. Ни сам не явился, ни брат. Неблагородство лежало в натуре у Рокотова. И этот отказ от общеполезного дела... Если бы не любезнейший Алексей Никитич Пещуров, который действительно умеет ценить тонких людей, все могло б обернуться истинно круто.

Так и раздражающее воспоминание о проплывших меж пальцами полутора тысячах, марая Ивана Матвеевича Рокотова, марало его до конца, марало во всем — и укрепляло тем самым собственные позиции Сергея Львовича.

Но все эти тонкости и хитросплетения мыслей, все это сыщицкое прекраснодушие, нужное для самопрививки, на практике было скоро забыто. Им на себя была принята некая роль, и роль эта мыслиласьдолгож Две маленькие страсти ее укрепляли: тяготенье к актерству и прирожденное неистребимое любопытство. Он все должен был знать, и чужой конверт притягивал его, подобно магниту. Кроме того, так отводилась как будто бы всякая непосредственная опасность и для себя персонально, и для прочих членов семьи, ни в чем не повинных! И, наконец — а может быть, это было и самое главное, — сам Александр непрерывно его раздражал...

Так и сегодня особенно он был раздражен, и никак не удавалось уснуть. К тому ж у него и вообще был деликатный желудок, а когда случалось так взволноваться, как нынче, то это просто становилось несчастием: поминутно приходилось соскакивать с постели и искать босыми ногами ночные туфли...

Да, будто бы все хорошо и обдумали, и согласились, как надо действовать, и даже пусть это обезопасит семью, но жить-то как вместе? Жить тяжело. И не тяжело, а нестерпимо. А Александра не переделать! Он не был почтителен со старым отцом и едва лишь терпим в отношениях с матерью. Он ни во что не входил, не возлагал на себя никаких семейных забот. Он жил неприлично сам по себе, и он отрывал Ольгу и Льва от родителей. А эта история с «черной икрой»!

Нет, надо Льва отсылать, и надо самим собираться... А Александр? Но что ж тут поделать!

И бедный отец даже под простыней, в темноте воздевал свои узкие ручки:

«Бог свидетель, я для него сделал все, что в пределах сил человеческих, и сама справедливость меня не осудит!»

Г л а в а ш е с т а я

НЕОСТЫВАЮЩАЯ ЛАВА

После проводов Вульфа Пушкин стал редко показываться даже за чайным столом. По утрам он писал у себя, потом удалялся в Тригорское. Эта пора бытия была ему тяжела, хотя вряд ли кто из окружавших его понимал это в полную меру. В Тригорском ему, как всегда, были рады. Там он немного помучивал Анну, вслух расхваливая Анну Петровну Керн и делая приписки в письмах к ней. Пушкин теперь рассказывал девушке и про свою встречу у Олениных, и о том, как блистательна была ее молодая кузина. В одном из писем Анны сбоку он приписал из Вордсворта: «Образ, прошедший перед нами, который мы видели и больше никогда не увидим». Но Анна не ревновала, в одном она твердо уверилась: те чарующие слова па прогулке об аде и рае, которые были сказаны ей, не были только словами; порукою в том был самый голос — негромкий, взволнованный. И она свято хранила их в памяти и то, как осторожно и бережно поцеловал ее руку… Возревновал зато, кажется, Вульф, который и к Анне Петровне был неравнодушен. Сестра писала ему, успокаивала.

Пушкина все это слегка забавляло. Но лишь на поверхности. Почти физически ощущал он давление, шедшее, впрочем, не от одного отца, а и от общего ощущения связанности, оторванности от мира; как никогда, чувствовал он свое одиночество. Почти вдогонку за Вульфом стихами писал и ему и Языкову — молодому поэту, также учившемуся в Дерпте, которого звал приехать на святки.

Вульфу писал по-мальчишески весело, отбросив тоску и, как всегда, крепкою фразой лепя и собирая, давая разом всю полноту их беспорядочной жизни:
Запируем уж, молчи! Чудо — жизнь анахорета! В Троегорском до ночи, А в Михайловском до света; Дни любви посвящены. Ночью царствуют стаканы; Мы же — то смертельно пьяны, То мертвецки влюблены.

Когда он прочел это вслух в Тригорском, ему рукоплескали, как будто все это уже было, и притом именно так. Если бы каждого спросить о их жизни, как они ее себе представляют, и каждый сказал бы всю правду, как все же неполно, серо и разорванно прозвучал бы рассказ! А теперь уж и им самим начинало казаться, когда повторяли волшебные строки, что иначе не скажешь: так и останется это, так и пребудет навеки.

Языков ему не был знаком, но, затомившись с родными, Пушкин хотел, как будет один, принимать у себя — анахорет — живых и свободных людей, с которыми можно бы так же широко и вольно распахнуть свою душу, как делал он это в послании. Что из того, что не знал он Языкова? Его досягало уже и обжигало дуновение быстрого пламени этого юноши-поэта: «Издревле сладостный союз // Поэтов меж собой связует!»— и Пушкин свой внутренний мир ему открывал с непостижимою прямотой:
Всегда гоним, теперь в изгнанье Влачу закованные дни.

И этих «закованных дней» здесь он, в Тригорском, никому не показал, запечатав в особый конверт послание к Языкову, доверив ему одному — незнакомцу, но брату поэту — горькие строки другой своей правды.

Он и ему, впрочем, писал о веселье, никак не желая сдаваться. Минуя уже теперь свое одинокое время, на святки он ждал к себе брата, который был еще здесь, но вот-вот должен был отъезжать. Ждал он и доброго Дельвига.

Дельвиг его очень смешил, но и трогал. В ответ на его крепкие жалобы друг утешал: «Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шел, то есть делай, что хочешь; но не сердись на меры людей, и без тебя довольно напуганных! Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бранил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали». «Журналы все будешь получать. Сестра, брат (родителей Дельвиг теперь уже не поминал), природа и чтение: с ними не умрешь со скуки. Я разве буду навозить ее». И передавал петербургское свое невеселье: «Квартальных некому бить. Мертво и холодно…», «…с появления Булгарина Литература наша совсем погибла. Подлец на подлеце подлеца погоняет», «Жуковский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии. Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте и, не шутя говорю, все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов — картинки».

Это письмо послано было с оказией; его привез к Осиповой повар Арсений, ездивший в столицу с двумя возами капусты, моркови и яблок; продал все хорошо и накупил для хозяев всякой всячины.

— Квартальных видал? — спросил его Пушкин.

— Так точно. Стоят на местах.

— И никто их не бьет?

Солидный Арсений не удивился вопросу ничуть и философски ответил, в тон Дельвигу:

— А видно что, барин, и некому бить.

Пушкин даже не засмеялся.

У него в это время шла сложная, острая жизнь. И если с отцом изо дня в день назревала пока еще скрытая ссора, то столкновения с миром шли и другие. Лава не вовсе остыла, и жаркие недра время от времени давали толчки. «Разговор книгопродавца с поэтом» развернулся целым сражением с широкою линией огня, и если рукопись эту он собирался «продать» как вступление к первой песне «Онегина», то «вдохновение» свое он подчинил только тактике боя. Он рушил кумиры и предрассудки один за другим и сражался не столько с «книгопродавцем», которому вкладывал и здравые мысли, сколько с самою жизнью — как она складывалась; впрочем, было это отчасти борьбою и с собою самим: с иллюзией славы и даже любви.

Слава не трогала сердца. Но он без конца черкал и правил, кусая перо, вставая и глядя в окно, а взор застилался видениями…

Он писал при свече, забыв и ночь и людей. За ним на стене лежала, горбатясь, черная малоподвижная тень, и тень от пера быстро скользила по огромной тетради, вывезенной им из Кишинева после разгрома «ложи Овидия»: он ободрал с переплетов масонские знаки и взял три тетради себе. Имя Овидия, тоже поэта-изгнанника, так же бродившего в ссылке по берегам Черного моря, так было близко ему! И он суеверно эти тетради любил, хотя и была в них бумага очень плоха. Но что же, однако? Как по-другому ложились слова, когда он теперь писал не для женщины и не покорствуя ветру любви, а о женщине и о любви. Горечь стояла в груди, и горечь, казалось, капала с огрызка пера.

Но собственная тень за спиной, горбатясь, его вопрошала: ужели же нет исключений?

И тут сливались стихи с самой жизнью. Море, Одесса и грот… С размаху кидал на бумагу горький вопрос: «Что жизнь? Одна ли, две ли ночи?» — и обрывал: и для нее этот вопль покажется диким лепетаньем безумца; так решено судьбою…

Внезапно раздался скрип двери и шарканье туфель; это бессонница мучит отца. Каждую ночь он встает и бродит по дому… И Пушкин захлопнул тетрадь.

От Воронцовой все не было писем. Раевский стоял темной загадкой. Единственным окошечком в мир (в Одессу) была и осталась Вера Федоровна Вяземская. Из деловой, полученной Пушкиным, записки от мужа ее, Петра Андреевича, он знал теперь, что она уже в Москве. В ответе ему об Елизавете Ксаверьевне Пушкин совсем умолчал и послал аттестацию самого только графа: «Полу-герой, полу-невежда…»

И все-таки по-настоящему душу отвел лишь в письме к самой Вере Федоровне: «Прекрасная и милая княгиня Вера, прелестный и великодушный друг!»

Это было ответом на то самое письмо, которое он разорвал на берегу перед отцом. Он и ей приносил свои горькие жалобы — далекому другу, который поймет… Но прежде всего выражал свое умиление и признательность, хотя тут же отчасти и мягко журил, совсем как Онегин Татьяну. Впрочем, он не щадил и себя: «Вашей нежной дружбы было бы достаточно для всякой души, менее эгоистической, чем моя…» И даже послал ей одну из этих ответных онегинских строф, только как раз и написанных, — строфу, «которою я вам обязан». Не без легкого лукавства он предлагал показать ее «князю Петру», зная наверное, что она не покажет…

Он ей писал и о «бешенстве скуки, которая снедает мое глупое существование», и, вспоминая юг, говорил: «Все, что напоминает мне море, наводит на меня грусть… думаю, что хорошее небо заставило бы меня плакать от ярости, но слава богу: небо у нас сивое, а луна точная репка», и обрушивался кстати на бедных тригорских девиц (отчасти чтобы доставить ей это невинное удовольствие). А в заключение самое главное — горячая просьба: «Ради бога, хоть одно слово об Одессе…»

Все было в этом: Одесса молчала, и напрасно чертил он в тетрадях милые профили… Та самая луна — «точная репка» — всходила, томя, за сосновою рощею. Эти стихи — посылать ли? И где была она? «Где та была, которой очи, как небо, улыбались мне?..» Из письма Раевского он знал, что она в Александрии, по теперь, уж верно, была снова у моря…

Вот время: по горе теперь идет она К брегам, потопленным шумящими волнами; Там, под заветными скалами, Теперь она сидит, печальна и одна… Одна… Никто пред ней не плачет, не тоскует; Никто ее колен в забвенье не целует; Одна… Ничьим устам она не предает Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.

Пушкин даже бумаге не доверял всех этих видений. Он писал и густо вымарывал целые строки. Но чувство нельзя было вычеркнуть из груди, оно заменяло собою действительность. О, если так, он спокоен: но если…

В этом «если» он уже ссорился и с самой Елизаветой Ксаверьевной и, думая о Раевском, просто немел от горечи подозрений и ревности. Слава, любовь… но, быть может, труднее всего было сражаться именно с дружбой!

Как с Николаем Раевским Пушкину было легко, так от Александра всегда шла какая-то напряженная, властная тяжесть. Пушкин его очень любил и ставил высоко. Еще после кавказской их встречи, в двадцатом году, он предрекал, что Александр Николаевич «будет более нежели известен», а позже считал его за человека «которому предназначено, может быть, управлять ходом весьма важных событий». И в Каменке, среди многих заметных людей, он оставался своеобычным, ни с кем не сравнимым, изображая человека всем недовольного и все презирающего.

Его улыбка, чудный взгляд, Его язвительные речи Вливали в душу хладный яд.

Когда, наклонив голову набок и скрестив на впалой груди тонкие руки, он пристально-едко глядел в упор на собеседника, тому становилось не по себе: подлинно «демон»! Но он же и друг… до самого последнего времени, до зародившихся наконец подозрений. Подозрения эти были мучительны. Пушкин уже раз обмолвился в письме к Казначееву: «Мне

вообще не совсем ясно, что такое мои друзья», и теперь повторял это в «Онегине»: «Враги его, друзья его (что, может быть, одно и то же)…»

У Пушкина память вообще была изумительная, и теперь, когда с новою силою возникли в нем воспоминания последних одесских дней, опять он почти услышал медово-скрипучий голос своего сослуживца и товарища по Арзамасу Филиппа Филипповича Вигеля, который сравнивал его с Отелло, а Александра Раевского — с Яго…

Пушкин тогда пропустил предостережение это мимо ушей. Теперь же оно не выходило из головы. Он долго раздумывал над письмом Александра Раевского, и ощутимая фальшь шла от этих как бы нарисованных строк. В особенности было ему неприятно все, что касалось в письме Воронцовой. Оба они были вместе в деревне… Одна эта мысль отзывалась в нем дрожью.

Раевский и Воронцова состояли в родстве: старая графиня Браницкая, мать Елизаветы Ксаверьевны, приходилась ему двоюродной бабкой, но отношения их между собой всегда были сложны и отнюдь не исчерпывались обычною родственной короткостью.

Еще на Кавказе поведал Александр Николаевич тезке-поэту свой ранний деревенский роман. По рассказу его выходило, что начальное увлечение было с ее стороны. В девятнадцатом году Александр, двадцати четырех лет от роду, уже был в чине полковника и окружен ореолом героя — участника Отечественной войны. При блестящем уме и ярком его своеобразии он не мог не поразить воображение деревенской красавицы, томившейся в своем одиночестве. Элиз была несколько старше его и сама объяснилась в любви… Будто бы так. Это было письмо по-французски, напоминавшее стилем Руссо. Молодой человек прочитал ей нотацию… Но когда, в двадцатом году, опять они встретились и она была женою уже блистательного Воронцова, тут только Раевский почувствовал, как он сам безнадежно влюблен…

Бештау и Машук слушали этот рассказ. Дальняя горная цепь блистала своими вершинами, похожими на странные облака. Но деревенская жизнь этих незнакомых Пушкину южных магнатов, среди которых возрастала Элиз непроизвольно, легко вставала знакомыми картинами простодушных северных усадеб; неожиданный образ пленительной девушки, открыто поведавшей чувства в письме потряс его сердце… Это было так ни на что не похоже в его собственной жизни! Такое доверие и чистота пленили его как идеал. Он в разговоре том был почти нем, но как тогда же зароились мечты!..

Широкий роман постепенно с тех пор все развивался в творческом его воображении, непрестанно меняя свои очертания, но в основном лишь углубляясь. И то, что он лично тогда не знал героини романа Раевского (он видел ее только раз — в Петербурге, зимою двадцатого года, в театре, воздушную, проплывшую, как туманное облако), — это и давало простор пробужденной фантазии. Слухи о том, что в Одессу прибудет граф Воронцов, задолго предшествовали его появлению. Зерно прорастало, и Пушкин в Одессе девятого мая двадцать третьего года начал «Онегина». Образ Раевского порою сливался с образом самого автора; а то возникал и Чаадаев — тоже Онегин. «Первая глава представляет нечто цельное, — писал он теперь в посвящении «Онегина» брату Льву. — Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года». И он говорил в этой первой главе о своем личном знакомстве с героем романа:

Условий света свергнув бремя, Как он, отстав от суеты, С ним подружился я в то время. Мне нравились его черты, Мечтам невольная преданность, Неподражательная странность И резкий, охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм; Страстей игру мы знали оба; Томила жизнь обоих нас; В обоих сердца жар угас; Обоих ожидала злоба Слепой фортуны и людей На самом утре наших дней.

Сперва Онегина язык Меня смущал; но я привык К его язвительному спору, И к шутке, с желчью пополам, И к злости мрачных эпиграмм.

В Одессе Раевский внезапно возник перед Пушкиным, как «неприглашенное привидение». Пушкин читал ему первую главу и наедине и при друзьях; тогда, поглядывая друг на друга, как «Цицероновы авгуры», они посмеивались тишком.

Это ль не друг? Это ль не спутник труда, задуманного на долгие годы? И что же прочнее тех уз, когда не только что сочетаются судьбы, но наполняют и самое творчество, то есть когда эти узы гнездятся в самых сокрытых импульсах бытия?

А между тем как бы шла навстречу волна, от которой нельзя уклониться, как нельзя уклониться от восставших в самом себе бурь. И ежели поведение определяется в жизни поступком или уклонением от поступка, то здесь дело суровее: от себя никуда не уйдешь. Да и поступки имеют оттенки, они многолики, даже порою лукавы, они подлежат толкованиям, тут же таких толкований нет. И как же ответственно: не ошибиться!

Если б Раевский не был особенным другом, хватило бы для него и эпиграммы. Но тут было не так: тут уж коли выкорчевывать, то самые глубокие корни! И не так-то скоро могло возрасти над этою ямой новое дерево дружбы… Пушкину самые мысли об этом были мучительны. Гуляя в лесу, без дороги, он вскидывал вверх свою тяжелую палицу и крепким ударом, один за другим, отбивал сухие, в лишайниках сучья. Он возвращался с прогулки домой хмурый, суровый. Случалось, что за столом из-за него водворялось молчание.

И Раевскому он так и не послал ни письма, ни стихов о «коварности», напоенных последнею горечью. Речи загадочного друга его были когда-то «язвительны», как «язвителен» был в споре сам Онегин; Пушкин так же теперь ему отвечал — «язвительным молчанием»… И все ж для себя он только резко ставил вопрос: если все подозрения эти, сопутствующие жизни его, были одним лишь «тяжким сном», — «он в прах готов упасть, чтоб вымолить у друга примиренье». Но если не так,—

Но если сам презренной клеветы Ты про него невидимым был эхом; Но если цепь ему накинул ты И сонного врагу предал со смехом, И он прочел в немой душе твоей Все тайное своим печальным взором,— Тогда ступай, но трать пустых речей — Ты осужден последним приговором.

Но что раздражало его бесспорно и нестерпимо — это строки в письме, где Раевский писал о Воронцовой, называя ее, как в романе, «Татьяной»: «Теперь буду я говорить о Татьяне. Она приняла живейшее участие в беде, вас постигшей; она поручила мне это вам передать, и по ее желанию я вам пишу об этом. Нежная и добрая душа ее увидела во всем происшедшем только несправедливость, жертвой которой вы сделались; она это выразила мне со всею чувствительностью и грацией, как настоящая Татьяна».

Пушкин негодовал почти до неистовства. Слышать лишь отголосок подлинных слов, которых так жаждал, и передаваемых… кем же? Ему оскорбительно было даже помыслить, что они между собою говорили о нем, называли его имя… И этот условный тон, эти строки, словно покрытые лаком, когда у него самого, как читал, — широко открытая рана на сердце! Раевский в письме точно оглаживал словами красавицу и снисходил к своему адресату, желая его порадовать и осчастливить. Но никаким лаком не мог он прикрыть ощущение своего превосходства и благополучия: все это явственно проступало меж строк.

Пушкин делал усилия, чтобы не скомкать письмо и не запустить этим комком бумаги в стену, в окно…

Немного опомнившись, он начинал соображать, что иначе и быть не могло. Татьяна в романе и Воронцова?.. Когда он увидел ее в Одессе, она, конечно, была уже не той деревенскою милой и робкою девушкой, какая ему невольно пригрезилась. Но героиня

романа создавалась в нем и вырастала отнюдь не из образа отдельной какой-нибудь женщины, в жизни его игравшей ту или иную роль. Он видел ее и ощущал, создавая в себе, однако ж, простой и реальной, живой, ей присваивал он и отдавал все то очарование женской души, которым порою и в жизни веяло неизъяснимо… Иногда он отталкивался и от отрицательных черт: нет, Татьяна моя не такова!

И, конечно, сама Воронцова, в ту кавказскую южную ночь, под шепот Подкумка давшая первый толчок творческому его воображению, никак не была этой Таней Лариной, но все же была от нее и неотделима. Тайные чары этого имени, этого образа шли от нее, и голова в ее близости кружилась так сладко, как если бы именно сон воплощался в действительность. Кружилась она иногда и теперь, когда все уже было потеряно…

Она не Татьяна, но, конечно, и не такова, какою вставала из строчек Раевского. Он начинал понимать, что иначе, как так — вежливо-светски, она и не могла отозваться о нем в беседе с Раевским, и от нее шел этот сдержанный тон, порожденный не им и адресованный отнюдь не ему, а ее собеседнику. Как и сам Пушкин, таила она свое сердце и никому бы и ни за что не приоткрыла хотя б уголок. И понемногу, но все возрастая, горячая нежность возникала в груди, — ведь она… может быть… будущая мать его ребенка… Как боялся он и готов был принять все, чему быть надлежит…

Так Пушкин, теснимый родными, незримо томимый узеньким кругом в Тригорском, один на один с собою самим и неотрывными живыми призраками прошлого, вел эти горячие бои, нанося удары направо и налево и расчищая вокруг себя пространство.

Но на эти же дни пришлось и еще одно испытание совершенно особого свойства; Пушкина оно потрясло до глубины.

Позднее утро туманно глядело в окно. Против обыкновения, Пушкин не сразу пришел в себя. Рама была старовата и неплотно притворена; он потер себе шею: или надуло, или неловко прислал. Потом приподнялся на локте: на полу обрывки бумаги, на столе раскрыта тетрадь, и перо воткнуто прямо в чернильницу; грязный подсвечник: позеленевшая медь, наплывы свечи. Думал о чем-то, когда, засыпая, дунул на свечку, и что-то приснилось, но не вспоминается: верно, неважное. Боже, когда же уедут! Лев уже поговаривал об отъезде. Пушкину было и жаль, но обычная мысль, что без брата ненадолго задержатся и родители, давала успокоение. Может быть, Ольга останется? Она говорила, что ей не хотелось бы оставлять его одного.

Да нет, что же тут девушке делать в сугробах? И, помимо всего, ей пора замуж, пусть ищет себе женихов.

Кажется, все-таки вспомнил! Вчера получили известие о тяжелой болезни тетушки Анны Львовны, наверное, умрет. Но о чем же тут думать? Тут думать не о чем. Нет, верно, что-то другое…

И все же известие это, которое вовсе оставило его равнодушным, повлияло па распорядок дня: дед Ганнибал тоже ведь скоро мог умереть! Наскоро выпил он чаю и, никому не сказавшись, вышел во двор; он не пошел ни на конюшню, ни в парк. Он обогнул дом и мимо ледника спустился через кусты прямо к озеру. Кусты почти были голы, серые воды с белою оторочкой у берегов рябили под ветром. Берега слегка заболочены, их не раз уже сковывал утренник, а вот несколько дней как опять распустило; туман разошелся, но облака низко ходили над озером. Дорога, однако, была суха.

Пушкин пошел направо, по берегу, миновал камыши и обрывы песка. Кое-где корни берез, мокрые, черные, обнажались клубками, налезая один на другой, как переплетенные пальцы. Эти подземные рукопожатия заставили его раза два остановиться: это было как суровое, темное время, как сплетение событий, как предки… Он вздумал пойти к одинокому

старику, которому доводился внучатным племянником, — Петру Абрамовичу Ганнибалу. Старик никого не принимал, и его все забыли. Самое имя его дома почти не произносилось. Ему уже было за восемьдесят, и как он там жил в своей пустынной норе — никому было не ведомо. Пушкина нынче, в смятении духа, к нему потянуло. Крепкие корни привязывали его к Ганнибалам, которые, почти уже все, были во тьме, в недрах земли. Порою казалось ему, что и прадед, знаменитый арап Ибрагим, питомец Петра, скрывался от дворцовых гроз здесь же, в Михайловском.

Под тенью липовых аллеи Он думал в охлажденны леты О дальней Африке своей,—

так недавно он пел и в посланье к Языкову; так думал теперь.

Он совсем не спешил. Резиденция старика Ганнибала, Петровск, была не так далеко, можно дойти и за час, но раздумчиво он не торопился, присаживаясь порою на какой-нибудь пень, густо поросший тугим древесным грибом: кровля над кровлей, как сакли в горах. Тут были сосны: часть их — оранжевые, а где посырей и погуще — седые, покрытые светлым лишайником. По оврагам шуршали увядшие веера папоротника: сухая экзотика, память о древних веках. Редкий узорчатый лист падал с дубов — запоздалый покойник — на изумрудную мочажину мха. Хвоя и мох. Но в глухих уголках кое-где зеленела еще и брусника набрякшей осеннею зеленью. Он наклонился, чтобы сорвать красную плотную ягоду, и увидел па верхушке крошечный белый холодный цветок. Это было так неожиданно, что он не тронул и ягоды. Раздумье все больше одолевало его. Он поводил медленно шеей и разминал занемевшую мышцу.

Между стихами Пушкин писал и заметки различного свойства. Теперь они отличались от коротеньких записей, которые делали на юге, особенно в Кишиневе, и которые остерегался тогда Левушке посылать по почте… Теперь это были записки о собственной жизни; в этом потребность приходит с годами: у него много раньше, чем у других. Он зачерчивал лица, события, записывал отдельные мысли, рассказы разных людей. Это было скорее всего — материал.

За тем шел и к деду: о предках хотелось бы знать. Он уже был у него — после Лицея; с Ольгой ходили вдвоем. Надо бы и это припомнить и записать: очень было смешно! Старик и тогда уже путал людей. О Вениамине Петровиче, сыне, говорил как о чужом молодом офицере; между тем Вениамин этот был уже достаточно стар. Он был заседателем от дворянства в палате гражданского суда; Пушкин во Пскове его навестил: ко всем Ганнибалам питал он некую слабость. На дворе, когда Пушкин добрался в усадьбу, было пусто, безлюдно. На всем лежала печать запустения. Родной его дед, отец Надежды Осиповны, Осип Абрамович пристрастен был к женскому полу, он любил наготу, полноту, белизну; таким же сошел и в могилу. Понимал в этом деле и Петр, но главною страстью его все ж были водки, наливки: игра их на свет, их вкус, аромат и, в результате всего, густой и певучий туман в голове. Михаила Калашников, лукавый родитель сероглазой хорошенькой Оленьки, в молодые годы свои состоял при неукротимом и мрачном генерал-артиллеристе, и оба самолично трудились немало над перегонкой спиртов, причем Петр Абрамович испытывал разные нововведения в аппаратуре. При одном таком опыте нагреваемый спирт воспламенился, и стекло, как вода, брызнуло в стороны; на шее Михаилы изъязвления эти видны и поныне. Вдобавок досталось еще и от барина: Михаила был высечен.

Прочных от порки следов не остается, — вспоминал он теперь. — Наша кожа привычная к порке. Но бывало, что выносили и на полотне.

Петр Абрамович не всегда жил затворником. Он был старшим в роде и нес государеву службу. Был в прошлом, восемнадцатом веке и псковским губернским предводителем

дворянства. Однако же на второе трехлетие его уже не избрали, да и по службе долго тянулась история с недохваткой артиллерийских снарядов; из-под суда его вызволил только родной брат, Ганнибал Иван Абрамович.

Петр был жесток, но и сентиментален. Он любил музыку, пение. Тот же Михаила Калашников, обученный этому делу старым слугой барыни-немки, по вечерам упражнялся на гуслях, наигрывая старику древние русские песни, то заунывные, то плясовые. Он сидел на крыльце в плетеном ивовом кресле с мягкой подушкою па сиденье; полукругом, как подданные, располагалась молчаливая дворня. Порой подступали и слезы. Они омывали изношенные желтые веки и капали прямо ему на колени, на распяленные темные кисти жилистых рук, но он продолжал сидеть изваянием, с видимой грозностью выпрямив свою хилую старческую спину.

Старик никогда не был словоохотлив. В то посещение, в семнадцатом году, начал он с водки. Выпил и сам, велел поднести и своему молодому гостю, и только после обеда язык развязался, и старик погрузился в живые предания. Правда, порою он путался и вел свой рассказ, как если бы все это было не с покойным отцом его, а с ним самим.

— Нас было братьев всех девятнадцать, из коих меньшой — это я. Их водили к отцу: руки назад и — веревкой! Я один бегал свободный и плавал под фонтанами на дворе. Мы были царями.

О похищении мальчика турками он передавал очень коротко и уж не в первом лице:

— Схватили его шесть человек. Потащили. Пальцы ломали. И тут, откинувшись, подымал он с колен свои старческие узловатые руки и, как щитом, заслонял ими глаза, будто вспоминая:

— И вытащили у него изо рта платок уже на фелуке. И я увидел: кинулась в воду и поплыла, как розовая птица фламинго, верная сестра моя, Лагань именуемая. И издали плыла за кораблем, куда меня посадили, три полных часа, и утонула. Так утонула Лагань, незабвенная тетка моя, абиссинская девушка.

Ольга тогда прижалась испуганно к брату, а Петр Абрамович перевел свои медленные глаза и на нее.

— Это Лагань, — сказал он, как бы узнав наконец, и замолк.

Воспоминания эти и эти рассказы — и самого Петра Абрамовича, и о нем — живою толпою теснились теперь в голове Пушкина. А между тем безмолвие на дворе продолжалось. Он было присел на отсыревшую лавочку, соображая, как ему быть. Неверный луч солнца пал на дубы. «Нет, еще жив», — суеверно подумалось Пушкину, и он вступил на террасу. Штукатурка осыпалась, пакля торчала меж бревен. Он потянул дверь, она подалась…

В комнате было, однако, тепло. Убранство старинное: диваны и ломберный стол, ковры по стенам и оружие.

Ни родных и ни сверстников я не имею, — услышал он вдруг старческий голос, глухой и простуженный, по все еще достаточно крепкий.

Пушкин, не отвечая, тотчас обернулся па голос и увидел в углу своего деда.

Старик был похож на пергамент. Темные губы были, однако же, сжаты крепко, упрямо. Изборожденный лоб, как пустынный откос, ниспадал на два плоскогорья щек, таких же изрытых морщинами и шероховатых, как от ветра, зноя и времени выветрившаяся горная порода на высотах. Только нос заострился, и крылья его были непомерно крутыми. Глаза было, кажется, трудно открыть; веки из желтого воска легонько подрагивали, как у немощной птицы. В руках была палка, сжатая меж переплетенных пальцев, но на столе лежал лист, наполовину исписанный, и из песочницы торчало перо. К удивлению Пушкина, не было ни наливок, ни водок.

Братья, сестры, зятья волею божьею все в роде и чада помре; остался я один; я и старший в роде Ганнибалов, — И старик замолчал. Пушкин сказал:

— У вас есть сын Вениамин Петрович. Он прислал вам поклон.

Петр Абрамович сделал усилие и приподнял непослушливые веки; блеснули глаза, однако же, не без любопытства.

— Не узнаю, — промолвил он глухо. — Мой сын был молодой офицер. Это не он.

Пушкин тогда подошел к нему ближе:

— Я Пушкин.

Старик откинулся к спинке и долго разглядывал гостя, потом он махнул одним указательным пальцем, не отрывая кисти от палки, точно кивнул головой, и еще сделал движение, как бы привставая, и очень отчетливо произнес приговор:

— Пушкины — дрянь! Ты — Ганнибал!— И повел глазами на кресло. — Садись.

Пушкин тотчас присел. Он ничуть не обиделся, но разговаривать с дедом было делом нелегким. Одно хорошо: он не удивлялся молчанию и некоторые вопросы сам оставлял без ответа либо просто безмолвствовал, а не то говорил что-либо свое. Так, он внезапно сказал:

— Записки пишу, — и поглядел в глаза Пушкину, — И не могу. Руки не слушаются. И… думаю — флейтой, а выходит — как барабан. Возьми себе.

Лицо старика изменилось. Странная мягкость, печаль, столь неожиданные, почти неуместные, изобразились на нем. Это длилось недолго, но Пушкин был истинно тронут: как и он, писал его дед записки свои; и подарил. Он взял лист и спрятал к себе.

— Я и зашел к вам за тем, — сказал он. — Послушать про старину.

— Про старину все записано, другой манускрипт — по-немецки: о роде и княжестве. Я отыщу и другой раз отдам. Но перед смертью.

И он прищурил глаза.

Наступило молчание. Пушкин не знал, что сказать…

— А тут… о себе? — вымолвил он наконец.

Старый арап помолчал, потом кивнул утвердительно и уже не поднимал головы:

— А тут я хотел о себе. Как я родился — черный ребенок, а мать была белая…

Пушкин на минуту перестал слышать голос. Он вспомнил теперь то, что никак ему не удавалось припомнить, проснувшись… и как мог забыть!

Он думал о смерти и о рождении и дунул на свечку, а ночью приснилось, что у него родился ребенок. Элиз лежала в постели на белой подушке, и кружева… и у ног ее ребенок. Она смотрела на дочь не улыбаясь, прелестная, строгая. Сам Пушкин стоял в великом смущении, он хотел отвести глаза в сторону и поглядеть хоть в окно для облегчения, но шея не слушалась. А глядеть далее на эту строгую женщину и младенца на простынях было ему не под силу. Однако же он сделал усилие и пробудился. Половина головы была горяча, другая холодная; прохлада шла от окна. Он повернулся на другой бок и крепко заспал свой сои. И все же выходило, что утром не одна Анна Львовна, которая должна была умереть, но, видно, и этот младенец, который может родиться, повлекли его в одинокую нору Ганнибала.

Дед между тем кончил свое, он ослабел и снова осунулся, да и гостя его уже потянуло на воздух.

— Там, в шкафу… — прошептал еще Ганнибал. — И там… два бокала. Но Пушкин не слышал. Вышел он тихо, как и вошел.

Погода в обратном пути переменилась. Порывами дул северный ветер. И всякий раз, как он налетал, порыву сопутствовал печальный шум поредевших колеблемых крон.

Пушкин на шум этот не раз поднимал голову, и ему было грустно следить косой и прерывистый дождь осенней листвы, обреченно летевшей па землю.

«Сон в руку»: Пушкин был суеверен. Не в этот же именно день, но все же пришло наконец и долгожданное письмо от Элиз. Он уходил с книгою в лес. Это был старый Коран, взятый у Осиповой; свой был забыт при поспешном отъезде в Одессе. Это, конечно, Бахчисарай в нем разбудил интерес к магометанскому миру. Горячая, по-своему мудрая книга в нем находила живой отголосок. Знойные видения и пламенный бред человека из аравийских пустынь и песков не были чужды ему, ответная русская речь готова была прозвучать на жаркое это дыхание рока.

Недалеко от дома, поправей от аллеи, когда-то давно с неизвестною целью вырыта была на склоне бугра небольшая пещера. Еще в первый приезд свой в Михайловское Пушкин нашел там лавку и стол. Не найдя их теперь, он все же распорядился, и верный Никита восстановил старину. Тут кругом было тихо, разве что изредка хрустнет под ногой тонкая узловатая веточка березы или, кружась, упадет дубовый листок. Убежище Пушкина знали, и уж никто туда не заходил.

На сей раз, однако, легкие шаги неподалеку заставили его насторожиться. Он отложил книгу, прислушался. Кто-то идет. День был солнечный, тихий, один из последних теплых деньков. Ольга была в белом платье, но оренбургский платок падал почти до земли, развеваясь, как крылья: она торопилась и, белая вся, казалось, скользила по воздуху.

Пушкин глядел со странной улыбкой: так, может быть, ангел нисходил к Магомету. Никак он не понимал ее появления.

— Ольга, ты что?

— Погляди. Ведь это же твой «талисман»…— Она протянула ему тяжелый конверт с сургучной печатью. — Лев говорит, что точь-в-точь! — Она была сильно взволнована. — Почту сегодня я принимала…

Старый Коран выпал из рук, когда он принял письмо. Да, у нее был точно такой же, как и ему подарила, таинственный перстень с загадочной еврейскою надписью.

— Я не буду мешать. Я не буду мешать… — быстро пролепетала сестра и так же неслышно, легко удалилась.

Он не удерживал, но, медля сломать сургуч, продолжал глядеть ей вслед, пока она окончательно не отлетела. Это была минута особенная, надолго запомнившаяся. Как бы живая птица была в его сжатой руке — это письмо.

Письмо было коротко, но он проходил в этот раз по лесу до самых сумерек, забыв о течении дня. Тысячи чувств волновали его. Жива для него, написала! Могла бы она и не написать… об этом, но вот написала. Это их связывало крепчайшею связью. Он останавливался и закрывал глаза. Нет, если будет ребенок и о том сообщают отцу, это уже не просто возлюбленная, — это супруга, жена…

И он снова ходил, изредка пожимая плечами, словно твердил и твердил, убеждая кого-то… судьбу, — убеждая ее в невозможном, строя самые горячие планы…

А когда пришла ночь и он заперся в своей комнате, тут ни ходить он не мог, ни работать. Горечь его настигала при малейшем движении мысли, горечь косила его, и силы порой покидали.

Слаб и робок человек, Слеп умом — и все тревожит,—

пел в нем Коран.

Но нет, что другое, а умом он не слеп. Он теперь понимал: невозможное есть невозможное, и Элиз — жена Воронцова, и дочь его (он был уверен, что дочь) — дочь Воронцова… Нелепость, но так!

Он наконец попытался уснуть. Но сон бежал глаз. Петушиные крики были ему как часы; глубокая ночь. На минуту, случалось, сон изнеможения одолевал его, и пролетали

разнообразные видения: воды и дерева, и шум, и тень. Но лишь только она появлялась, как снова возвращался к действительности.

Как-то однажды он подарил старшей девочке Елизаветы Ксаверьевны трость свою с собачьей головкой и написал ей стихи. Раевский в письме своем вспоминал и об этом, прося и рисунка, когда-то обещанного девочке. Какая-то будет у нее малютка сестра… Какая? Он вспомнил свой сон, он вспомнил рассказ Ганнибала, он живо представил себе, как это будет и как всем станет все ясно. Еще если бы сам он был там, он принял бы на себя полный ответ, но что она скажет одна перед разгневанным мужем?

Скандала, конечно, не будет. Все будет покрыто жестоким великосветским лаком, и будут воспитывать маленькую графиню Воронцову, которая не будет и подозревать, что ее настоящий отец… Больше того, она возрастет и, конечно, узнает его как поэта. Какими чертами опишут ей незнакомого ее отца?

Волнение Пушкина все возрастало, и, чтобы дать ему выход, он встал и присел к столу. Несвязные, но напряженные строки выливались из-под его пера, в них повторялись одни и те же слова, настойчиво стучавшие в горячем мозгу. «Дитя, я не скажу причины» — «Я не скажу тебе причины» — «причины», и снова: «Я не скажу тебе причины» «Ты равнодушно обо мне» — «Клевета — опишет» — «Враги мои — черты мои — тебе» — «Мой тайный клеветник» — «И клевета неверно — чертами неверн. образ мой опишет».

Да, эти тайные причины незыблемы. Он даже не смеет ее благословить как отец:

Дитя, не смею над тобой Произносить благословенья…

И нельзя рассказать даже и самой причины, почему он не смеет это сделать, оставляя на полную волю все клевете и врагам… Что же тогда остается себе? Только разлука навеки. «Прощай, о милое дитя!»

Это были уже не стихи, это был как бы крик в далекое будущее.

Он ей ответит, но и письмо его будет, конечно, уничтожено ею, как и она просит его уничтожить это признание.

Ночь. И давно ли он так писал «Прозерпину»? А это, конечно, никак не стихи. Это как извержение лавы из непотухшего кратера. И когда что-то стало наконец выходить более внятное, это отнюдь не было тем, что требовало своего воплощения, и Пушкин далеко отбросил перо.

Но он сидел еще так, в длинной рубашке, с ногами, кое-как всунутыми в мягкие туфли, подаренные ему няней. Один, впрочем, раз он потянулся к перу, чтобы изменить свой заголовок: «Ребенку». Ребенка еще не существовало на свете, пока лишь «взыгрался младенец во чреве ее»… Так он и поправил.

И полчаса эти были как очная ставка с собою самим, и были они тем напряженней, что протекали в полном молчании, глубоком, как ночь.

Наутро он кончил «Цыган», помянув и их «мучительные сны».

Когда-то в ранней юности, воспевая вдохновение, он писал: «В мечтах все радости земные! // Судьбы всемощнее поэт». Теперь была минута иная, пора и обстоятельства иные. И были последние строки поэмы как вздох из Корана — вздох над собою самим:

И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет.

Глава седьмая

ССОРА

Клонил к концу и октябрь. Ночи уже холодны, но в доме еще не топили. Всюду кругом дремлют леса: дров не запасали. Кроме того, печи дымили и в прошлую зиму, но печники не показывались, с ними тянули. Старшие Пушкины терпеть не могли, чтобы при них в доме работали: глина и грязь, запах мужицкой овчины... Да скоро ведь и в Петербург!

Осень вступала во все права. Аист, живший при доме, давно улетел. Домашняя птица ходила у служб нахохленная, вялая, и сам важный индюк слинял, посерел. На дворе в высоких просторных корытах целыми днями рубили капусту, и мальчишки с азартом хряпали холодные кочерыжки; сечки сверкали в проворных руках подобно секирам. В парке при быстрой ходьбе щелкали под ногами спелые желуди. Сквозь поредевшую чащу, как приближаешься к дому, издали виден кухонный дым, высоким столбом разрезающий воздух. Долгие звуки были хрустальны и медленны, они пролетали над озером, как неспешные птицы. Небо неярко, задумчиво, по задумчивость эта — явно о снеге.

Пушкин еще не был одет, когда Лев к нему постучал. В последние дни его к брату тянуло особенно: скоро отъезд!

На рождестве непременно приеду, — каждый раз он твердил, как бы сам себя в том убеждая.

Он скучал уже по Петербургу, по светлым гостиным, по болтовне и декламации стихов Александра, причем принимал все восторги и восклицания, как если бы сам написал эти стихи. Но он не мог не видеть, как томился здесь брат, становившийся день ото дня все более раздражительным. Он не знал всех причин его тайных тревог, но помнил, что и сам перед братом был не без греха.

— По перстне не беспокойся, — промолвил он вдруг виновато. — Я сам привезу или с Михайлой пришлю, если ты не боишься.

— Я боюсь одного: как бы разбойники на тебя не напали и не ограбили, — смеясь, отвечал Александр, кончая свой туалет.

— А что же разбойники, на то есть полиция. Видишь, за нею недалеко и ходить. Да вон там, за окном.

Александр поглядел и увидел верхового с сумкой, подымавшего в стремя сапог.

— Зачем это он приезжал?

— Не знаю... Бумагу какую-то батюшке под расписку вручил.

Лев начал вдруг мямлить. Было заметно, однако, что он уже знает, кого та бумага касалась.

— Ну, говори: обо мне?

Левушке было приказано, чтобы молчал, и он только кивнул головой утвердительно.

— Требуют сведений о поведении? — резко спросил Александр. — О переписке?

Лев было снова замялся, но уже по лицу его Пушкин уверился, что точно, догадка его была справедлива. Он медлить не стал. Пора наконец иметь объяснение. Этого требует честь.

И, отстранив рукой брата, пытавшегося его удержать, он направился прямо к отцу; все же и Лев вошел за ним следом. Ссора была неминуема, но разыгралась она, однако, не сразу.

Отец сидел у стола в теплом халате, вытянув ноги и склонясь над какой-то бумагой, которую тотчас и прикрыл узкой худою рукой. Он обернулся на скрип и недовольно поглядел на вошедших.

— Я занят, — сухо сказал он, не отнимая руки от бумаги. — Что за манера входить безо всякого дела?

— Я думаю, сын может войти к отцу и без доклада, — ответил, сдерживаясь, Александр. — И к тому же у меня самого важное дело касательно вас. Прошу у вас позволения объясниться нам наконец откровенно.

— В чем объясняться? — вскипел Сергей Львович. — Какие у нас могут быть объяснения? Я понимаю, если бы, движимый чувством раскаяния, ты пришел склонить предо мной повинную голову, я отложил бы дела, потому что я — настоящий отец. А ты хоть мой сын по рождению, но...

Тут он взглянул на старшего сына и замолчал, заметив, как тот побледнел. Левушка был в стороне, видимо, также волнуясь, страдая. — Что ж, продолжайте, — все еще сдержанно сказал Александр.

Тогда Сергей Львович, и для себя неожиданно, резко вскочил и мелко затопал ногами. Голос его, как па скрипке, внезапно взвился па такие высоты, что походил скорее на визг.

— Я прошу тебя выйти, оставить меня! Я не хочу с тобой говорить! Я не могу тебя видеть!

Пушкин сжал зубы, бледность его еще возросла. Что-то хотел он промолвить, по губы его лишь беззвучно зашевелились. Он было сделал стремительный шаг по направлению к отцу, но сразу вдруг круто повернул назад и выбежал вон. Лев хотел было последовать за ним, но отец, задыхаясь, приказал ему остаться. Молчание воцарилось в комнате.

Левушка сел. Отдышавшись, сел и отец.

— Сядь!

— Я давно хотел сказать тебе... Я тебе запрещаю общаться с этим чудовищем! Это ужасно: быть отцом сына, лишенного человеческих чувств... Да, да... это истинный выродок! Я это теперь себе уяснил.

Александр ничего этого не слыхал. Прямо с крыльца он побежал на конюшню и едва мог дождаться, пока Никита оседлает ему лошадь. Это было всегдашнею привилегией старого дядьки. Ему предстояло также уехать со старшими Пушкиными в Петербург, и он отчасти грустил о минувших днях совместного их бытия с Александром Сергеевичем. Любил он порою и поболтать, тряхнуть стариной, но сейчас не позволил себе промолвить ни единого слова. Барин был в гневе, а под горячую руку ему не попадайся!

Пушкин тотчас поскакал прямиком по аллее и, через лес, на дорогу в поле. Конь был горяч, и волнение седока мгновенно ему передалось. Это была то безумная скачка, то, сдержанный крепким рывком, конь выступал медленным шагом, высоко поднимая передние ноги, все еще как бы сам на себя набегая. Движенье всегда приводило в себя. Пушкин овладевал постепенно своею неразрешавшейся бурей. Но где же исход? Объяснение их так и не состоялось. Он может, пожалуй, не говорить и совсем, но тогда надо бросить свой дом и уехать... Куда? Он был привязан. Переселиться в Тригорское? Но и без того пропадает там целыми днями. Просить по начальству, чтобы ему назначили новую ссылку? Куда же, однако? Ах, не все ли равно!

Утомив и коня и себя двухчасовою ездой и возвращаясь медленным шагом, он вдруг заметил Ольгу и Льва. Они шли впереди — также к дому. Сочетание это было не очень привычно. Брат и сестра, конечно, любили друг друга, но никакой, даже простой искренней нежности в чувстве их не было. На этот же раз гуляли вдвоем, и разговор был горяч.

Пушкин услышал только одно: как, для себя необычно, Ольга воскликнула:

— Он не должен был так говорить про Александра, и ты не должен был позволять ему этого!

Ясно, что речь об отце. Милая Ольга... Ольга была за него...

И, подскакав, на ходу соскочив, он крепко обнял за шею сестру и поцеловал ее в щеку. Это была горячая ласка, и Ольга зарделась. — На Льва не сердись. Я за себя сумею ответить и сам.

Сергей Львович, как оказалось, выдержал младшего сына около часа, читая ему нотации самого высокого стиля и не скупясь на самые резкие выражения по адресу Александра. Ольга не скрыла их в своей передаче; когда бывала взволнована, она ничего не могла утаить. Лев себя чувствовал скверно. Он так не хотел столкновения! Он искоса взглядывал на старшего брата и никак не мог предугадать, что же произойдет; по виду, однако, был Александр сдержан, спокоен.

— Отец почти невменяем сегодня... — Лев произнес это у самого дома и таким просительным тоном, точно надеялся отвести грозу окончательно.

Но брат молча, как бы в ответ, кинул ему поводья и быстро взбежал па крыльцо. Оставшийся с лошадью Лев никак уже не мог его задержать. Очутившись у двери отца, Пушкин слегка постучал. Теперь, так казалось ему, он был господином своего возмущения.

— Войдите!

— Теперь я вхожу с разрешения, — сказал Александр, ступив за порог, и остановился на отдалении; здесь же сидела и мать. «Тем лучше, — подумал он. — Сразу конец».

— Я не просил тебя, кажется, приходить, — язвительно вымолвил Сергей Львович и поднял свою небольшую головку на сына.

— Как я не просил вас читать мои письма, — с горячностью сразу вступил Александр. — Постойте... я вам скажу. И вы обязаны выслушать. Я хотел бы покинуть вас, мне тяжела совместная жизнь. Но и вас не хотел бы я заставлять... жить с сыном, которого вы ненавидите, в котором не признаете никаких человеческих чувств...

Пушкин заметил, как отец, защищаясь и возражая, поднял было вверх тонкую руку, по ему было необходимо сразу же все досказать, и, выдавая тем самым, что разговор со Львом был известен ему, он с напряжением закончил:

— Нет, нет! Вы это все говорили! Так я не хочу заставлять вас... жить с выродком!

Он повторил теперь это слово, и внезапная дрожь его проняла. Снова кровь бросилась в голову, и ноздри его заходили, как у коня; вся его выдержка, с которого он приготовился говорить, исчезла бесследно.

— Александр, ты оскорбляешь отца! — И Надежда Осиповна, не поднимаясь, выпрямилась на кресле.

— Он мне отец по рождению, как я ему по рождению сын. Так, батюшка? Кажется, так вы меня объяснили? Но отцы не бывают шпионами, какими бы ни были чудовищами их сыновья! — Голос его зазвенел. — Я этого не потерплю! Я вынужден дома не покидать, и я требую у вас объяснения.

При этих словах Сергей Львович, сидевший к сыну лицом, быстро, вместе с кожаным креслом, двинулся к стенке. Было ясно, что он опасался не слов, — и Пушкину вдруг показалось, что кресло отца стало просторней.

— Вы боитесь меня, — продолжал Александр, — но вы ведь не император, и я пришел к вам без шарфа.

— Замолчи, Александр! — снова крикнула мать.

— Ты уже оскорбляешь монарха! — взвизгнул отец. — Где наши люди? — И он высунул тщедушную руку, заметно дрожавшую, стремясь дотянуться к бумагам, поверх которых блестел крошечный серебряный колокольчик.

Пушкин, однако, отца опередил. В два шага он был у стола и, левой рукой схватив колокольчик, с силой ударил им по столу. Жалобный звук был короток, слаб; язычок оборвался. Надежда Осиповна приподнялась и села, также бледнея. Она поняла, что сын намекает па участие императора Александра в убийстве своего отца.

— Вы правы, однако, — по видимости, овладевая собою, слегка наклонился к ним сын. — Он это сделал чужими руками. Что же, припомним, пожалуй. Ведь навалилась толпа, и стояла дворцовая ночь. Я же один, и я безоружен; и, как видите, день. Да и кроме того... — тут он засмеялся,— кроме того, мне не нужно престола! Самое страшное было, пожалуй, в этом неожиданном смехе.

— Чего же ты хочешь? — слабеющим голосом произнес отец.

— Я хотел одного. В глаза вам и матушке сказать одну только точную правду. Ничто от меня не укрыто.

И Пушкин, разгорячась окончательно, начал выкладывать все, что накипело на сердце за целых три месяца: и о том, что он будто бы развращающе действовал на брата и учил афеизму сестру; и о глупой боязни их, что его высылка может их всех погубить; и о том, как это гнусно принять на себя поручение прочитывать, а может быть, и перехватывать письма; и о визитах монаха Ионы, игумена Святогорского монастыря, — тоже товарища по слежке духовной, и о тайных с ним разговорах; и, наконец, об этой бумаге, в которой затребованы письменные сведения о его поведении и образе мыслей...

Но каждый почти из гневных его и укоряющих возгласов наталкивался на глухую стену непонимания. Отойдя от первого испуга, порой выдвигал Сергей Львович и до смешного курьезные доводы:

— Но как же, скажи, не развращаешь ты Льва и сестру, когда не дальше как в прошлый четверг я читал им Мольера, а ты вошел и сказал, перебивая отца: «Кажется, туча прошла, едем в Тригорское!»

В другое бы время Пушкин весело захохотал при таких обвинениях, но теперь было ему не до смеху, и запальчиво он возражал:

— Нет, это вы развращаете Льва, и уже по-настоящему!

— Чем это?

— А тем, что вы и его подвергаете тайным допросам: что я говорил да от кого эти письма... Вам не довольно того, что вы сами прочли письмо от Раевского? Не отпирайтесь! Я вам могу доказать.

— Лежало письмо... Я уважаю Раевских... Несколько фраз... Пустяки. А ты... когда это было?.. Да третьего дня! Помнишь, Надин? Ольга сидела в столовой, а ты проходишь вдруг мимо, стыдно сказать, в белых подштанниках...

— И тем развращаю сестру?

— И тем развращаешь сестру! А равно и своим афеизмом.

В конце концов Сергей Львович не мог отрицать одного: что предложение Пещурова было им принято. Пушкин, помедлив, воскликнул:

— И только подумать, что вы — мой отец! Как могло это статься? Вас запугали...

Старшие Пушкины оба молчали, а Александр, уже отгорев, почувствовал, что продолжать было б напрасно. В душе его была горечь и пустота. Так долго откладывал он разговор... вот наконец он состоялся... и что же? Да ничего! Как если бы именно говорил в пустоту...

Но, прежде чем вовсе покинуть родителей, он повторил еще раз с последней внушительностью:

— Этого больше быть не должно! Я требую этого и говорю вам в последний раз.

Он хотел повернуться и выйти, по теперь, когда все миновало, объяснение прошло, — самое трудное оказалось уйти, сделать простой поворот; и ноги как бы онемели. После того необычного, что только что было, именно самое обыкновенное стало особенно трудным. Однако же Пушкин круто повел плечом и тем преодолел эту свою мороку; он вышел из комнаты, не произнеся больше ни слова.

Льва уже не было, но за дверями в коридоре ждала его Ольга. На бледных обычно щеках ее разлит был горячий румянец.

— Я останусь с тобой! Они тебя не понимают... Я останусь с тобой! — твердила она, и на глазах ее были слезы.

Пушкин сжал руку сестры; и рука была горяча. Впрочем, он мало что в эту минуту соображал. Объяснение с отцом потрясло его. Как ни мало они были близки и как ни был в раздражении Пушкин горяч, все же такой разговор сына с отцом произошел в первый раз; это было крушением всего уклада семьи, где повышали голос всегда одни только старшие. Молчание родителей глухо давило его, и оттого он даже с каким-то освобождением испустил вздох из стесненной груди, когда послышался крик отца. Ольга, совсем как тогда у Ганнибала, в испуге прижалась к нему.

— Ничего... ничего... — говорил Александр, одною рукой обнимая ее, а другой проводя сжатыми пальцами по вдруг завлажневшему лбу.

— Ничего!

Было слышно, как Сергей Львович с силой толкнул у себя оконную раму. Последний и крайний испуг его возник оттого, что ему показалось, будто бы Александр их снаружи запер на ключ. Это повергло его в минутное оцепенение, и, когда оно минуло, он рванулся к окну.

— Люди! Сюда!— раздался его громогласный, отчаянный визг, и сразу же во всех концах дома послышался шум: да, поднялась беготня, как если бы в лесной муравейник сунули палку.

На кухне рубили котлеты, и ровное туканье это также внезапно замолкло, сменившись на миг тишиной, а затем громко захлопали двери: все, как видно, устремились сюда...

— Уйдем! — И Ольга насильно почти увела с собой брата.

Впрочем, им по дороге попались уже и дворовые девушки, бросившие свои кружева и вышиванья и бежавшие на дикий вопль барина, как бегут, повинуясь зову набата.

В комнату Ольги Пушкин заглядывал редко. У нее была чистота, белизна, образа; полочка книг.

— Ты не боишься? — И он распахнул настежь окно.

За окном была тишина. Все тот же нахохленный мокрый индюк, что в первое утро после приезда напомнил отца, по-осеннему никло копался в навозе.

Пушкин стоял, вдыхая прохладу и напряженно прислушиваясь ко множеству звуков, ходивших по дому и сливавшихся в общий неразборчивый гул. Но вот и опять, надо всем поднимаясь, все покрывая, послышался голос отца. Он, видимо, был теперь уже в коридоре и, верно, махая руками, кричал — прерывисто, тонко:

— Он меня бил!.. Он замахнулся!.. Он хотел вот сюда!.. Он мог бы ударить, прибить!

Пушкин не верил ушам. Самая обыкновенная человеческая злость — на трусость, на глупость, на клевету — с огромною силой охватила его. Он забыл и про Ольгу и со всей полнотою экспрессии, хоть и негромко, вдруг произнес за окно «русский титул». Это бывало

с ним редко, но это всегда освежало. Однако же Ольга как будто не поняла пли не вовсе расслышала, потому что невинно она переспросила:

— Что ты сказал?

— Ты разве здесь? — обернулся к ней брат. — Да, я просил... Будь так добра, принеси мне стакан воды.

Когда сестра вышла, он дал себе волю, и его хорошо расслышал индюк под окном, немедленно давший свой отзыв. Так на некоторое время и оставался он единственным собеседником Пушкина, пока не возвратилась Ольга Сергеевна со стаканом воды.

Глава восьмая

В Тригорском

«Государь император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Неважные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к прочим детям. Решился для его спокойствия и своего собственного просить его императорское величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства Вашего превосх…»

Так Пушкин писал в тот самый день Адеркасу, псковскому губернатору, перебравшись совсем к Прасковье Александровне Осиповой, пока не уедут родители или каким-либо иным способом не разрешится дальнейшая его судьба. Он был поставлен в необходимость куда-то деваться, и Прасковья Александровна с радостью предоставила ему убежище у себя.

По дороге в Тригорское Пушкин обдумал свое положение и ясно представил себе полную его безвыходность. То, что отец при людях кричал тяжкие свои обвинения, грозило лишением чести, суровою карой. Тогда и решился он на этот отчаянный шаг. Но у него выбора не было.

Прасковью Александровну он попросил отправить эту бумагу во Псков. Она энергично пыталась его образумить. Но Пушкин не слушал советов. Он и на нее рассердился.

— Чего же хотите вы? Чтоб меня арестовали и посадили в тюрьму?

Если вам жаль лошадей, я найму у мужиков телегу или сам отправлюсь пешком!

Он был в большом возбуждении и, когда писал Адеркасу, порою вставал, мочил полотенце и прикладывал к горячему лбу. Но тут, в разговоре с Прасковьей Александровной, он все же опомнился и, наклонившись к руке ее, просил извинения.

— Как мог я сказать эту глупость про лошадей, что вам, может быть, жаль… Прогоните меня.

В ответ и она целовала его в горячий висок, вдыхая его особенный запах волос. Казалось бы: мир, но через минуту Пушкин снова шумел и требовал послать верхового без замедления.

И верховой был отправлен. Пушкин сам передал ему пакет для губернатора. Осипова же строптивого гостя своего больше не уговаривала: верховой получил точный и строгий ее наказ. И этот наказ был таков: в дороге не торопиться; во Пскове с бумагой ни к кому не являться: пробыть там три дня и вернуться назад, объяснив, что запоздал из-за распутицы и что губернатора не было в городе, а чиновникам важной бумаги не решился доверить: и, наконец, таить это все как строжайшую тайну. Так хотела она выиграть время.

По ее же совету Пушкин немного спустя написал и Жуковскому. Письмо это вышло также взволнованным.

Рассказав происшедшую сцену и передав все отцовские выкрики, Пушкин спрашивал старшего друга: «Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра, — еще раз спаси меня».

Пушкину снова пригрезились ужасы юности, как собирались его высылать в Сибирь или на Соловки. Тогда его спас, через Карамзина, Чаадаев, — теперь прибегал он к Жуковскому, которому вовсе недавно писал, полностью тогда еще не открываясь; однако жив том письме он уже слал поклоны Карамзиным, точно предчувствуя, что скоро опять бури зашумят над головой…

И, уже кончив письмо, приписал: «Поспеши: обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться — дойдет до правительства, посуди, что будет. Доказывать по суду клевету отца для меня ужасно, а на меня и суда нет. Я вне закона». И уже совсем под конец признавался, что написал и губернатору.

Прасковья Александровна утратила в эти дни сладкий свой деревенский сон. На все лады прикидывала она создавшееся положение и искала из него выхода. Это было много трудней, чем любое, хотя бы и самое сложное, хозяйственное дело. В одном она не раскаивалась: что затормозила письмо. Посоветовав Пушкину обратиться к Жуковскому, она и сама написала ему, хоть и не была с ним знакома.

В этом письме говорила она о Пушкине как о человеке, который «действует прежде, а обдумывает после», а о просьбе его к Адеркасу — что она «все то сделала, что могла, чтобы предупредить следствие оной». «…Помогите ему там, где вы; а я, пользуясь несколько его дружбою и доверенностью, постараюсь если не угасить вулкан, то по крайней мере направить путь лавы безвредно для него…»

В планы свои относительно письма Пушкина к губернатору она посвятила и Льва, который наконец уезжал, получив назначение, в Петербург. Да и сам Александр велел ему побывать непременно и у Жуковского. На проводы брата домой он не собирался. Они порешили, что Лев по пути заедет в Тригорское.

Наступили дни ожидания, но Пушкин не переставал работать. Лев увозил для печати первую главу «Онегина», и Пушкин приводил в порядок свои примечания. Под впечатлением посещения Петра Абрамовича он написал теперь и о прадеде, помянув и Лагань, плывущую следом за братом.

В эти тревожные дни размышлял он по-прежнему и о побеге, даже, может быть, больше, чем когда-либо: это одним ударом разрубало весь узел. Но странное дело: ко всем этим мыслям, ставшим уже привычными и почти постоянными, примешивалось теперь и некоторое раздумье.

Так брату писал на прощанье:

Презрев и голос укоризны, И зовы сладостных надежд, Иду в чужбине прах отчизны С дорожных отряхнуть одежд. Благослови побег поэта. И тут же внезапно усталой рукой чертил о себе: Умолкнет он под небом дальним Один… печальным Угаснет в чуждой стороне.

Тут было, конечно, и личное: отрезать себя от всяких возможностей когда-нибудь встретиться… Страстная жажда увидеть Элиз порой бушевала в нем с такою же силой, как порывистый ветер в лесу, когда возвращался от Ганнибала. Ссылка и ссора с отцом, потрясение дружбы, разлука с любимой женщиной — все это рождало порою мгновенную мысль даже о самоубийстве. Так было с ним всего еще раз — в Петербурге, когда граф Федор Иванович Толстой-Американец распустил про него слух, что его пригласили в Тайную канцелярию и там высекли. Он и теперь вспоминает об этом, готовясь к дуэли с клеветником. Но если б тогда он это сделал, он только подтвердил бы тем самым позорившую его молву. Не было ли бы отчасти то же самое и теперь?..

Но было, кроме того, и нечто другое, что не позволяло ему так собою распорядиться. Это, может быть, было б легко там, в Петербурге, когда личная жизнь его шумела и пенилась в узком бокале; там разбивали не раз на попойках такие бокалы, внимая печально-веселому звону стекла… Теперь же и самая жизнь крепко держала его, он связан был с нею тысячью нитей и прежде всего своею работой. Так же казалось порою легко и на юге — шагнуть и отплыть из неласковой отчизны своей. Но и тогда уже он, в стихах своих «К морю», крепко задумывался: что же найдет он за рубежом? Он всегда страстно хотел путешествовать с другом своим Чаадаевым, к которому чувствовал настоящее уважение, как ни к кому, быть может, другому, и теперь только так и мыслил себе запретное это путешествие: поехать прямо к нему… Но одно дело путешествовать и другое — проститься с отчизной навек. Что мог он там делать? Он увез бы с собой единственно пафос борьбы, скованной здесь; но и там — не звучал ли бы он в пустоте?

Он отнюдь не хотел себя ограничивать. Эта стихия борьбы, и борьбы политической именно, также просила свободы для своего проявления, но ведь единственный меч его — слово, стихи! И он размышлял: можно ли было вовсе ему покинуть отечество, оторваться от своего родного и милого, — не вырвешь ли вместе с тем с корнем и собственную — именно творческую жизнь? И самая эта отчизна, быть может, к нему обернувшаяся и еще посуровей, чем раньше, не отпускает и дышит одновременно и каким-то теплым дыханием. И разрешение ли это вопроса: покинуть ее, когда вот и этот простор, и предвкушаемая рабочая тишина зовут его к творчеству, сосредоточенному и большому?

И как еще надо во всем разобраться? А разобраться для Пушкина значило: мыслить в процессе работы, и мыслить именно образами.

Все это, конечно, не сразу и не полностью, ложилось в сознание: слишком оно было занято острой борьбой, душевным тем неуютом и беспорядком, в котором, как тучи, громоздясь одна на другую, теснились: и ревность, и подозрения, и горечь гонения, и едкие мысли о славе, о женской любви, и оскорбления отца, и неразрешенный конфликт… Такова была его «скука». Но глубже, как бы под землей, откуда на свет еще не пробились едва прораставшие зерна, уже ощутимо рождалось предчувствие богатых творческих дней.

Шла осень — пора, когда Пушкину особенно крепко работалось; пора, когда жаркое лето сменялось уже предвкушением мороза; так было и у него: уже была на пороге тишина одиночества, исполненная буйной внутренней жизни. И на грани этих двух стихий, сопутствующих всякому творчеству — внутреннего огня чувства и мысли и холодного ясного мастерства, — было похоже на то, как поначалу отпотевает стекло, позже, в дыханье мороза, давая уже и узоры тропических знойных цветов. Это спокойное формирование и дозревание образов, в которые вливается мысль и самая жизнь, Пушкин уже и теперь ощущал в полную меру, невзирая на все кочевое свое неустройство.

Так уже и теперь эта его боевая приподнятость и настороженность вливались и в широкое русло «Онегина». И странное дело, здесь сразу же дыхание становилось свободнее, легче, и невольно он ослаблял напряжение своей тетивы, которое делало его уединенные выпады подобными именно полету стрелы.

За эти горячие деревенские дни он набросал и сатиру на милых девиц, его окружавших:
Но ты, губерния Псковская, Теплица юных дней моих, Что может быть, страна пустая. Несносней барышень твоих?

Эту строфу, однако же, он поленился отделать и вообще несносных барышень пожалел… Да и то сказать: ведь бывали минуты, когда казались они гораздо милее.

Впрочем, и все окружающее в широте онегинских строф становилось отчасти как бы лишь эпизодом, и дуновение легкого юмора проносилось над строками, как ветерок. Так

бегло он вспомнил и того самого Толстого-Американца, для встречи с которым готовился, стреляя из пистолета едва ли не каждое утро; так помянул и родных:

Гм! Гм! Читатель благородный, Здорова ль ваша вся родня?

И, рассказав, что такое «родные» и как надо ласково с ними обходиться — «о рождестве их навещать», — он и с ними расставался беззлобно-легко:

Чтоб остальное время года Не думали о нас они… Итак, дай бог им долги дни.

Шутливые строки он посвятил и самой Воронцовой — милой мучительнице. Правда, любовь надежнее дружбы, родства, но и она непрочна:

К тому ж и мнения супруга Для добродетельной жены Всегда почтенны быть должны…

«Онегин» кипел, переливался и искрился, и он был так же широк и вместителен, как и чаша озер и всего горизонта с этими водами, лесами, полями и небом над ним. Богаче «Онегина» и шире окрестного мира был только сам Пушкин. Он был и все это, и еще поднимался над этим; больше того, он умел подниматься и над собою самим.

Александр каждый день ждал возвращения посланца из Пскова, но свой распорядок дня почти не менял: и в Тригорском все так же до обеда работал, лишь выходя пострелять (на охоту он никогда не ходил и знал лишь одни пистолеты), после обеда ездил верхом, вечером все вместе болтали или сражались в дурачки, а то и в короли, слушал музыку, пение. Погода все время стояла дурная.

Ссора была у всех на виду, как обнаженная рана, но в доме о ней старались не говорить. В другие же думы свои Пушкин никого не пускал, и разве одна лишь Прасковья Александровна кое-что знала и кое о чем подозревала. С нею и вообще Пушкин всегда говорил и доверчивее, и более серьезно, чем с другими: пожалуй что, между всех женщин усадьбы она одна была по-настоящему от природы умна. Бывало, он с ней горячо рассуждал и о восстании греков, об Ипсиланти, о мерах правительства и о цензурном уставе (как раз он писал и стихотворное послание цензору), даже о Каменке и о друзьях, обретенных там.

Временно эти их разговоры угасли. Но все ж почти ежедневно к ней выходил Александр поболтать и рассеяться. Она была рада, что он не говорит больше о крепости и об отце. Может быть, как-нибудь все и обойдется! Старшие Пушкины дулись на нее, она это знала, но и вообще-то не слишком серьезно к ним относилась: они отчасти смешили ее своей бесхозяйственностью и нарочитой всегдашней приподнятостью. Как Александр был на них не похож! Он был и самый простой, и какой же особенный!

Он был простой. В последние дни в их разговорах даже возникла интимность особого рода. Часто теперь почему-то он говорил с нею о детях, да и не только о детях, но и о родах — о трудности их, и как вообще это бывает, даже о сроках и о наследственности: как часто выходят в отца и кто чаще — девочки или мальчики.

Все это были отголоски его сокрытых дум. Черный ребенок и белая мать все продолжали тревожить его воображение: «Ты — Ганнибал!» Досель он ни разу об этаких странных вещах не помышлял, да и вообще мысль о ребенке впервые была для него практическим личным вопросом.

И так для себя непривычно Пушкин порою теперь вспоминал и о разной другой детворе (всё это были девочки): и о сиротке Софианос, любимице своей — маленькой гречанке, у которой отец погиб в битве с турками при местечке Скуляны; и о девочке Гурьевой, тяжело заболевшей перед самым его отъездом из Одессы; и у Веры Федоровны спрашивал о здоровье ее детей, которых она привезла поправляться на юг. Правда, при этом отчасти он и лукавил. Наденьку Вяземскую прозвал он в Одессе Мили, это было созвучно со словом миленькая, как он матери и объяснил, но это же было и сокращением слова миледи, как

называл за глаза Воронцову. Вера Федоровна тогда же вывела его на чистую воду, и, спрашивая о здоровье Мили, ничуть он не сомневался, что она хорошо поймет эту двойственность горячего запроса… Такие условности и полунамеки были обычны для их переписки.

Пушкин утром работал, как и обычно, и молодежь, заскучав, ушла по грибы. Однако ему нынче плохо писалось, он все поджидал, что Лев, отбывавший в столицу сегодня, заедет проститься. Но и вообще мысли его были рассеянны. Он почему-то все вспоминал Кишинев. Как же привык он к этому городку! Часто ему не хватало и Инзова. С ним были связаны по только ведь анекдоты тамошнего его бытия или отеческие аресты; и не одно даже тепло и благодушие, шедшее от этого спокойного и ясного, как летний закат, человека. У Инзова был свой круг интересов и философского, и морального свойства. Благородство французских идей конца восемнадцатого века преломлялось в нем с особою русской душевною мягкостью. И он был верен тому, во что верил. Кажется, это был единственный человек из тех, кого знал Пушкин, у которого в доме ни одного слуги не было из крепостных, — все были вольнонаемные. Он часто о нем беседовал с Прасковьей Александровной, и сейчас его тоже потянуло к своей гостеприимной хозяйке.

Точно бы он угадал. Ему плохо писалось, ей плохо работалось. В гостиной она сидела одна. Работа лежала на столике рядом, по руки бездействовали. Тишина во всем доме склоняла к раздумью. Как он угадал, что вошел!

Пушкин вошел, помолчал, походил и остановился на отдалении.

— Вот: кому трудно с отцом, а ей без отца очень трудно. Когда меня, можно сказать, передавали от Инзова к Воронцову, я, расставаясь с Иваном Никитичем, о ней ему говорил, чтобы не забывал и помог.

— Вы все об этой девчурке своей, о Софиапос?

— Вы угадали, о ней. Ну, а кому трудно с отцом?

— Вот уж этого, пожалуй что, я и не отгадаю, — не без лукавства улыбнулась Осипова.

— Странное дело, — сказал Пушкин, садясь и уронив руки между колен. — О стариках и о детях я думаю как-то похоже. Да и в природе начало сходно с концом: заря и заря.

Прасковья Александровна сначала хотела было продолжить разговор об отце, ей очень хотелось, чтобы примирение все же как-нибудь состоялось: ведь и Сергей Львович близок к тому, чтобы его назвать стариком… Но Александр Сергеевич окончил так неожиданно! «Заря и заря», утро и вечер — это как рамка, что объемлет собою всю жизнь. Невольно подумалось ей и о себе, и она уже слышит порою дыхание этого вечера… и это ей кое-когда нелегко. А вот он, молодой, словно бы понимает все возрасты… Что за человек! Прасковья Александровна Пушкиным любовалась.

— И он подал мне мысль, Иван Никитич: девочку надо бы в Петербург, в Смольный. Что же, и хорошо, я бы ее там навещал… Ведь буду же снова когда-нибудь я в Петербурге! Я о ней написал и Жуковскому еще из Одессы, весною. Он обещал похлопотать, а кончил все же советами мне самому…

— Нравоучением?

— «Чертик, будь ангелом!» — он мне так написал.

Оба они рассмеялись.

— Правда, что это было как раз накануне моих именин. Но я все о том же ему и отсюда, вовсе недавно, писал. Надеюсь, что он в конце концов тронет-таки сердце Марии…

— Вы уже и самое императрицу по имени… запросто.

— А что ж, и она женщина, — улыбнулся Пушкин.

И понемногу они разболтались. Пушкин и оживился и повеселел. Еще вчера от нечего делать они стали считаться свойством. Свойство это было очень простое: родная сестра ее Лиза, у которой все лето гостил и уехал оттуда прямо в Дерпт, к брату, второй ее сын Мишенька Осипов, была замужем за Яковом Исаковичем Ганнибалом, двоюродным дядею Пушкина. Но Александру, видимо, хотелось рассеяться, и он принялся, как и вчера, приплетать от себя кучу всяких побочных имен, путаясь в них, конечно, нарочно, но все же отчасти как бы всерьез. Потом перешли опять на Кишинев, как Екатерина Хрнстофоровна Крупенская (у которой и жила девочка Софианос), когда сама воспитывалась в Смольном, уверяла, что происходит из славного царского рода Комненов. Оба они болтали, смеялись, как если бы вовсе и не было никаких тягостных осложнений, и сама Прасковья Александровна забыла и думать о каком-либо собственном вечере и о закате…

Ненастье прошло. Сегодняшний день был тихий и солнечный, ровный. Одно из окон было даже отворено, и оттуда глядел просторный уже по-осеннему, весь облетевший сад. Пушкин на этом северном фоне был особенно ярок. Казалось, что знойное лето и юг, хотя и прикровенно, но оттого, может быть, особенно жарко и полно, дышали сквозь его смуглую кожу. Прасковье Александровне удалось-таки его разговорить! Но когда он принялся вспоминать, как, бывало, надоедали плацинды и каймаки у всех других кишиневских друзей и какой зато у Крупенских подавался хороший русский обед, в ней пробудилась хозяйка:

— А опенки в сметане вы любите?

— Да, отчего ж…

— Я с ними послала телегу и две большие корзины. Хотите, пойдемте навстречу?

Но в ту же минуту на террасе раздались, вперебивку со смехом, молодые девичьи голоса, и тотчас же вбежала Евпраксия.

— Мамочка, мама! Пушкин!.. Как же мы хорошо нагулялись! — И она закружилась но комнате, раздувая легкую юбку.

Девушки все раскраснелись, они были веселы: рады, что много грибов и что сразу напали на Пушкина. Анна прямо к нему подошла и, минуя мать, протянула небольшой букетик последних осенних цветов; тут были тощеньких два василька, живокость, тмин, белая кашка и горстка ромашек.

— Это для вас.

У нее были тихие дни. Романа никакого пока не выходило, но она была счастлива и как-то спокойна, что Пушкин у них и спит под одной с ними кровлей. Мать подобрала недовольно губу. Лицо ее стало суровей, но в эту минуту внезапно она, чуть побледнев, стала красивой по-настоящему. Пушкин внимательно на нее поглядел, но от дочери принял цветы.

— А что вам приготовила я-а! — шепотком протянула Евпраксия и сделала рожицу преуморительную.

— А где же грибы? — промолвила сдержанно мать. — Мы опоздаем их жарить к обеду. Александр Сергеевич их любит.

— Ох… Опенок — возы! Вот столько!— И, дурачась, Евпраксия показала руками впереди живота и даже поколыхалась: так тяжело было тащить!..

Со двора как раз донеслись скрипы телеги. Верно, там Валериан сидел над добычей, охраняя корзины с грибами. Он был шалун, но и следил за добром по-хозяйски.

Пушкин Анну поблагодарил за цветы, но, хорошенько не зная, что с ними делать, полурассеянно их положил на подоконник. Однако же в нем все возрастало это ощущение вновь обретенной легкости. Погожий осенний денек, сменивший ненастье, нежаркое солнце в открытом окне, юность, принесшая запахи леса: как дуновением ветра, все это смывало в

нем горечь тайных его размышлений. Непроизвольно почувствовал он прозрачную ясную осень и себя на земле, и было прекрасно дышать этим солнцем прохлады.

Обе сестры были очень милы, он им улыбался, но между тем отводил глаза и на Алину. Девушка эта всегда занимала его воображение. Над ней он немного подшучивал, случалось, и вместе смеялись, но чувствовал неизменно, что вот у нее — успеха он не имел. Так и сейчас — спокойная, ровная, странно она привлекала его. От долгой ходьбы и от смолистого осеннего воздуха она зарозовела, как все, и если матовая обычная ее белизна очень к ней шла, то кровь, прилившая к коже, делала ее еще больше хорошенькой и совсем не холодной — напротив… Тут бы как раз и подойти, но Пушкин уже ощущал знакомую робость. Это всегда было признаком неподдельного движения чувства… И он с ним не боролся.

От Прасковьи Александровны не укрылось и тайное это смущение, ничем почти вовсе не выраженное. Она и сама взволновалась и… ревновала. За ней, в свою очередь незамечаемая, со всей свежестью юного любопытства следила Евпраксия.

Но вот раздалось на террасе чье-то пыхтенье, и показалась корзина в дверях, за ней Валериан. Мальчик похож был на деловитого муравья, толкавшего перед собой огромную тяжесть. Мускулы его были напряжены, щеки пылали. Он не утерпел, чтобы не похвастаться перед матерью, и, рискуя, что она на него заворчит, притащил-таки одну корзину сюда. В ручку был всунут большущий пук осенней багряной листвы: веточки клена, осины.

Евпраксия мигом забыла свои наблюдения и, выхватив этот древесный букет, поднесла его Пушкину, проделав при этом глубокий и затейливый реверанс. Он ее обнял вместе со всеми этими ветками.

— Вот теперь уж, наверное, вы стали толще меня!

Он ее часто дразнил этой ее полнотой. На минуту их лица, затерявшись в прохладной листве, сблизились больше, чем это было видно со стороны… Но случилось так вовсе нечаянно и совсем простодушно.

Легкому напряжению, создававшемуся в комнате, теперь-то, казалось бы, и разрядиться, но внезапно на сцену выступил Валериан. Когда все любовались грудами нежных, по плотных, холодноватых грибов, мальчик вдруг выпалил Пушкину прямо в лицо — к истинному ужасу старших:

— А мы повстречали в лесу Сергей Львовича! А нам Сергей Львович сказал…

— Валериан, не выдумывай! — строго поглядела на него Аnna.

— А я бы выдумать так не сумел. Все слышали, как он говорил… — И замолчал, наклонившись бычком и пристально разглядывая собственные ноги.

— Ну и что же? — спросил мрачно Пушкин. — Что ж именно говорил Сергей Львович в лесу близким соседям?

— Да вы знаете сами! — И Валериан, красный, надувшийся, поднял глаза и быстро договорил: — Что вы непристойно махали руками… да как вы осмелились…

— Ну, знаешь, довольно! — оборвал его Пушкин и отвернулся к окну; было заметно, как у него вспыхнули уши.

Итак, передышка была вовсе короткой: горячая ссора с отцом снова его настигала, усугублялась. И оттого, что известие это пало внезапно в минуту умиротворения, действие его было особенно острым. Пушкин, как бы от боли, повел плечами и крепко сжал пальцы низко опущенных рук.

— Что щиплешься? Дура! — вдруг закричал Валериан на Зизи; но мать так взглянула на мальчика, что он мигом замолк.

Тогда, среди неловкого общего молчания, вступила Алина и спокойно сказала:

— Он просил передать, что вам есть письмо. Оно у него.

Пушкин порывисто обернулся. Этого еще недоставало! А что, ежели это письмо от Воронцовой? И оно — у отца! И как его взять у него, как вообще быть после всего, что между ними произошло и что… продолжалось? Да, отец продолжал неистовую свою болтовню.

Но вот он нечаянно встретился взглядом с Прасковьей Александровной. Его поразило, что стояла она, опершись щекой па ладонь: как деревенская баба, провожающая сына в рекруты.

— Я пойду, — сказал Пушкин и направился на террасу.

Он так был взволнован и занят мрачными своими мыслями, что даже не простился. Впрочем, в дверях он обернулся.

— Постойте, а можно на вашей телеге?

— Конечно…

Прасковья Александровна хотела бы его удержать, спросить, не вернется ли к ним, сказать, что сама пошлет за письмом… но не посмела. В Пушкине было то самое напряжение, которое порою и старого дядьку его делало немым.

В таком же молчанье и все вышли его проводить; все, кроме Алины. Она осталась в гостиной, подошла к клавесину и заиграла из «Сороки-воровки». Это была хорошо знакомая Пушкину сцена, как беглый солдат приходит на тайное свидание к дочери, а та при судье, забывшем дома очки, читает приказ об аресте отца, изменяя его приметы… Это никак не было связано прямо с его состоянием, но горячая напряженность положения, звуков пронзила его, и он быстро вскочил на телегу.

Но не за одну только музыку Пушкин был благодарен Алине. Ему вообще было бы лучше, если б из дому за ним не вышел никто. Ему было мучительно, что какая-то часть его «я» словно бы всем приоткрывалась. Ощущение это было и чисто физическим, как если бы в обществе вдруг обнаружилось, что был одет чересчур по-домашнему… Укрыться скорей!

— А к обеду вернетесь? — вдруг осмелела Евпраксия. Пушкин только рукою махнул:

— Не знаю!

Телега загромыхала и скоро исчезла из глаз за холмом городища Воронича. Осталось в глазах, как горячий седок порою приподнимался, опираясь руками о грядки, будто это могло ускорить езду. Да, он был простой, но и какой же особенный!..

«Как-то все еще там обернется!» — со вздохом про себя подумала Прасковья Александровна и на вопрос подошедшей Анны Богдановны, что же делать с грибами, коротко бросила:

— Мариновать!

Какой уж там обед!.. Предстоящая эта встреча сына с отцом очень ее волновала. И сегодня как раз должен вернуться посланец из Пскова… По лицу Александра она поняла, что это было письмо… — она не хотела точно догадываться, но, во всяком случае, от женщины, в которую он страстно влюблен… Больше того, внезапно она утвердилась в мысли: этот роман имел завершение! Однако же ей не хотелось остаться и с Анной, и она прошла прямо на кухню. Даже Евпраксия и та как-то примолкла. Она позвала Валериана на мировую, искать в парке желуди; усталость была ей незнакома.

Чистые звуки Россини полнили воздух. Анна еще постояла немного одна и тихо вернулась в гостиную. Она не пошла далеко. И от дверей было видно: на подоконнике сиротливо лежала горстка цветов, оставленных там Александром. Окно было распахнуто, желтая бабочка, точно весной, присела на них и опять упорхнула па волю. А Пушкин скакал где-то сейчас в дворовой телеге…

Алина, играя, за спиною услышала сдержанный звук рыдания и поспешные чьи-то шаги на террасу. Но к Анне она даже не обернулась. Она понимала и так все, что творилось вокруг. Она только закрыла глаза на мгновение, тихонько вздохнула и продолжала играть.

Пушкин же, точно, подпрыгивал в тряской телеге, но смятение его чувств было так велико, что он едва различал даже неистовый грохот колес.

Когда подъезжали к самому дому, Пушкин приказал лошадь больше не гнать, и колеса телеги тотчас перешли на жалобный скрип. Сквозь него явственно сразу послышался голос отца. Кому-то, сердясь, он говорил:

— Сколько же раз тебе объяснять, что надо из левого! А ты все свое.

Так лучше палец ложится! А письмо между тем важное… и деловое.

Пушкин отца наконец увидал. Сергей Львович стоял на крыльце и показывал няне, как перья у гуся изогнуты в правом крыле и как изогнуты в левом, и почему только в левом крыле удобные перья, чтобы писать. Пушкин, еще не слезая, сразу схватил суть разговора. Сам он гусиных тех тонкостей не различал и не мог про себя не усмехнуться. Это отчасти, пожалуй, разрядило и его напряжение.

Няня, слушавшая Сергея Львовича очень внимательно, вдруг обернулась на скрип; разглядев, кто сидел на телеге, она всплеснула руками и, покинув старого барина, молодо побежала навстречу дорогому питомцу. Тогда поглядел и отец, но не двинулся с места; он выжидал, чтобы сын поздоровался первый. Руки его как были расставлены, так и остались — декоративно.

Пушкин легко соскочил на ходу и с размаху обнял рукой теплую нянину шею:

— Мамушка, здравствуй! Что, резали гуся?

— А барчуку молодому в дорогу. Нынче под вечер, знать, выезжает.

— Как, разве нынче?

У Пушкина бывали порою такие причуды. Он отлично знал об отъезде брата, но вот сделал вид, что не знает.

— Так точно, нынче, — не спеша ответила няня.

От нее дышало домашним теплом и уютом. По-осеннему ватка была заложена в ухе. И на ухо Пушкину шепнула, как целовала:

— Совсем, что ль?

Он понял тотчас, как она без него стосковалась, но, ничего не ответив, обернулся к отцу и поклонился ему на расстоянии. Сергей Львович, однако же, все продолжал выжидать; только привел в движение руки и крепко теперь по обеим сторонам груди держался за отвороты халата.

— Здравствуйте, батюшка. У вас, говорят, письмо для меня?

— Оно тебя ждет уже несколько дней, — ответил отец. — Но тебя же нет дома… Гостишь! — и, пожевав сухими губами, добавил: — Пакет очень толстый, и даже на свет ничего не видать. Только понюхал: духами не пахнет. — Тут отнял он правую руку и приблизил к носу длинные узкие пальцы.

О, Сергей Львович всегда пребывал на большой высоте! Пусть-ка попробует сын что-либо ответить! Не так-то легко. Пожалуй, поэт, и для тебя это столь тонко, что и схватить, может быть, не за что!

Но сыну отнюдь не хотелось вступать в словесную битву, и попросту он промолчал; для старшего Пушкина это было лишь полупобедой.

— Пойдем, ты возьмешь свой пакет, — немного помедлив, вымолвил он с тою разумною строгостью, к которой обязывало его положение, и, отняв наконец от халата и левую руку, направился в комнаты.

Пушкин за ним не торопился. Никак он не ожидал такой встречи с отцом. У Сергея Львовича не было ни тени смущения и ни торопливости, столь ему свойственной. Точно почувствовал он под собою какую-то новую почву.

И что за письмо, которое он собирался писать и для которого даже перо нужно было особенное?..

— И матушка ваша очень тоскует, — промолвила няня, улучив минутку. — Да, никак, вот и сами они.

И действительно, Надежда Осиповна вышла на голоса. На ней была домашняя бархатная кацавейка, голова не покрыта. Пушкин взглянул на нее и не нашел в сердце обиды.

— Ну, подойди, подойди!— заговорила мать, поглядывая искоса на няню. — Что запропал? Иль у соседей мед слаще нашего?

Пушкин поцеловал сухую ее темную руку.

— Ну вот, хорошо. А то мы тут с завтрева с Ольгой одной. Ну что ж, ты не будешь больше руками махать?

— Да, кажется, я и не махал.

— Нет, нет, нехорошо, — промолвила Надежда Осиповна, и нельзя было точно понять, к кому же именно относилась сдержанная эта укоризна. — Няня, пойди скажи Льву Сергеевичу, что братец приехал его провожать.

«Лев им не показал, — подумал Пушкин. — Они ничего так-таки и не знают…»

Третьего дня Пушкин Льву прочитал свое послание к Жуковскому, тот переписал его и сказал, что покажет родителям, что их надо осведомить, что, может быть, это послужит к умиротворению… Пушкин подумал тогда и не возражал. И вот… ничего!

Но в ту самую минуту, как он это подумал, мать, выждав, пока няня ушла, вдруг необычно вскинула руки и положила их ему на плечи. От старенькой кацавейки пахнуло на Пушкина детством, Москвой и зимой. Он поднял глаза на нее и увидел, как дрогнули эти черты. Надежда Осиповна пристально глядела на сына, и видно было ему, как теснились в ней горячие чувства, еще не нашедшие слов; губы ее шевелились беззвучно. Но вот она потянула к себе его за плечи и зашептала прямо в лицо:

— Ты что ж, и взаправду такое задумал? Да что же станется со мной, коли ты будешь в крепости? — И она судорожно-крепко его обняла и прижала к груди.

Пушкин был истинно тронут. Но когда она его отстранила, лицо ее снова было спокойно и даже немного насмешливо.

— И отец говорит: «Экой дурак, в чем оправдывается. Да он бы еще осмелился меня бить! Да я бы связать его велел!»

— Матушка, вы посудите: так зачем же было меня обвинять в злодействе несбыточном?

— И еще так говорит: «Да он убил отца словами!»

Так и не получила развития короткая эта минута истинных чувств, когда Александра обняла настоящая мать. Снова условности выступали на сцену, и опять зазвучали каламбуры отца…

И, однако же, прежде чем с сыном расстаться, сказала ему Надежда Осиповна и еще одну важную вещь. Она даже огляделась вокруг и понизила голос:

— Он нынче пишет Пещурову… Ты помолчи! Он больше не хочет этих обязанностей.

Так вот для чего эти все рассуждения о правом и левом крыле убитого гуся, так вот оно — важное и деловое послание! И на сердце у Пушкина несколько отлегло. С отцом в кабинете он был сдержан и ровен, приличен.

Наконец и письмо, что его так взволновало, было в руках; штемпель: С.-Петербург, и почерк мужской, незнакомый. Это, во всяком случае, было спокойнее.

Но когда он пришел к себе в комнату и вскрыл его, неожиданно выпал из середины листок, исписанный мучительно знакомой рукой… Раевский, как видно, упорствовал в жестоком своем обещании «надоедать» ему письмами, «пока не заставит ответить». В послании этом ничего не было нового, и оно было столь же фальшиво, как и первое. Однако ж листок этот был только вложен. Основное письмо было от князя Сергея Григорьевича Волконского, писавшего по возвращении с Кавказа, куда он ездил на минеральные воды. В письме были новости: генерал извещал его о предстоящей женитьбе.

Сидя на подоконнике, Пушкин читал: «Уведомляю вас о помолвке моей с Мариею Николаевной Раевской. Не буду вам говорить о моем щастии, будущая моя жена была вам известна».

Как это бывает, когда прошлое глубоко ложится на сердце, оно, встрепенувшись, возникает внезапно столь явственно, что полностью как бы отодвигает все настоящее. Прошлое это, ясно, не умирало; оно только не движется, стало видением, а самое время его обтекает, не трогая, не разрушая. У Пушкина это с Марией Раевской — совсем по-особому: как если б была в пределах широкого его бытия — еще и особая, сама в себе замкнутая, утаенная жизнь. Он не анализировал этого чувства, оно и без того пребывало в нем — верное само себе. И, как ни странно, у всего этого было и имя — краткое, но исчерпывающее: Мария!

Она выходит замуж. Поставлена точка, но в их отношениях есть нечто такое, над чем не властно — ничто. По крайней мере, так у него. А у нее?..

Пушкин закрыл глаза и опустил письмо на колени. Так и застал его Лев.

— Что за письмо? — спросил он тревожно.

Пушкин ответил не сразу.

— А помнишь, — сказал он негромко, — я писал тебе из Кишинева, об эту же пору… нет, еще в сентябре — о своем путешествии… и о Раевских…

«Все его дочери — прелесть», — тотчас процитировал Лев, щегольнув своей памятью. — «Старшая — женщина необыкновенная…»

— Речь тут о младшей. Но как же ты помнишь, однако!

— Я цитирую Александра Пушкина! — ответствовал Лев. — Я думал всегда, что письмо это надо печатать.

— Пожалуй, но только оно должно быть пространней. Вот погоди, выпадет снег…

Странно, Пушкин слышал свой собственный голос, шедший как будто откуда-то издалека.

— Я помню оттуда и еще, — продолжал Лев: — «Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался».

Довольно, — прервал его Александр; однако ж и сам повторил, словно эхо: — «Которой никогда не наслаждался». Лев перебил задумчивость брата быстрою шуткой:

— Ну, а тут «милое семейство» скоро разъедется, и я первый. Есть наслаждение в отсутствии семейства!

Состояние старшего брата казалось ему только задумчивостью. Левушка дальнозоркостью в области чьих бы то ни было душевных движений никак не отличался, и спокойно брата оставил — с собою самим наедине. Странное дело: Лев точно был лишний, мешал он тому, что так внезапно сейчас привиделось Пушкину. Да и в самом деле — никого тогда не было, а это значит, что и сейчас быть не должно. И даже Мария сама Пушкина тогда не видала. С необычайною яркостью и полновластно встало перед ним это видение девы над морем, открывшееся ему тогда совсем неожиданно. Он спускался с горы и вдруг увидел

Марию — в белой одежде, на невысокой скале, стоявшую к нему спиной и пристально глядевшую в бушующую темную даль.

Он не окликнул Марии тогда, когда она, не заметив его, прошла мимо, и позже об этом ей ничего не сказал: точно какой-то запрет наложил на уста. Твердо он знал, что если об этом начать говорить, то надо и продолжать, надо открыть тогда все… Что именно «все» — этого и про себя Пушкин произнести не решался. Впрочем, того, что не сказано, — у обоих у них было достаточно.

Но в эту минуту, когда снова вернулись — и море, и ветер, гроза, и Мария — все это в нем с огромною силой было готово излиться в живые и точные стихотворные строки. И, однако же, все это прервано было коротеньким зовом:

- Пожалуйте кушать!

Пушкин крепко взял себя в руки и вышел к столу, внешне спокойный и сдержанный, как он иногда это умел.

Напряженность домашних переживаний заметно смягчилась. Теперь оставался лишь Адеркас, и письмо к нему было как твердый орешек, который не вот-то раскусишь. Посланный Осиповой все еще не возвращался…

За обедом был гусь и, по случаю проводов, даже бутылка вина. Старшие были задумчивы: хотя б и на несколько дней, все же было им беспокойно расстаться с возлюбленным Левушкой. Александр поглядывал порою на мать, и, как ни коротко было мгновение это, — там, на крыльце! — на сердце теплело. К отцу за столом, однако же, он не обращался, не принимая участия и в обсуждении новости о женитьбе Волконского.

Выпив вина, Сергей Львович заметно оживился и снова обрел способность шутить. На замечание Надежды Осиповны о том, что жениху клонит уже к сорока, а невесте нет еще полных и двадцати, он отозвался очень причудливо:

— Как-то раз я спросил у одной деревенской старухи: «По страсти ли, бабушка, вышла ты замуж?» — «По страсти, родимый: прикащик и староста собирались меня до полусмерти избить!»

Пушкин вдруг встрепенулся что-то сказать, но сдержался. Зато совсем простодушно отозвалась Ольга Сергеевна:

— А кто ж та старушка?

Вопросы женитьбы, замужества живо всегда ее интересовали.

— А она порядком-таки помоложе тебя, ты ведь слышала, — ответил отец, не отказав себе в удовольствии поддразнить Ольгу.

— Но ведь Марию Раевскую никто же не принуждал, — заметила мать. Пушкин ответил серьезно и сам для себя неожиданно:

— Иногда принуждает судьба.

Это и было его единственным откликом на весь разговор.

Лев не умел собираться. Все за него надо помнить, и на укладку позвали Никиту Козлова: за ним была слава долголетнего путешественника; руководила же им Ольга Сергеевна. Братья вышли пройтись. Они еще раз горячо обо всем переговорили. Александр произнес и прощальные строки; Лев был стихами растроган и поклялся, что сделает все для побега.

— Не вышло у нас, как мы условились, но я тебя все-таки провожу до Тригорского, — сказал Александр. — А примечание об осле и о дядюшке выбрось!

Тут Лев огорчился и очень просил, чтобы оставить про дядюшку. Но Пушкин уже не хотел теперь обострять и без того напряженных отношений со старшими.

Младшего сына родители провожали по старине, следили, чтоб кто-нибудь не сел возле печки. Побыв так в молчании, поднявшись, крестились на образа, крестили друг друга и длительно целовались. Сергей Львович из сюртука вынул платок; на этот раз был он действительно влажный.

В Тригорском, куда они подкатили, когда уже было темно и окна светились между деревьями, проводы вышли другие. Здесь не одна на столе стояла бутылка, и Левушка, крепко подпив, сильно шумел.

— Честью клянусь! — возглашал он, поднявшись. — Что Петербург! Мысли мои и сердце мое — здесь, между вами!

— Сейчас из гондолы в гондолу, гляди, перепрыгнет! — смеялась Евпраксия.

— Что правда, то правда, Зизи: из Петербурга на рождестве перепрыгну сюда и буду вас всех целовать… Честью клянусь!

Вечер был шумен и весел. Левушка рассыпал свои шутки девицам, но, однако же, с Прасковьей Александровной о чем-то успел поговорить — и серьезно, и лицо у него было весьма озабоченное. Милого брата Лев обнимал без конца и в ухо шептал на прощанье:

— Ты меня не суди! Я ведь хочу, чтобы мирно… чтобы все обошлось… Я так и расскажу в Петербурге… А перстень исправлю, я его взял… Я привезу его сам…

Пушкин заметил и эти таинственные переговоры с хозяйкою дома, и смущение Льва; его настойчивый шепот наводил на размышления. Однако же брата он ни о чем не спросил.

Когда отшумела коляска, Прасковья Александровна, не без робости, задержала Пушкина перед домом.

— Вы знаете: неудача, — сказала она. — Егорка его не застал.

— Кого не застал?

— Губернатора.

— Но оставил письмо?

— Нет, не решился. Письмо у меня.

Пушкин молчал. Лица его в темноте не было видно. Быстро скользнуло о брате, — что это значит: «Я расскажу, что все обошлось…» Точно он знал уже…

— Льву вы сказали?

Прасковья Александровна ничего не ответила. Что ей сказать, когда весь этот план обдуман был вместе со Львом… Стояла она в темноте и смертельно боялась, что Александр обо всем догадается и впадет в гнев.

Но Пушкин ничем себя не обнаруживал, и молчание длилось.

— Мамочка, спать! — послышался зов из окна.

Эта Зизи вечно некстати! Мать подошла, приказала ей спать и захлопнула раму.

Но когда она возвратилась к месту беседы своей с Александром, его уже не было. Лишь в отдалении, по направлению к Сороти, слышен был его энергический шаг.

Глава девятая

ПРОСТОРНАЯ ОСЕНЬ

Через несколько дней уехала, в сопровождении Михаилы Калашникова, и Ольга Сергеевна. Пушкин простился с ней нежно. В эту осень она была очень мила и даже, при всей своей обычной расплывчатости, проявила по отношению к брату горячее чувство, не поддаваясь родителям, а порою и прямо им противореча.

Казалось бы, если сравнивать с поведением Льва, Ольга заслуживала и большего уважения. Но, странное дело, болтушка и дипломат, и даже просто вралишка, — Левушка все продолжал занимать в сердце старшего брата более крепкое место, чем занимала сестра. Юная живость его и порывистость, может быть, чем-то Александру напоминали и собственные его петербургские годы… И он уже слал ему с отъезжающей Ольгой письмо — веселое, полное шуток и непринужденностей.

Он поддразнивал брата и Анною Вульф, за которою якобы начал сам ухаживать, и тем, что ревнует будто бы ее к нему и бранит его перед нею, и запрашивал, шумит ли Питер и что «Онегин»; и журил, вспоминая вечер отъезда, за чрезмерное пристрастие к винам, стращал, что из него может выйти подлинный ветрогон, пустельга; и наказывал, чтобы прислал по длинному списку: и книги Лебрена — оды, элегии, и серные спички, и карты (и, чтобы Лев не спутал с географическими картами, добавлял: «т. е. картежные»), и «Жизнь Емельки Пугачева», и «Путешествие по Тавриде» Муравьева, и горчицы, и сыру, и тут же бросал: «Что наши литературные паны и что сволочь?»

Но в беглом и пестром этом письме он сообщал и о своих стихах из Корана и, как бы вскользь, давал наказ и о важном: «Скажи от меня Жуковскому, чтоб он помолчал о происшествиях, ему известных. Я решительно не хочу выносить сору из Михайловской избы — и ты, душа, держи язык на привязи». Этим завершалась ссора с отцом; так погашалось и письмо к Адеркасу.

В ту ночь, когда проводили Льва и Пушкин, покинув Прасковью Александровну, ушел один в парк, он решил было гордо настоять на своем и отправить-таки злосчастное послание свое к губернатору. Он просидел тогда около часа над Соротью. В ночной тишине было слышно, как глубоко внизу плескалась река, смутно поблескивая, струясь. Тишина нарушалась порой единственно разве легким похрустыванием хрупких сучков: сонная ворона завозится па верхушке старой сосны, белка проскачет иль осторожно пройдет по земле какой-нибудь мелкий зверек. Пушкин не думал об этом и едва замечал, но деревня и ночь непроизвольно, должно быть, его умеряли всем ходом своей молчаливой и органической жизни, и постепенно возбуждение его спадало, сменяясь спокойным раздумьем. Что же… не вышло? А может быть, так и вернее. Судьба?

Решительный и экспансивный, Пушкин порою покорствовал случаю. Впрочем, сейчас это не был и случай. Он очень подозревал, что дело не обошлось без участия Осиповой: об этом говорило и самое ее замешательство, и смутное поведение Льва. Но главное было: отец уступил и отказался от принятого им на себя поручения.

Прасковья Александровна утром взглянула на Александра и робко и испытующе, но Пушкин, как если бы ничего не случилось, был ровен и прост. Послание свое к Адеркасу он взял себе, никак этого ей не пояснив. Впрочем, мало-помалу она и сама поняла это молчание.

Пушкин теперь писал из Корана. Сочетание буйных видений и веянья рока были теперь ему близки. Недаром он тем же словом «судьба» отозвался и на помолвку Марии Раевской: «Иногда принуждает судьба».

Пушкин наутро перечитал еще раз послание Волконского. Он не чувствовал большой симпатии к этому добряку генералу, казавшемуся ему довольно-таки недалеким, и отчасти его раздражало это неравенство лет. И к чему еще это заступничество за Александра Раевского: «По опыту знаю, что он имеет чувства дружбы — благородной и неизменной обстоятельствами». Пушкину было смешно, когда князь ссылался на «опыт» свой: его так легко было всегда провести… А между тем он еще и предостерегал от тех сплетен, «кои московские вертушки вам настряпали»: так и милая Вера Федоровна попала в «вертушки» и сплетницы!

Но все же в сером и вялом этом письме были особые строки, которые заставили Пушкина задуматься по-настоящему, ибо падали они как раз на бродившие в нем тайные замыслы. Волконский писал: «Соседство и воспоминание о Великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова будут для вас предметом пиитических занятий, а соотечественникам вашим труд ваш — памятником славы предков и современника».

Пушкин князя Сергея Григорьевича хорошо понимал: речь шла о политических вольностях, забытых в седой старине и о которых напоминать надлежит. О том же псковском народе, утратившем свои вольности, и говорил ему в Кишиневе, и писал из тюрьмы Владимир Федосеевич Раевский…

Однако же Псков, куда через реку Великую текли и негромкие воды ночной его Сороти, по-другому уже говорил поэтическому воображению Пушкина. Он оставил давно свои романтические древнерусские замыслы. Все сильнее манила теперь эпоха Бориса, куда более сложная, равно для него историческая и современная…

Пушкин отнюдь все это время в деревне не жил одним только личным, как бы в нем горячо оно ни протекало. У него так бывало всегда, и когда тому же Адеркасу, при свидании с ним, шутливо он говорил, что решил хорошенько сначала отмыться в реке от кишиневских своих анекдотов, он лишь наполовину шутил. Он всегда отдавал себе ясный отчет, какою пустой и легковесной должна была выглядеть его жизнь для постороннего взгляда (и не очень о том беспокоился), а между тем все эти годы на юге — что ни день, внутренне он вырастал. И оттого в молодом человеке, порою столь ярком и легкомысленном, а то и вызывающем даже, был и другой человек — много старше, и рассудительней, и холодней. Но, однако же, это не было двойственностью, это было единством. Только то, что в других смешано вместе и тепловато, — держалось в нем очень раздельно, взаимно крепя обе крайности. И самая сложность его потому была органична, проста.

И все же горячее одиночество той поры, лишь изредка прерываемое политически острой беседой с кем-либо из друзей, не создавало тогда необходимых условий для творческих замыслов, шедших и дальше и глубже очень личных его тревог и раздумий, дерзаний. Здесь, на просторе деревни, все было иное, и только в той тишине, которая наконец-таки обещала сделаться полной, могло отстояться, созреть нечто действительно крупное.

Да и вообще после города — после раннего Петербурга, равно и мятежного и нездорового, после шумного Кишинева и напряженной Одессы с яркими их, но и отчасти пустыми волнениями; после всего этого «света» — зыбкого скопища праздной толпы, где глубина в отношениях между людьми и подлинность чувства не только были необязательны, но являлись, пожалуй, лишь проявлением дурного тона, где все было скученно, шумно и одновременно натянуто, — после вздыбленного этого бытия наконец-то на смену ему

возникали простор горизонта и тишина, ощутимая поступь календаря и природы, руководившие людскими деяниями, простыми и неторопливыми, полными житейского смысла.

Так и эти строки в письме князя Волконского для него прозвучали особенно: напоминание живой русской истории. А русских людей и старую Русь он любил. Только на днях брату писал среди других поручений: «Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин. Что он за нехрист? он русский, из перерусских русский». Так Фонвизина ему было жаль даже по фамилии отдалить от России!

Как и всегда в преддверии большой работы, когда само время как бы стелет обширное свободное полотно общего замысла, всякая мысль, впечатление, воспоминание, которые как-то сопряжены с центральною темой, ложатся особенно ярко, как первые живые конкретности, и оседают они в изумительном чувстве пропорции именно там, где им и зажить.

Мысли его о Марии были сжаты и кратки, он не давал им простора. Так ставят точку после короткой решающей фразы: «Отвергла». Далее он ничего не вскрывал, не пояснял и самому себе: что, собственно, значит «отвергла», и какие у него могли быть права, и как же могло быть иначе…

Но чем далее было от основного этого факта, тем более живо возникало вокруг… Так он вспомнил другого «отвергнутого», который, впрочем, Марии делал уже и действительное предложение: граф Олизар, польский поэт и масон. Он к нему было начал послание, но и здесь, странно, тема любви отлетала, и перо, как бы само собою, чертило легкие наброски о взаимоотношениях поляков и русских: то самое, что его занимало в эпохе Смутного времени, в которую все более погружался… Так послание это и осталось незавершенным.

Но отсюда шли мысли о примирении народов, близких по крови и языку: славян и славян. А под конец он вздохнул и о юношеских своих мечтаниях — о вечном мире между народами вообще. И в памяти живо возникла столовая в доме генерала Орлова: опять Кишинев… И уже не Мария, а блистательная сестра ее, властная красавица генеральша Екатерина Николаевна: генерал командовал дивизией, она же командовала генералом. Недаром в семейных альбомах изображали ее с розгой в руках, а муж перед ней на коленях…

Пушкин думал и раньше уже о Марине, сопутнице самозванца. Он видел на юге и знал многих полек, у него было достаточно красок, легких, живых и очаровательных, чтобы придать ей национальный ее колорит, но ему нужна была — властность! Образы емки, они не портреты, в них, как ручьи, воды стекаются с разных сторон: так и Екатерина Раевская органично вступала в образ Марины.

…Взгляни на милую, когда свое чело Она пред зеркалом цветами окружает,
Играет локоном — и верное стекло Улыбку, хитрый взор и гордость отражает.

Это был Киев, февраль и Контракты, и это был точный портрет, хоть и всего только легкий набросок: молодая красавица собиралась в тот день на традиционный бал, дававшийся предводителем дворянства во время знаменитой киевской ярмарки.

Дверь в ее комнату тогда была приоткрыта, и Пушкин позволил себе пошутить:

— Вам, кажется, недостает только алмазного венца!

Екатерина Николаевна чем-то внезапно была раздражена, рассердилась на горничную, и Пушкину, не оборачиваясь, ответила с запальчивым вызовом:

— Как знать, быть может, вы и правы!

Бог весть, что она в это вкладывала, по честолюбие ее обнаружило в эту минуту свою высокую пробу.

Нет, в послании к Олизару не было красок, это были лишь общие мысли, не образы… Эти широкие картины истории подлежали вовсе иному художественному воплощению. А вот образ Марины встал как живой.

Так, цепляясь одно за другое, многомысленно, сложно, ища своего места в обширном замысле целого, бродили в поэте отдельные мотивы и образы — перед тем как улечься в гармонически единое целое.

Будущее произведение — это Смутное время и самозванцы, поляки и русские, царь и бояре, народ — все это перерастало в нем личную его жизнь и события этой внутренней жизни, во многом питаясь, однако же, ими. Это была большая задача. Своим «Борисом» он хотел дать историю, как ее понимает поэт; и одновременно лелеял мечту ввести на театр взамен напыщенной декламации живую и напряженную жизнь; и первее всего заботился он о той большой простоте, которая сочеталась бы и с ясною глубиною событий. Уже и в «Цыганах» своих испытывал он диалог живых чувств и страстей, но как все было здесь шире, труднее и увлекательней. И насколько ответственнее и перед собою самим, и перед читателем, до которого наконец ему было дело: и важное дело, нешуточное! История, летописи, смена картин, подчиненная единому плану, — это было существенно ново для манеры его письма вдохновение и труд здесь должны были быть особенно нераздельны.

И деревня ему предоставляла не один лишь простор, и тишину, и возможность сосредоточиться.

Здесь были прежде всего целые пласты живой человеческой речи. Он с жадностью слушал и впитывал и складную, теплую речь своей няни Арины Родионовны, и деревенский северный говор, разлитый вокруг и сохранивший во многом первоначальную свою простоту и энергию. Любил он деревенские песни на вечерней заре. Как холсты, расстилались они по берегу озера, и в самом их ладе просвечивал явственно старый уклад, живое минувшее.

Помещиков он не любил и скоро отвадил их от себя, сказываясь в нетях… Ни Пещуров, ни Рокотов, ни им подобные персонажи его не соблазняли, но вот духовного своего соглядатая, игумена Иону из Святогорского монастыря, хотя и остерегался он, но ничуть не чурался. Что с него требовать? Монах этот был ему не отец и не дядя, не сват. С ним можно и выпить, он был балагур и присловник, а помимо того, многое знал любопытное о старине, и у него же Пушкин глядел монастырские книги и записи, любопытные местные документы; через него приоткрывалась отчасти и роль духовенства в старой Руси.

Теперь перед Пушкиным вставали уже и отдельные лица будущей его трагедии, он слышал порою в себе тайные их интонации… И игумен Иона также просился лечь под перо.

И как в песне «лад» и «уклад» были связаны между собой неотрывно, так и тут иногда какой-нибудь выразительный один поворот в говорке монаха Ионы нечаянно приоткрывал тайный ход его мыслей. Так обнажался тем самым и прикровенный внутренний мир, присущий, конечно, далеко не ему одному, а и всему сословию в целом, игравшему такую крупную историческую роль. Так лукавая простота в присловьях и шутках чертила свою сложную линию по сочетанию небесного не только с сугубо житейским, но и с «мирским» — в очень широком значении этого слова.

Пушкин однажды, где-то между своими «Цыганами», зачертил этот монашеский профиль, и вышел Иона не простецом и отнюдь не забавником: высокий клобук придавал ему строгость, и весь склад лица в бороде не был лишен сознания собственной значимости.

Много проще был сельский маленький попик с Воронича, по фамилии важно — Раевский, а по прозвищу просто-напросто «Шкода»! Правда, что Шкода прокудил не столько на стороне, как у себя на Поповке, и скорей всего был простой хлопотун-неудачник и егоза, убыточил он, изъянил и портил преимущественно собственное свое добро, вынуждаясь тем

лишь к попрошайничеству и оживленным поборам. Кажется, что и ему был наказ: елико возможно приглядывать за ссыльным поэтом. Но это «елико» было весьма невелико, и поднадзорного Пушкина просто житейски он забавлял.

И недаром Александр Сергеевич брата просил прислать ему и «Жизнь Емельки Пугачева», а вдогонку, в другом письме, еще хотя бы и сухое историческое «известие о Сеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории»: оба они у народа были в памяти живы. Еще путешествуя в казачьих степях на Дону вместе с Николаем Раевским, слыхали они песни о Степане Разине, которого он, описавшись в письме, назвал Сенькой, а Пугачев не раз поминался в их разговорах с Прасковьей Александровной…

Пушкин любил с ней поболтать. Через Осипову прежде всего многое ему открывалось в жизни деревни; она знала округу на сорок и более верст, помнила и старину. А впрочем, эта милая женщина и хорошая хозяйка имения любила потолковать и на более широкие темы. Так, сельское хозяйство страны требовало коренных улучшений, однако ж для этого не было ни денег и ни кредитов, а цены на хлеб между тем падали из года в год. Соседи боялись всякого вольного слова, страх «пугачевщины» мешал и спокойному сну. Но Пушкин и о крестьянских бунтах думал по-своему, и отчасти было ему даже приятно глядеть, как и Осипова, блестя молодыми глазами, махала своею полною ручкой:

— Мало ли что бывало в истории, да и то ль еще будет!

Это было, конечно, по-женски чуть легкомысленно, но это уже не было узко. Не только гоняла на корде она лошадей в юные годы свои, но и прилежно читала историю Рима и Византии. Этот, не сжатый одним горизонтом имения, ее кругозор нравился Пушкину, как особая редкость у женщины.

Однако же именно в этом своем домоседстве она и черпала силы: политика, дескать, вроде погоды — может быть вёдро, а могут быть и бури, а дереву надо иметь только крепкие корни: тогда устоит.

А прочная женщина наша Прасковья Александровна! — где-нибудь на гумне, около риги, говаривали про нее мужики и, может быть вспоминая ганнибаловские крепостные гаремы, добавляли, посмеиваясь: — Хорошо уж и то, что хоть баба, а не мужик!

Так, стремясь и теперь, не молоденькая, быть в уровень с веком, вместе с детьми обучаясь даже английскому, спокойно хранила она черты старого быта, нимало их не чураясь и не стыдясь. И деревенская устойчивость эта, цельность, уверенность, «природность» какая-то также производили на Пушкина впечатление, отчасти его и покоряя.

Был и еще небольшой домашний мирок, где Пушкину также дышалось тепло. Всегда он любил заглядывать к няне, няня же часто бывала и в девичьей. Больше того: комната эта, просторная, светлая, с опрятными пяльцами, с подушками для плетения кружев, с дробными звуками от протыканья иглою или булавкой бумаги, с ритмическим говором звонких коклюшек, с девическим ровным дыханием, быстрыми взглядами и шелестом шепота, — была эта горница настоящею резиденцией няни.

После отъезда сестры, вместе с Михайлой Калашниковым, Пушкин теперь, бывая в Михайловском, заглядывал сюда почаще. И каждый раз, как переступал он порог, бывало ему почти непостижимо: откуда у простой этой девушки Оленьки, дочки Михаилы, такая лебединая нежность и снежная белизна шеи и рук, о каких разве поется лишь в песнях, которые не уставал он и слушать, и заносить на бумагу?

И так велика была эта сила деревни, притягательность жизни — простой, близкой к природе, жизни самой по себе, не опалявшей одними лишь воспоминаниями, что даже самые жгучие личные темы ложились вдруг почти по-былинному — легко и песенно: как если бы действительно обожженную руку окунуть в прохладный ручей. Ребенок и мать… — даже и

эта тревожная дума, как после порогов река, сквозила зеркально и просто, обертываясь свежим дыханьем возможной любви…

Как недавно совсем, и вовсе почти непроизвольно, в живом полуговорке прозвучали эти легкие строки — просто как бы о старой семейной истории, словно бы только прямой отголосок его посещения деда Петра. Он и теперь, открывая масонскую свою тетрадь, задерживал взгляд на коротеньком этом наброске:

…Как жениться задумал царский арап, Меж боярынь арап похаживает, На боярышень арап поглядывает, Что выбрал арап себе сударушку, Черный ворон белую лебедушку, А как он, арап, чернешенек, А она-то, душа, белешенька…

И были эти стихи, недаром по складу народные, конечно, теплей и интимней, чем просто некая «бывальщина». Так и в самом сокрытом, личном его уголку проглянула, вдруг затеплев, старушка-история, которою он так жадно дышал все это время. А впрочем, с такою же правдою можно было б сказать и иначе: так даже и в давней истории, не мертвой отнюдь для него, сквозило живое и личное. Однако ж и личное это, теряя в своей остроте, делалось мягче и простодушней в няниной девичьей, как если бы Пушкин и сам попадал в нехитрый узор под быстрыми, легкими пальцами Оли Калашниковой.

И няня среди своих подопечных, с походкой вразвалку, но и с быстрым, внимательным взглядом, то немного подварчивая, то с веселою шуткой или забавною важностью, — не была она только предлогом, чтобы проскользнуть ему к девушкам: она и сама мила была Пушкину, как живое дыхание детства.

Пушкин любил вспоминать свою подмосковную, принадлежавшую бабушке Марии Алексеевне Ганнибал (впрочем, называли ее, и сама она так писала, — Ганибалова, так выходило больше по-русски). Сергей Львович деревни не особенно любил, но Мария Алексеевна и Надежда Осиповна подолгу живали в Захарове, оставаясь иногда и зиму. Дети летом пребывали в одном из флигелей, и лишь с холодами переселяли их в большой дом со старою мебелью из красного дерева, креслами с сафьянными подушками, многочисленными зеркалами и прочим богатым убранством, сохранившимся от лучших времен.

В усадьбе был парк, густой и тенистый, фруктовый сад и аллея. Все это в прошлом: и само Захарово, и лицейская комната, где он вспоминал этот родной уголок:

…Мне видится мое селенье, Мое Захарово; оно С заборами в реке волнистой, С мостом и рощею тенистой Зерцалом вод отражено. На холме домик мой; с балкона Могу сойти в веселый сад, Где вместе Флора и Помона Цветы с плодами мне дарят, Где старых кленов темный ряд Возносится до небосклона И глухо тополи шумят…

И вот деревня другая, ставшая такою же родною и милой, и опять вместе с ним его старая няня. У нее прибавилось много морщин, но она сохранила всю свою былую живость, и от нее шло неизменно природное ее душевное тепло. Бабушку Марию Алексеевну он очень любил, она же его научила и грамоте, но как весело было порою от занятий убежать именно к няне, где не надо было ни подходить к ручке, ни шаркать перед нею ногой:

…Или, для развлеченья, Оставя книг ученье, В досужный мне часок У добренькой старушки Душистый пью чаек.

Это было и осталось любимым развлечением самой няни — не спеша и с наслаждением пить чаек с широкого плоского с золотою каемкою блюдечка, и непременно самый горячий, на который надо подуть да подуть, длительно предвкушая наслаждение. И пока пьет душистый, из барской заветной шкатулочки ей подаренный чай, няня и молчалива, и даже важна, но как зато после сыплет она деревенскими новостями

…В котором огороде Капуста цвет дала, Фома свою хозяйку Не за что наказал, Антошка балалайку, Играя, разломал, — Старушка все расскажет; Меж тем как юбку вяжет, Болтает все свое; А я сижу смиренно, В мечтаньях углубленный, Не слушая ее…

Пушкин помнит, что и тогда еще, как писал свой «Городок», радовался, как легко входили в стихи деревенские словечки самой няни: «досужный часок», «пропасть наболтает», «все сведает», «не за что»… Правда, он будто бы слушал всю эту нянину болтовню в пол-уха, но вот, однако же, все и запомнил: ведь это было большое несчастие, когда капуста шла в цвет, а не завивалась в кочан…

Теперь они были на равных правах: и он ее слушал, и она его. Он часто читал ей свои стихи:

…Но я плоды моих мечтаний И гармонических затей Читаю только старой няне, Подруге юности моей…

От няни же в свою очередь он слышал много воспоминаний и о ее собственном детстве. Отец ее был приемышем у бездетного пожилого крестьянина Петра Полуектова; он у него вырос, женился и обзавелся семьей. А когда жена Петра умерла, тот обвенчался второй раз с «пасечницей» — вдовою Настасьей Филипьевной, у которой были свои дети. Так и жили одной большой семьей — «мала куча»! Но семья была дружная. Настасья Филипьевна не различала своих детей от ребят приемного сына, и была им и «бабушкой» и няней одновременно. «По мне, все ребята — как пчелы, — говорила она, — их и сам бог не различит». Маленькая Ариша любила ее и от нее переняла науку любви к малышам.

— Вот какая, мамушка, ты особенная, — говаривал Пушкин, — у меня бабушка Марья Алексеевна да еще и ты, а у тебя и бабушка и няня — все вместе, все одна эта Филипьевна! Да она же тебя и медком избаловала, чаевница!

Он даже няню в «Онегине» назвал Филипьевной, но приписал ей черты и самой Арины Родионовны: «Мне скучно. Поговорим о старине». «О чем же, Таня? Я, бывало, Хранила в памяти немало Старинных былей, небылиц Про злых духов и про девиц…»

— Мамушка! А ведь это я с тебя написал! — воскликнул раз Пушкин, прочтя ей сцену между Татьяною Лариной и ее няней, и очень радовался, видя, как закраснелись ее морщинистые щеки.

В Михайловском обедали поздно. Пушкин писал до обеда (чаще всего записки свои, которые очень его увлекали), после обеда ездил верхом (ходить было грязно, и он просил уже Льва прислать ему, наконец, калоши), а вечером, когда не оставался в Тригорском, куда наезжал очень часто, от родительской скуки перебегал прямо к няне и стучал ей в окно.

Это был маленький флигелек для приезжих, но за последнее время никого что-то не было, и няня с лета еще осела там прочно, живя как бы своим малым домком. Давно уже осень, скоро зима, а она все еще там, благо есть грубка и дров для нее надо очень немного. Двухкомнатный маленький домик с коридорчиком посередине ютился на самом краю обрыва. Нынешней теплою осенью второй раз набухли почки сирени и глядели, царапаясь, в стекла окна. Тут было тепло, в то время как в барском доме так и махнули рукой на дымившие печи. На лежанке в углу, свернувшись в клубок, дремал завсегдатай: серый разъевшийся кот. Он чуть раздвигал узкие щелки, узнавал, что знакомый, и неспешно повертывался на другую сторону, снова замыкая глаза и загибаясь улиткой. Пушкин взбирался и сам на лежанку. Ветер потряхивал ставни, шуршал соломою кровли. Иногда выпивали оба по рюмочке: Арина Родионовна сама угощала милого гостя.

Они много болтали, но не стеснялись и помолчать. Впрочем, такие минуты не были часты: няня была очень словоохотлива и знала множество разных историй, порожденных

народной фантазией и переходивших от поколения к поколению. Это были и волшебные сказки, и похождения разбойников, и похищения девиц.

Няня всегда за работой: вязала чулки, либо вязёнки, или чистила волну, или платала старую юбку; но когда сказка ее самое начинала то завораживать, то волновать, на работу она уже не глядела, и глаза ее устремлялись прямо перед собою: как бы действительно видела то, чего не бывает. И говорок ее был крепкий, природный:

— Тут Царевич наш думал да думал и на конец того говорит: «А ну его, мать его так! Повесить так повесить: не дюже-то голова моя дорога». А Марья Царевна и говорит: «Не печалься ты, говорит, Иван Царевич, скинь портки, повесь на шесток, а завтра возьми молоточек, да и ходи около церкви: где лишне — отрежь, а неровно где — приколоти…»

Пушкин смеялся, но Арина Родионовна продолжала хранить серьезный и сосредоточенный вид:

— И говорит Марья Царевна: «А ну, убежим!» И плюнула три слюнки на окно Ивана Царевича да три слюнки к себе — сели верхом и ускакали. Поутру послал царь к Ивану Царевичу: «Что ты, Иван Царевич, спишь ли ты али думу думаешь?» — «Думу думаю», — отвечают тут слюнки…

Но особенно Пушкину нравился рассказ о попе и Балде и вовсе был очарован поэтической сказкою о царе Салтане:

— И говорит корабельщикам мачеха: «Это что за чудо, а вот чудо: у моря у лукоморья стоит дуб, а на том на дубу цепи из золота, и по цепям ходит кот: вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет…»

А кот настоящий давно уж наспался и намурлыкался, спрыгнул с лежанки и лениво играет клубком. И два раза уже прибегала девчонка из дому: «Ужинать, стол накрывают!», «Ужинать, стол уж накрыт!» Но няни нельзя не дослушать. И это не просто забава… «Слушаю сказки,— писал Александр брату Льву, — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!»

Бегло и сжато кое-какие из няниных этих рассказов он тут же записывал, а однажды и набросал перед ними, как бы эпиграф, мотив о коте: «У лукоморья дуб зеленый…» Набросок был короток, но, по обычаю, изрядно измаран, и среди зачеркнутых строк были такие:

…По цепи ходит кот кругом — Не схожий ни с одним котом, Направо сказочку мурлычет, Налево песнь мяучит он.

Так, взяв один эпизод из чудес, задаваемых мачехой корабельщикам, и сочетав его с серым котом на лежанке, мурлыкавшим под нянину мерную речь, он создавал образ кота, говорящего сказки… А впрочем, он тут же и исправлял: «И днем и ночью кот ученый» — «И день и ночь тот кот ученый — Все ходит по цепи кругом». И эти поправки полубессознательно к нему наплывали отчасти, быть может, и от собственного его положения. Что из того, что он и сейчас пребывал на лежанке вместе с котом? Разве не был он здесь одновременно и на цепи; и он многое знает и многому продолжает учиться, но осужден так же кружить в своих мыслях — и ночью и днем…

Так эти нянины сказки и крестьянские песни, история, летописи — все это как раз и восполняло его воспитание, бывшее с детства почти исключительно книжно-французским, а няня и Осипова, Оля Калашникова, деревенские бабы и мужики, с которыми запросто он разговаривал, — вот кто теперь заменил ему светскую нерусскую речь. И было все это спокойно, широко и просто, мерно, свежо и так же ему необходимо, как воздух. Многое ляжет и на бумагу — в эту же зиму, и про многое знает: ждать и хранить до более позднего срока… Так глубоко Пушкин дышал в эту просторную осень — деревней, людьми; так

умерялась в нем острая личная боль и тревога, и так поэтическое его напряжение готовилось влиться в могучее новое русло.

И так вся острота личных его переживаний, и тяга бежать, и ссора с отцом — все было покрыто и собственным его широким дыханием, и осенним простором деревни, раздвигавшим его тесноту; так, подневольный, он находил именно здесь полный свой голос.

Нет, Пушкин не оправдал опасения Вяземского, что может он не устоять «против этой пытки». Выходило даже напротив: в деревенской ссылке своей, часто тоскуя, порою бесясь, одновременно он креп и закалялся.

Теперь оставалось еще подождать только отъезда родителей… Лягут снега — начнется большая работа.

Глава десятая

ДЕРЕВЕНЬКА НА ПАРНАСЕ

И Пушкин и Вяземский — в последнее время оба примолкли. Их переписка после Одессы оборвалась: они не хотели подчеркивать свою близость друг к другу.

Страшился за Пушкина Вяземский отчасти и потому, что судил по себе: он и сам состоял также в ту пору под тайным полицейским надзором — после того, как в двадцать первом году ему запретили вернуться на службу в Варшаву, где его ожидала семья, и он, оскорбленный, подал прошение на высочайшее имя о сложении с него придворного звания. Летом ему очень хотелось перебраться в Одессу. Он «предпочел бы ее всегда, — как писал жене, — всем другим губернским и столичным острогам, потому что есть там солнце и море, два мои божества. Для этого, однако же, нужно знать, каково внутреннее содержание этого острога и каков будет присмотр за мною, потому что если будут караулить там каждый мой шаг, каждое мое дыхание, то мне ни море, ни солнце не помогут…»

Обоих поэтов связывала самая тесная дружба. Если в общественном их положении было нечто общее и оба они состояли под присмотром властей, то и печататься было обоим, пожалуй равно, не так-то легко: и о цензуре всегда был у них живой разговор. Вяземский, сидя в Москве, как- то вздумал затеять борьбу и сообщал о том Пушкину еще в Кишинев. «Твое предложение, — отвечал ему Пушкин, — собраться нам всем и жаловаться на Бируковых может иметь худые последствия. На основании военного устава, если более двух офицеров в одно время подают рапорт, таковой поступок приемлется за бунт. Не знаю, подвержены ли писатели военному суду, но общая жалоба с нашей стороны может навлечь на нас ужасные подозрения и причинить большие беспокойства… Аристократические предубеждения пристали тебе, но не мне, — на конченую свою поэму я смотрю, как сапожник на пару своих сапог: продаю с барышом. Цеховой старшина находит мои ботфорты не по форме, обрезывает, портит товар; я в накладе; иду жаловаться частному приставу; все это в порядке вещей».

Пушкин, конечно, смеялся тогда — весело, по-кишиневски, но ему приходилось подлинно туго; еще раньше писал он Бестужеву о цензуре: «Кланяйся от меня Цензуре, старинной моей приятельнице; кажется, голубушка еще поумнела… Предвижу препятствия в напечатании стихов к Овидию, но старушку можно и должно обмануть, ибо она очень глупа, — по-видимому, ее настращали моим именем; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого вам угодно… Главное дело в том, чтоб имя мое до нее не дошло, и все будет слажено». Вяземский же пробовал печататься и за границей, но ничего из этого, конечно, не вышло.

Однако ж теперь он прервал молчание по особому поводу: он очень был озабочен денежными делами Пушкина. К материальным этим заботам Вяземский также всегда был чувствителен. Правда, он сам был и богат, но дела его сильно запутаны: давний огромный проигрыш в карты над ним тяготел. Минувшим летом все время он канителился с продажей имения и покупщиками — комиссией по постройке храма Христа Спасителя в Москве. В Одессу писал он жене: «То-то будет для меня тяжкое время, как прорвется плотина и перельется через меня около полумиллиона рублей, или перебегут через меня 1200 людей! Страшно и больно подумать, кроме скуки и хлопот: считать, пересчитывать, записывать,

расписываться!» По отношению к Пушкину особенно его беспокоила новая одна неприятность; о ней-то он и сообщал в деловой короткой записке, отправленной им в Михайловское.

В «Московских ведомостях» этою осенью появилось объявление о продаже нового издания «Кавказского пленника» в переводе на немецкий язык, но с перепечаткой всего русского текста. Это издание некоего Ольдекопа не давало возможности Пушкину самому выпустить в свет новое издание поэмы. Московский книгопродавец Ширяев купил у Ольдекопа двести экземпляров книги, уверяя Вяземского, что за право продажи издатель заплатил непосредственно самому Сергею Львовичу. Был запрошен Жуковский, он советовался с Дельвигом, и выяснилось, что все это было прямое мошенничество. «Ольдекоп украл и соврал. Отец мой никакой сделки с ним не имел», — писал Вяземскому и сам Пушкин в ответ на его просьбу прислать доверенность на ведение дела. Но теперь выяснилось, что если б была и доверенность, остановить продажу «ольдекоповского пленника» в Москве уже было нельзя, «потому что здешние книгопродавцы его сами купили, и ведаться должно с продавцом, а не покупщиком». — «А права искать правому трудно». Пушкин прочел новое это известие об Ольдекопе и только выругался: «Плюнем на него и квит».

Но заботы и опасения Вяземского были, конечно, весьма справедливы. «Не надобно же дать грабить Пушкина, — восклицал он в письме к Жуковскому. — Довольно и того, что его давят». И жаловался Александру Ивановичу Тургеневу: «Теперь у Пушкина только и оставалось что деревенька на Парнасе, а если и ее разорять станут, то что придется ему делать?»

Так Вяземский, крупный помещик, думая о материальном положении друга и сам живя на доходы со своих деревень, очень удачно по-своему окрестил деревенькою на Парнасе литературное имущество Пушкина: только собственные строки поэта и приносили ему настоящий доход. Однако ж сейчас Пушкин рассчитывал лишь на издание первой главы своего «Онегина». Этого было мало, и не одна Ольдекопова «плутня» его беспокоила.

Пушкин давно хотел издать книгу лирики, а между тем ранними своими стихами, уже приготовленными к печати, он не располагал, он их «полу-продал, полу-проиграл» Никите Всеволодовичу Всеволожскому — сверстнику своему и приятелю, театралу и музыканту, основателю буйной «Зеленой лампы», которого вспоминал, заезжая к Родзянке, и о котором вздохнул, верно, и Дельвиг в письме своем, как писал: «Квартальных некому бить». «Зеленая лампа» в подпитии не раз атаковала эти «полуночные дозоры»… Всеволожского Пушкин любил, невзирая на то, что отношения их были поверхностны. Вместе они много дурили, чудили и пили. И когда Пушкину пришлось выезжать из Петербурга на юг, он предложил приятелю рукопись свою для издания. Пятьсот рублей он был ему должен — проигрыш в карты, и пятьсот взял себе на дорогу — с тем чтобы Всеволожский издал эту тетрадь и с доходов покрыл бы всю тысячу. Никита Всеволодович обещал не замедлить с изданием, и летом следующего года Пушкин думал уже, что книга его выдана в свет. Но издать стихи опального автора оказалось не так-то легко, и возникал даже вопрос — как и с писанием Вяземского, — не отпечатать ли книгу в Париже. Это издание также не состоялось.

Он хотел теперь эту свою рукопись выкупить и, хотя намеревался взять из нее лишь очень немного, писал о том Всеволожскому: «Продай мне назад мою рукопись — за ту же цену 1000 (я знаю, что ты со мною спорить не станешь: даром же взять не захочу). Деньги тебе доставлю с благодарностью, как скоро выручу». Вдогонку за этим письмом писал и Бестужеву с просьбой повидать этого «лучшего из минутных друзей моей минутной

младости» я напомнить ему — «милому, беспамятному эгоисту» — все о той же тетради стихов, которая так у него залежалась.

Не раз с карандашом посиживал Пушкин, прикидывая строки, листы и рубли — возможный доход. В эти минуты напоминал он лицейского Пушкина — кудрявого мальчика — за нелюбимой своей математикой, в которую хоть и изредка, но все ж приходилось вникать.

И вот теперь предлагал ему Вяземский издать и поэмы, и собрание элегий, и отрывки из «Онегина», и под конец полное собрание, и еще развивал свою мысль о «деревеньке»: «Вот тебе и славная оброчная деревня! А меня наряди своим бурмистром!» Пушкину было бы соблазнительно это, но он не хотел создавать другим неприятностей и, сообщая, что «Онегина» будет печатать брат в Петербурге, просил Вяземского не сердиться, что не отдал ему: «Не сердись, милый; чувствую, что теряю в тебе вернейшего попечителя, но в нынешние обстоятельства всякой другой мой издатель невольно привлечет на себя внимание и неудовольствия». Брату же он поручил сговориться наконец со Всеволожским.

Приближалась зима, а Сергей Львович ни разу и не подумал, как его сын останется здесь и на что будет жить. Все его мысли были сосредоточены на смерти сестры — Анны Львовны. Известие это расстроило его совершенно. Долгие слезы перешли у него в насморк, и он даже заметно похудел от обилия источаемой влаги. Слабая улыбка освещала его лицо лишь при мысли о скором свидании со Львом. Александр взирал на отца иронически, у него самого никаких не было чувств по отношению к тетке, и не без тайной улыбки поглядывал он и на мать: кажется, и ее также раздражало немного это преизбыточество в проявлении скорби.

Впрочем, в качестве последнего наставления остающемуся сыну, когда, после целых суток суеты, возни и ворчания, все наконец было уложено и упаковано, Сергей Львович счел нужным ему преподать несколько полезных советов, в том числе и хозяйственных:

— Ты остаешься здесь один, и это отчасти хорошо… для размышления. Размышление, знаешь ли, возвышает наш дух и очищает. Провидение знает, что делает, и пути его, точно, неисповедимы.

— Гм! Положим, что так… — И Александр улыбнулся не без сарказма.

— И у тебя будет время, — продолжал отец, несколько уже разогреваясь, — обдумать себя и свое положение. Я не требую от тебя никаких извинений. Главное — это то, что происходит в душе, так сказать, перед всевидящим оком. Быть чистым перед собою… Я всегда этому следовал и оттого…

— А Михаила Калашников скоро вернется?

Мгновенное смущение отразилось на лице проповедника. Казалось, вопрос был нелеп и совершенно некстати прерывал его речь, но в то же время как бы он и приглашал самого Сергея Львовича проверить свою чистоту перед собою самим: странная нежность отца к Оле Калашниковой от Александра была не укрыта.

Пушкин-отец сделал короткое глотательное движение и быстро овладел собою.

— Ты про Михаилу… кстати спросил. Конечно, он крепостной, и ты должен распоряжаться им и приказывать. Но это — хозяйственный ум, и интересам нашим он предан всею душой. Ты остаешься один и можешь на него опереться. А впрочем… — Тут он зорко глянул на сына. — А впрочем, я его, может быть, возьму управляющим в Болдино! — Так Сергей Львович хотел в свою очередь припугнуть сына возможным отъездом и Оленьки.

Александр внимательно глядел в угол комнаты: там небольшой паучок хозяйственно бегал по обширной своей паутине. Отец помолчал, проследил его взор и, ничего

замечательного не обнаружив, добавил еще, покорствуя вновь все тем же хозяйственным своим размышлениям:

— Михаила Калашников и Роза Григорьевна — вот два человека, которым я доверяю всецело. И на Розу Григорьевну можешь во всем положиться.

Пушкин в хозяйство совсем не вникал, но людей все же чувствовал по одним даже беглым чертам, невольно им замечаемым. «Хорошенький выбор, — подумал он, — точно: два жулика».

— О, людей надо знать!— закончил отец.— Людей надо видеть и понимать. Это дается не каждому.

Уже и фамильный ларец был уложен. Никита усердно возился с коляской: ей предстояло после деревенского роздыха отправляться в столицу. При редких свиданиях, встречах Рокотов тщательно избегал даже о ней поминать, и имущество это стало казаться как бы выморочным. Во всяком случае, Сергей Львович самым спокойным образом им распорядился…

Пушкин тронул рукою слегка потершийся кузов: это была все же Одесса… Но он не хотел больше воспоминаний.

— Никита! — позвал он.

— Я тут.

Пушкин взглянул на него и не знал, что сказать. Ему просто хотелось назвать его имя, услышать ответ. Но когда он увидел длинноногую эту фигуру с шелковистыми бакенами и все еще загорелым лицом и заглянул в небольшие эти глаза, по-настоящему преданные и вдруг слегка завлажневшие, он почувствовал наконец, что кого-то и он провожает…

Однако ж он только сказал, как когда-то любил шутить в Кишиневе:

— Ну что ж, царь Никита, смотри: блюди дочерей!

Никита был очень по этой части застенчив, и Пушкин не без удовольствия кое-когда поддразнивал его своею вольною сказкой о сорока дочерях Никиты-царя… Но стареющий дядька сейчас очень обрадовался, хорошо понимая, что шуткою этой невеселый барчук вспоминает их дружную веселую жизнь в степях и у моря. Только и он ничего сказать не сумел.

Так постояли они с полминуты в молчании, и Пушкин, тряхнув головой, повернулся и зашагал прямо к дому: садиться, креститься, прощаться!

У Надежды Осиповны было с утра предчувствие мигрени, и она экономила движения и чувства. Расставанье и с ней вышло коротким, сухим:

— Будь умным и не скучай. Не простудись. Мы что-нибудь там охлопочем.

И все же какая-то тень мгновенно скользнула по лицу его: мать отъезжала…

Пушкин стоял на крыльце и глядел вслед отбывавшим родителям. Но вот, как проехали двор, у въезда в аллею коляска внезапно остановилась, и он увидал, как, приподнявшись с сиденья, отец выставил кверху указательный палец: знак, чтобы сын подошел. И Пушкин невольно, как маленький, не подошел, а подбежал к экипажу.

— Вот что забыл я сказать…— деловито вымолвил Сергей Львович. — Печи… ты почини, а то может быть холодно. А холод зимой, знаешь ли… он неприятен. Ну, трогай! — И узеньким пальцем махнул по направлению к козлам, как если б легонько стегнул кучера в спину.

Пушкин стоял обозленный. Надежда Осиповна все же неторопливо успела выпростать руки и, поерошив волосы сына, слабо погладила его по щеке. Пушкин поймал и поцеловал ее пальцы. Но и прощальный тот поцелуй был сух, как осенний лист. Уехали…

Пушкин в тот день долго бродил, отдыхая и наслаждаясь особою тишиной. Он дал себе волю не думать и возвратился — как если бы выкупался.

— Голоден, чай? — озаботилась няня и быстро накрыла поесть.

Все было просто теперь, и стояла она возле стола невозбранно. Лампа горела тепло, в столовой было уютно, в доме просторно.

— Печь будем топить у тебя. Ну, и в девичьей… А этот сарай разве натопишь!

Пушкин кивал головой, на все соглашаясь. Няня ему говорила «ты», как в минуты особенной близости. Все было ладно и хорошо.

— Голубь ты мой, ничего — заживем. — И она обняла его, когда он поел и поднялся, чтобы пойти к себе в комнату: все давние права к ней возвращались.

Подъема в работе, однако ж, особого не было, и тишина эта в доме была еще непривычна, он еще слышал ее. Даже внезапно, наперекор самому себе, захотелось шума и города: родители едут в столицу, в столице уже Ольга и Лев… И все же вечером спокойно присел за листки своих записей: на очереди как раз давний его визит к деду Петру Абрамовичу и как тот угощал его водкой и остался доволен, что внук от него не отставал.

И весь следующий день Пушкин провел у себя, читая, работая. Все время лил дождь, и день в одиночестве оказался много полней и весомей. Не отвлекало ничто. Няня хранила его: в доме царило молчание. И опять хорошо было ночью: и во сне отдыхал, без сновидений. Однако же утром он собрался навестить и тригорских, невзирая на невылазную, топкую грязь. Няня поехала к обедне в Святые Горы: она любила службы в монастыре.

Пушкин ехал верхом, и дробный колокольный звон возвещал по дороге, что обедня уже отошла. Ехал он не спеша. Знакомые бабы кланялись в пояс, мужики снимали шапки. Один старик на рубеже его остановил и попросил огонька закурить. Извинившись за беспокойство, тем временем он вступил и в разговор, повинуясь потребности вымолвить словом то, что томило его всю эту долгую церковную службу:

— Сызмальства деды твердили: «Введеньё ломает ле денье», а поглядишь ты — лед-то еще и не ставал. В зеленях, говорю, ляжет косой — и не увидишь. К чему бы?

Он вынул кисет, размотал и стал не торопясь в нем копаться, набирая по уголкам остатки махорки.

— А к чему бы, ты думал?

— Да уж не знаю. Болтают по-разному. То ли к неурожаю, а то ждут послабления, вроде как крепость народную рушить хотят. Ай неправда? — И он с неожиданной живостью вскинул на всадника маленькие стариковские глазки: в них был свой огонек.

Пушкин глядел на нечаянного собеседника с интересом, но в ответ ничего не сказал. Старик подождал и, видя, что барин не отвечает, так же неспешно ссыпал табак обратно в кисет и начал заматывать шнур.

— Что ж ты не закуриваешь?

— Трубку забыл. А по-солдатски, крученую, — грамотки нету. — И будто бы с вызовом, так неожиданно, почти прокричал: — И, говорят, Санкт-Петербург, с божьею помощью, начисто смыло, одно только место осталось… Вот — как ладонь. — И, сдунув с корявой руки пыль от махорки, хлопал себя по штанам.

— Я ничего не слыхал… А нету бумаги — на вот, возьми! — И Пушкин достал письмо к Адеркасу, которое так и пребывало в кармане с той самой поры, как взял от Прасковьи Александровны.

Впрочем, па всякий случай он оторвал всего лишь один косой лоскут поперек, чтобы ничего не понять. Ему доставило странное удовольствие истребление этой бумаги: ежели на раскурку годились стихи его, отчего не подымить Адеркасом и Соловками?

Теперь все было в порядке, как синий дымок завился между белых усов. Но того разговора так Пушкин и не поддержал и лишь, обернувшись на повороте, увидел: старик все продолжал глядеть ему вслед. Остаток листа был разорван в клочки и пущен по ветру.

Недалеко от Тригорского Пушкину повстречался верховой. Он передал записку от Осиповой. Прасковья Александровна кратко его извещала, что получены с почтою письма от Льва Сергеевича и от Жуковского, и просила заехать поговорить.

И она отстояла обедню в Вороniче. В руках ее был чистый платочек, и она из него доставала свежую просвиру, вынутую за упокой раба божия Иоанна, как раз когда Пушкин ступил на порог.

— Как вы скоро, однако! Как я рада вас видеть!..

— У всякого, видно, кисет на свой образец, — сказал Пушкин, смеясь и поглядывая на ее узелок с просвиркой. — Я вам привез три предсказания: у нас будет голод, и у нас будет бунт, и в Петербурге потоп.

— Откуда вы знаете?

— От старика. Я по дороге говорил с колдуном.

— Да, в Петербурге потоп, наводнение! Только что в монастыре говорили.

— Ну, тогда и остального не избежать.

Пушкин был весел, письма приятны. И хоть пирог был с черникой, по случаю поста, но тесто зато прямо дышало.

— Только и хорошо в этом посту что название: знаешь, что скоро и рождество. Левка приедет и Вульф; Дельвига жду.

— Да, сегодня уж в церкви в первый раз пели: «Христос рождается, славите…»

За праздничным чаем сидел и заехавший Рокотов. Он также был весел. Роковая одесская коляска, мешавшая ему посещать Пушкиных, наконец отбыла в Петербург. Он убедился в том самолично, когда по дороге на Остров и Псков, где Сергей Львович решил сделать визит губернатору (съездить надо бы сыну, да он не поехал), старшие Пушкины не миновали Стехнова, славной резиденции Ивана Матвеевича: Надежда Осиповна свято верила, что крепкий чай незаменим от мигрени. Об этом теперь он и рассказывал.

— И вашу красавицу матушку в ручку и в плечико… Уж вы извините, но перед женским полом восторга сдержать не могу!

Глазки его блестели, как свежепокрытые коричневым лаком, когда он озирал, по его же определению, «роскошный цветник дурмана и неги». Евпраксия совсем откровенно при этом давилась в салфетку, и даже ее строгая мать, прикрывшись рукою, остерегалась сделать ей замечание, боясь сама рассмеяться. Но Иван Матвеевич не обижался ничуть, даже напротив, он это любил: быть в центре внимания.

— И говорит ваша красавица матушка: «Дайте мне, говорит, крепкого чаю». А чай у меня первый сорт, но только цветочный! А сами изволите знать: чай этот зеленоватый и жиденький. И что ж, недовольна осталась драгоценная матушка ваша, встала и опрокинула все в полоскательницу… И Сергей Львович тут, как заразился, мне начал вычитывать, отчего не купил я коляску. А я говорю: «А на чем бы вы нынче поехали?» Хе-хе-хе-с! На прощанье, однако ж, облобызались: душевно люблю тонких людей! — И вслед за тем непосредственно, от глубины сердца, рассказчик вздохнул:

— Вот и живи на проезжей дороге: все заезжают!

«Ах, болван!» — подумала Осипова и взглянула на Пушкина. Пушкин не дал себе труда сдерживаться и громко расхохотался.

Жуковский писал и Александру Сергеевичу и Прасковье Александровне: оба письма были в одном конверте — на ее имя. Он писал о своем «замешательстве», не зная, что делать,

кого просить и о чем, и что, слава богу, все само собою устроилось, а то он мог бы, пожалуй, лишь повредить. Даже самые выражения в письмах были почти одинаковы. Пушкин живо представил себе: утро, Жуковского, халат и камин, благодушие, лень…

— Чертовски небесная душа у этого полутурка! — воскликнул он и шутливо, и с подлинным чувством, а Прасковья Александровна тотчас же припомнила: «Чертик, будь ангелом!»

Пушкин теперь окончательно ее успокоил, сделав признание, что уничтожил письмо к Адеркасу, и оба они условились завтра писать в Петербург, благо будет оказия и можно послать не по почте.

На прощанье Осипова напомнила, что послезавтра сороковой день кончины тетушки Анны Львовны. Пушкин и тут ответил, смеясь:

— Ну что ж, хорошо, я велю отпеть панихиду или молебен, смотря по тому, что дешевле.

Дома ему няня сказала, однако, что Ольга Сергеевна и ей, уезжая, наказывала, чтобы отслужить непременно заупокойную, если известие о смерти придет без нее…

— Вот и отлично, и поезжай! — А сам пошел спать: была уже ночь. Пушкин всегда брату писал бодрые письма, но в этот раз он особенно развеселился: с отъездом родителей больше ничто не давило его. Уже запечатав письмо, где болтал обо всем, а больше всего о петербургском «потопе», он вспомнил о бочках с вином и, распечатав, приписал и о них, чтобы купил «подешевле и получше. Этот потоп — оказия». Письмо было адресовано Льву Сергеевичу «в собственные лапки»; теперь он прибавил еще у печати, где было надорвано: «Я расковырял!» А няне, которая была озабочена поминанием тетушки Анны Львовны, он распорядился еще и про монаха Иону:

- Да скажи-ка игумену, как будет служить нашу заупокойную: я вчера был у Осиповой и узнал о потопе; так вот пишу Льву, чтобы он наловил в Петербурге вина: бочки по улицам плавают! Как получу, приходил чтоб отведать. И вообще Пушкина очень развлек этот потоп:
…Напрасно ахнула Европа,— Не унывайте, не беда! От петербургского потопа Спаслась «Полярная звезда». Бестужев, твой ковчег на бреге! Парнаса блещут высоты, И в благодетельном ковчеге Спаслись и люди и скоты.

Так он аттестовал, шутливо-размашисто, петербургскую писательскую братию. Но позже, однако же, серьезно он размышлял и о другом. «Закрытие театра и запрещение балов — мера благоразумная. Благопристойность того требовала. Конечно, народ не участвует в увеселениях высшего класса, но во время общественного бедствия не должно дразнить его обидной роскошью. Лавочники, видя освещение бельэтажа, могли бы разбить зеркальные окна, и был бы убыток». И дальше брату писал о розданном правительством миллионе: «Велико дело миллион, но соль, но хлеб, но овес, но вино? Об этом зимою не грех бы подумать хоть в одиночку, хоть комитетом. Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь нещастному, помогай из Онегинских денег. Но, прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного». (В «Инвалиде» печатали фамилии жертвователей.)

И все же веселость Пушкина не убывала, и если разбуженные воспоминания Петербурга, связанные с пиром у Олениных, где юная генеральша Керн изображала Клеопатру, возле которой теснились поклонники, дали ему толчок к раздумью и описанию пира у страстной египетской царицы и у него возник большой стихотворный набросок из причудливо роковой ее жизни, — то теперь, отвечая Родзянке, а через него и самой Анне Петровне, на присылаемые ими приветы, он только шутил, поминая его имение около Лубен и почти повесничая: «Объясни мне, милый, что такое А. П. К…, которая написала много

нежностей обо мне своей кузине? Говорят, она премиленькая вещь, — но славны Лубны за горами. На всякой случай, зная твою влюбленность и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю дело твое сделанным или полу с деланным».

И вспоминал Родзянкину «Чупку»: «Кстати: Баратынский написал поэму (не прогневайся — про Чухонку), и эта чухонка, говорят, чудо как мила. — А я про Цыганку; каков? подавай же нам скорей свою Чупку — ай да Парнас! ай да героини! ай да честная компания! Воображаю, Аполлон, смотря на них, закричит: зачем ведете мне не ту? А какую же тебе надобно, проклятый Феб? Гречанку? Италианку? чем их хуже Чухонка или Цыганка…» Дальше следовала, под веселую руку, и вовсе уже непристойность… странное дело: у Пушкина не казавшаяся таковою… Это было летуче и весело и не носило в себе никакой подспудной и нездоровой эротики. Он, между прочим, вспомнил и брата Порфирия и послал ему поклон.

Перечитывая снова теперь свою «Клеопатру», Пушкин опять уносился мыслью в былое: недаром и здесь, как и в «Руслане», красавицу снова оспаривали трое… Такова была сила полудетских его воспоминаний, как три друга-лицеиста влюблены были в одну — всё в ту же Бакунину, которая мимолетно слилась тогда с образом Керн и о которой недавно как раз писал в записках своих, вспоминая это далекое время…

Эти записки теперь продвинуты были значительно дальше. О жизни, «которую он так любил и которой никогда не наслаждался», он собирался припомнить, как обещал это Льву, не раньше, чем выпадет снег, но зима все еще не становилась, и он вспоминал давний юг непролазною затянувшейся осенью, благо пришло наконец муравьевское «Путешествие по Тавриде». Этот кусочек воспоминаний он, впрочем, писал не на отдельных листках, а в общей масонской тетради и отослал его как письмо к Дельвигу. Воспоминания эти могли быть и статьей; Дельвиг как раз просил его о цензурной прозе.

«Путешествие по Тавриде» оживило в Пушкине много воспоминаний о собственном путешествии по тем милым краям, и легкая грусть все время веяла над этим его письмом. Семейства Раевских он вовсе теперь не поминал. Чаадаев, выйдя в отставку, жил далеко, и мечта попутешествовать с ним вместе так и осталась мечтой. Пушкин хотел бы иметь хотя бы черты его перед собою, но Михаила Калашников, вернувшийся наконец из Петербурга, привез ему поправленный перстень, но не привез портрета Чаадаева. И никак ему даже весть о себе не подать…

Пушкин мысленно сравнивал свои воспоминания с впечатлениями Муравьева. Они были весьма различны. Автор «Путешествия по Тавриде» отводил много места всяческим своим изысканиям, Пушкин же на развалинах храма Дианы сочетал мифологические предания об истинной дружбе с собственными чувствами к далекому другу…

А что, если Дельвигу и вправду удастся напечатать эти странички его воспоминаний, а он поместит там и стихи к Чаадаеву и тем подаст ему весть? Ведь следит же Петр Яковлевич и на чужбине за отечественною литературой? И Пушкин стал припоминать те самые свои стихотворные думы, которые посетили его на развалинах древнего храма. Это не сразу ему удалось. Если бы еще они были раньше записаны! Тогда помнится четче и тверже. Но там ведь они лишь колыхались в душе, как туман, еще не осевший каплями видимой росы. Он тогда именно думал стихами, и отыскать их, поймать было даже труднее, чем находить точную форму, того, что волнует в самый момент создания новой пьесы. Порою перо уводило несколько в сторону, и он должен был его останавливать.

Сквозь запотелые окна видны были деревья, ветер раскачивал их голые сучья. Где солнце и юность?

С настоящею нежностью в этом отрывке о юге Пушкин вздохнул только о кипарисе, росшем у дома в Юрзуфе: «Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти». Обо всем остальном (о многом и многом…) Пушкин умалчивал и только спрашивал друга: «Растолкуй мне теперь: почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?»

Осень в тот год затянулась как никогда. Сороть, усталая, полная, катила свои посеревшие воды. Следя каждый день неспешное это движение, как-то раз, еще до отъезда родителей, он, по контрасту, набросал испанскую песенку для тригорских девиц. Все они были в восторге и единодушно решили, что Верстовский, так хорошо положивший на музыку «Черную шаль», должен непременно написать и этот романс. Алина сама подобрала легкий мотив, а Евпраксия, вспоминая воображаемые венецианские похождения Льва, хлопала в ладоши и восклицала: — Вот счастливчики-то! И в Италии были, и в Испании были!

— Да, в Испании еще лучше: жарче раза в четыре! Только я Левушку в Испанию с собою не брал: молод еще!

— А меня бы вы взяли? А я чересчур молода? — дерзила Зизи, и в глазах у нее загорелись зеленые огоньки.

Пушкин ждал снега, не принимаясь за «Годунова»: все еще завершалась тайная непроизвольная работа внутри.

В Тригорском топили камин, и экран с вышитым гладью гербом дышал стариной. Мать за работой, из детской доносятся негромкие возгласы девочек. Валериан на дворе, и оттого в доме кажется тихо. Случалось, что Анна читала старинный какой-нибудь роман вслух. Ей удавались особенно объяснения в любви — длительные, исполненные чувства и постепенного нарастания. Пушкин угадывал ее интонации, порой ее голос звенел, выдавая и собственное затаенное волнение сердца. Алина сидела за пяльцами, строгая, легкая; линия шеи, склоненной за тонкой работой, была грациозно чиста; кудри, спускаясь с висков, кидали на щеки беглые тени.

Он продолжал питать к этой девушке особое чувство. Когда ее не было в комнате, ему заметно ее недоставало и самый тон его разговора для других опадал. Он издали слышал ее движения в соседней комнате, шелест платья, и звуки эти доставляли ему тайную отраду. Но когда наконец она появлялась в дверях и, окинув ясными, спокойными глазами сидевших, направлялась, по обычаю, к своим пяльцам, его охватывало одно лишь томление невысказанных чувств.

Пушкин любил повозиться с Евпраксией, «померяться талиями»; вольно и дерзко пошутить с бедною Анной, чувства которой тем менее в нем вызывали хоть какой-нибудь отклик, чем более явно они выражались с ее стороны (шутки эти бывали порою грубоваты, ибо его забавляло смущение девушки); он позволял себе задержать полную ручку и самой Прасковьи Александровны; но Алина была отделена как бы прозрачным и чистым стеклом. Все было видно, все было ясно, все музыкально, но неизменно спокойное, ровное ее обращение было как грань, через которую не переступить.

Чувство Пушкина к ней не было страстным, но все же он и досадовал: на нее, на себя — горячо. Чего б он хотел? Его охватило б, пожалуй, некоторое даже разочарование, ежели бы Алина склонилась к нему, — и, однако же, ему было ревниво-печально сознавать, что это

совсем невозможно, в то время как… да, он отчасти ее ревновал к отсутствующему Вульфу: к отсутствующему порою даже острее, чем когда тот был здесь. Он представлял себе со всею живостью, как иногда она уходила гулять, невзирая на погоду, а этот молодец где-нибудь ее поджидал в условленном месте, и как она, возвратившись, садилась не к пяльцам уже, а за фортепьяно, перекладывая на музыкальные звуки разговор своих чувств. Чего же сам Пушкин хотел от нее?

…Не смею требовать любви,— Быть может, за грехи мои, Мой ангел, я любви не стою! Но притворитесь! Этот взгляд Все может выразить так чудно! Ах, обмануть меня не трудно… Я сам обманываться рад! И ей же писал, подражая Андре Шенье: Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает; На девственных устах улыбка замирает. Давно твоей иглой узоры и цветы Не оживлялися…

И далее образом античного юноши, о котором грустят, намекал ей на отсутствующего Вульфа.

Пушкин писал ей стихи. Алина в ответ краснела, молчала, пряча их в книгу, развернутую на коленях; короткое это внимание трогало и волновало его. И все же продолжения никакого не возникало. Да и сам Пушкин, едва возвращался в Михайловское, легко забывал об Алине. Образ ее как бы истаивал еще в дороге, и во все права вступали другие две женщины: близкая Оленька, дыханьем которой исполнен был дом, и далекая мучительная Элиз Воронцова, писавшая скупо и изредка, но умевшая ранить остро и глубоко.

Конец декабря. Снегу все нет. Дом погружен в безмолвие ночи. Топится печь. Скоро и святки. Вульф завтра уже приезжает. Но хотелось бы брата и Дельвига. Ужель не приедут?

Пушкин сидел безмолвно, задумчиво: как если бы убраны комнаты к празднику и не знаешь, что делать; или — на столе ни единой бумажки, и закрыта чернильница, перо не очинено. Он не боялся подобного своего состояния и его не бежал. Вечером он много ходил, была великая грязь, а калош ему брат так и не прислал. Голые ветки глядели в окно. Перед ним возникали пространства: дороги в грязи, станционные домики, Россия, деревня, чужие края. Он даже не знает адреса Чаадаева: брат до сих пор не узнал… Брат вообще ненадежен. Не привлечь ли в свой заговор Вульфа? Может быть, можно удрать через Дерпт?

Но взгляд его падает на талисман, и мысли меняются. «Стих: Вся жизнь одна ли, две ли ночи надо бы выкинуть, да жаль — хорош», — недавно писал он Льву в Петербург и, чтобы не было кривотолков, отдавал распоряжение брату поставить под «Разговором книгопродавца с поэтом» дату: 1823 год — тогда уж никто не приурочит эту строку к Елизавете Ксаверьевне…

Пушкин открыл небольшой продолговатый ларец. Движение это было непроизвольно. И на него тотчас взглянули глаза — прозрачные, ясные, как бы овеянные влагой моря. Стукнуло сердце, но и опало в то же мгновение: живая она — далеко. А между тем в ночной этот час он не хотел обманывать себя призраком. Небольшая стопочка писем, столь мучительно радостных, когда они приходили, в эти томительные минуты не приносила желанной отрады. Оттиск такого же перстня, как у него на руке, хранили дорогие листки. Он медлил их уничтожать, но уничтожить их было необходимо. От печи шел жар, потрескивали, разгораясь, дрова…

Он медлил, а откуда-то из глубины памяти вставала страничка и даже определенное место на ней, как если бы видел глазами… Но припоминал все же по-русски.

«Не сохраняйте и не перечитывайте никогда писем вашей возлюбленной. Самый крепкий дух ослабеет от подобного чтения. Как бы вам ни было тяжело, бросайте в огонь все ее письма и говорите при этом: — Пусть на этом костре сгорит и моя любовь!»

Только, кажется, нет! Это Овидиево «лекарство от любви», которое римский поэт применял и к самому себе, бросая в огонь «предательские письма», — оно не годилось для Пушкина. Но все же именно воспоминание об этих строках Овидия — оно и дало ему как бы последний толчок…

…Прощай, письмо любви! прощай: она велела… Как долго медлил я! как долго не хотела Рука предать огню все радости мои!.. Но полно, час настал. Гори, письмо любви…

Пламя жадно охватывало листок за листком, кипел сургуч, и через минуту на легком пепле свернувшихся листов белели одни лишь заветные строки, которые он знал наизусть. Пушкин наклонился к огню, и хрупкий пепел пристал к его пальцам, когда он коснулся одного такого листка.

Прошла добрая половина ночи. Он встал наконец и, подойдя к окну, откинул легкую занавеску: за окном было бело. Чистый и девственный снег ровною пеленой покрывал все окрест.

Так кончилась осень; так, наконец, вершины парнасской его деревеньки одели снега. Торжественная и спокойная простота повеяла на горячие его отошедшие дни. И, прежде чем лечь, Пушкин присел па подоконник и долго глядел на открывающуюся перед ним новую даль.

Глава одиннадцатая

Святки

«Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи». Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал: «Я читал вашу оду Свобода. Она вся писана немного сбивчиво…»

Пушкин писал; черкал и про себя улыбался. Этот разговор на бумаге с императором Александром доставлял ему большое удовольствие. Он вежливо отводил разговор о своей «детской оде» и предлагал лучше прочесть хотя бы две песни из «Руслана и Людмилы» или первую часть «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан»…

«Онегин» печатается; буду иметь честь отправить два экземпляра в библиотеку вашего величества к Ив. Андр. Крылову, и если ваше величество найдете время…» — «Помилуйте, Александр Сергеевич. Чтение ваших стихов доставляет нам приятное занятие. Наше царское правило: дела не делай, от дела не бегай».

Так сказочным няниным слогом он повторял о безделье царя из давних, но не ее, а своих собственных «сказок»: «Я сыт, здоров и тучен… и делом не измучен…»

У Пушкина давние счеты с тезкой своим — царем Александром. Это хорошо было известно читателям потайных его стихов. Так еще недавно Пушкин писал про него:

…Воспитанный под барабаном, Наш царь лихим был капитаном: Под Австерлицем он бежал, В двенадцатом году дрожал…

Песенку эту переправил он брату с уезжавшим на праздники в Петербург Рокотовым и немного побаивался, как бы «ветреный юноша» этот не затерял письма: ничуть не забавно было в крепость попасть из-за какой-то песенки.

Но сейчас, в этом воображаемом разговоре с царем, что набрасывал Пушкин в тетради, оба собеседника были между собою сдержанно вежливы. Пушкин вел речь и о Воронцове, и почему не мог с ним ужиться, и о своем «афеизме», сводя его на «школьническую шутку» и отчасти обдумывая уже и всерьез, не обратиться ли ему с письмом к Александру. Впрочем, и этот набросок закончил он с мрачной веселостью: «Но тут бы Александр Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего (хоть отчасти справедливого), я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму Ермак или Кочум…»

Но Пушкин писал не «Ермака», а «Бориса», и живая история трепетала у него под руками. Уже ясно ему представлялась сцена на площади между царем и юродивым Николкой, в железной шапке, обвешанным веригами. «Царь, царь идет!» — «Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка». — «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — богородица не велит». И летописец Пимен уже слагал свой ужасный донос на Бориса:

…Прогневали мы бога, согрешили: Владыкою себе цареубийцу Мы нарекли…

Вся эта тема — Смутного времени — не пала Пушкину с неба и не была навеяна ему одним только чтением «Истории Государства Российского» Карамзина, — приспела пора созревать большим исторически-государственным интересам. Отечественная война двенадцатого года, могучим дыханием которой были овеяны отроческие годы Пушкина, нарастание новой общественной волны во внутренней жизни страны, кипение политических споров, страстей в годы его юности — в Петербурге до ссылки, а потом в Кишиневе, в

Каменке, в Тульчине, и все то, наконец, что он видел и слышал за время своих странствий па юге и что передумал об этом, — все это далеко уводило за пределы личного его бытия, хотя и было неразрывно с ним связано.

Все чаще и чаще вспоминался ему кусочек из письма генерала Орлова, который ему сообщил еще на Кавказе Александр Николаевич Раевский: «Везде огонь живет под пеплом, и я очень думаю, что девятнадцатый век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий…» Он много думал об этом и пребывая на юге. Порою казалось, что большие события совсем близки, но предчувствия эти обманывали, и волны как бы откатывались назад…

Но здесь, в деревенской тишине и на просторе, предоставленный себе самому, он видел и современность отодвинутою на какое-то расстояние, — а прошлое, напротив того, как бы приближалось, — и самые мысли его протекали спокойней и глубже; неразрывность событии в нем возникала, и он мыслил большими масштабами времени; и, как всегда, это не были мысли сами по себе, — они были тесно спаяны с живыми, в нем возникавшими образами.

И вот эпоха Смутного времени, эпоха больших событий, когда колебалось самое бытие государства, постепенно и властно его захватила, получая все более явственные очертания, в пределах которых плескались сильные страсти и чувства. Но почему же все-таки именно Смутное время?

Особый интерес именно к этой поре возник у него очень рано, и корни его залегали весьма глубоко: и в семейной хронике предков, и в собственных детских впечатлениях, связанных все с тем же подмосковным имением — Захаровом, которое вскоре он даже помянет, вместе с другим, расположенным неподалеку от него селом, перенеся их к самой литовской границе.

Всего в двух верстах от Захарова была расположена некогда древняя вотчина царя Бориса — село Вязёмы, где сам Годунов выстроил церковь. Там же, позже, был и загородный дворец самозванца, а в нем бывала и Марина Мнишек. Церковь была невелика, по в ее полумраке дышали видения, и мальчик, не отпуская руки бабушки Марии Алексеевны, с жадностью впитывал ее рассказы о тех страшных годах — о настоящей беде Московскому государству.

Снега были чисты, обильны. Всю огромную российскую равнину покрыло одним белым ковром. Пестрота была убрана, реки переходимы пешком. И общим уделом были морозные вьюги. Отчетливей думалось, строже. Судьбы страны и народа выступали с большой прямотою и правдой. Чаадаев далеко. Но были друзья и в Петербурге, и там, на оставленном юге. Вставала фигура полковника Пестеля: профиль, достойный того, чтобы высечь его из гранита.

Когда-то настаивал Пушкин перед Иваном Ивановичем Пущиным, верным другом еще на лицейской скамье, об открытии ему «тайны»; как-то и сам бывал на заседаниях у хромого и милого Николая Ивановича Тургенева в затеянном им «Обществе 19 года и XIX века» с журналом при нем (это тоже было «тайное общество», хоть и не очень оформленное, с Тургеневым и лицейским профессором Куницыным во главе); и памятна Каменка: особливо все тот же волнительный вечер, когда перед ним уже открывались, казалось, заветные двери… и приоткрылись и снова захлопнулись; волей судьбы теперь он и вовсе отрезан и одинок. Где-то другие, на юге и в Петербурге, шагают сплоченной шеренгой, но отчего же не возникает уныния и оторванности, отчего ему кажется, что он и здесь не один — не отстал, не затерян?

Теперь перед ним с особою ясностью вставало в сознании все огромное общественное значение писательского его призвания. Он замкнут был здесь на крохотной территории,

невидимая цепь на дубу позволяла ему лишь недалеко бродить — направо, налево, но он знал хорошо, что он существует, и притом горячо, сразу во многих местах. Одесский «салют» и все путешествие от моря сюда лишний раз его в том убедило. Стихи его были стихами, но это же было и делом — живым горением чувств, посевами мыслей. И ощущение это давало сознание силы и крепости. Путь его ныне оказался особым, иным, чем у друзей, но направление пути было тем же, как и у них, или, во всяком случае, близким.

Как далеко он пойдет? Пушкин такими вопросами не задавался. Он только чувствовал, что эта дорога его пролегала не по пустыне; в деревне, оторванный от общения с товарищами, он яснее теперь, чем когда-либо, ощущал неотрывную связь с творимой историей своих лет. Но, погружаясь в движение и гул Смутного времени, встречно он воспринимал и другие течения, вставала задача: не бояре и царь, а царь и народ. История и современность равно уходили корнями в глубокую почву, и в Пушкине все возрастал интерес к этой дремлющей силе, огромной, доселе лишь изредка прорывавшей глухое молчанье истории яростным криком. Тут все становилось страшней и сложнее и никак не вязалось с простою дворянскою фрондой…

Но здесь же внутренне Пушкин вступал и с собою самим в противоречия. Крестьяне должны быть свободны и грамотны, но эта свобода не есть свобода бунтов: ему было страшно колебание самого государства. И, вопреки тому, было, однако же, в нем и тайное тяготение, обостренный интерес и даже… сочувствие к разинской вольнице, к мужицкому вожаку Пугачеву. Недаром он сам определил Стеньку Разина как «единственное поэтическое лицо русской истории». В народном движении это был вызов, и было в нем вдохновение, размах. Так окольной этой тропкой в себе творчески Пушкин общался с повольниками.

И, крепко слагая теперь свои пятистопные ямбы, он чувствовал сам, как мужал его гений. Даже отсутствие рифмы, допускаемой как исключение редчайшее, лишь помогало ему точней и яснее давать течение событий и мыслей, характеры, лица. Место короткой летучей строки, сжимавшей стремительный образ иль напряженное чувство, занимала теперь правдиво неспешная речь в разговорах бояр и размышлениях Пимена. Он чувствовал, впрочем, в белом стихе своем и затаенную силу буйных страстей. Больше того: он вводил наряду со стихами и прозу, следуя не столько Шекспиру, сколько собственному безошибочному ощущению, что это весьма помогает ему обнажать разные человеческие пласты на различной их глубине и устанавливать сложное их взаимоотношение.

Нет, Пушкин в деревне не погибал! А между тем этот внутренний рост его был столь затаен, что даже Прасковья Александровна, внимательный друг, многого не замечала и не угадывала. Как издали Вяземскому, порой положение Пушкина казалось и ей безысходным.

Так еще вовсе недавно она, отвечая Жуковскому, писала и с болью на сердце, и самоотверженно: «Желательно бы было, чтобы ссылка его сюда скоро кончилась; иначе… я боюсь быть нескромною, но желала бы, чтобы вы, милостивый государь Василий Андреевич, меня угадали. Если Александр должен будет оставаться здесь долго, то прощай для нас, русских, его талант, его поэтический гений, и обвинить его не можно будет. Наш Псков хуже Сибири, а здесь пылкой голове не усидеть. Он теперь так занят своим положением, что без дальнего размышления из огня вскочит в пламя, — а там поздно будет размышлять о следствиях. — Все здесь сказанное — не пустая догадка, но прошу вас, чтобы и Лев Сергеевич не знал того, что я вам сие пишу. Если вы думаете, что воздух и солнце Франции или близлежащих к ней через Альпы земель полезен для русских орлов и оный не будет вреден нашему, то пускай останется то, что теперь написала, вечною тайною. Когда же вы другого мнения, то подумайте, как предупредить отлет».

Да, это было самоотверженно, ибо стоило хоть на минуту подумать, что он покинет Тригорское, как все непостижимо тускнело вокруг и заволакивалось печальною дымкой. Пушкин ей посвятил свои «Подражания Корану», и она гордилась, что имя ее отныне связано было с поэтом. Только при мысли о предстоящей разлуке она понимала, как глубоко укоренилось в ней чувство к ее Александру. Это было и крепкое и верное чувство, но оттого-то и думала прежде всего не о себе, а о нем. А были действительно дни, когда она страшно тревожилась за судьбу Александра Сергеевича, посвятившего ее, после отъезда брата, в свои планы о бегстве из России.

Прасковья Александровна не предполагала, что их знает и Лев, а между тем через него, конечно, и просочились эти тайные замыслы Пушкина в среду его петербургских знакомых, что в свою очередь доходило теперь и сюда. «Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо!» Но вслед за восклицанием этим тут же, однако, у Льва иносказательно спрашивал он, как обстоят именно эти дела.

В конце концов этих мыслей своих Пушкин не оставлял и помаленьку к побегу даже готовился; так, в числе прочих вещей брат прислал ему с Михаил ой Калашниковым дорожную лампу, чемодан: все это было ему заказано Александром. Но, видя, что Лев сам не приедет, Пушкин теперь посвятил в свою тайну и Вульфа, который как раз собирался будущим летом поглядеть чужие края.

Алексей Николаевич Вульф к делу отнесся серьезно и два дня по дому ходил в важной задумчивости. Казалось, на сей раз он нашел в себе настоящее мужество и внимательность к другому человеку. По крайней мере, Пушкин был искренне тронут его предложением: взять Александра Сергеевича с собою под видом крепостного слуги. Это была безусловно дельная мысль!

У Вульфа, когда он, обдумывая, шагал по гостиной, были еще и свои тайные мысли: он был очень не прочь, чтобы Пушкин и вообще покинул эти места. Отчасти его тяготила неприкровенная насмешливость Александра Сергеевича, которую он не мог на себе не ощущать, отчасти ему не нравилось, что Пушкин всегда имел глаз за Алиной, но больше всего было не по душе то слишком вольное, как казалось ему, обращение с его матерью, которое позволял себе их беспокойный сосед. Он сознавал, что честь его обязывала, в сущности, серьезно поговорить об этом последнем предмете. Но у него не хватало ни решимости, ни основательного предлога.

Внешне оба они держались приятельски, да, впрочем, у Пушкина это было и искренне: девушек много — товарища нет, а на худой конец чем не товарищ и Вульф? Пил он изрядно, был молод, не глуп, с ним можно было порою потолковать и о серьезном; вместе дурили и с молодыми обитательницами Тригорского. Алина опять расцвела и отважилась даже однажды на поездку в Опочку со своим сводным братом. По крови они были чужие друг другу, но семья их — одна, и это создавало возможность непредосудительной близости.

Пушкин над ним подшучивал. Новая работа его, давая исход внутренним силам, освобождала одновременно того легкого Пушкина в непринужденном его бытии, который так весело искрился, как снежные блестки на солнце. В эти приезды на святках Прасковья Александровна особенно им любовалась. И как освещался весь дом, когда он входил с опушенными белым морозом бакенбардами, внося с собою свежесть зимнего воздуха и веселую шутку!

И все же Пушкин теперь развлекался не только в Тригорском. Святки внесли веселье и в тот деревенский мирок, который ютился, дышал и работал в Михайловском — за пряжей, тканьем, вышиваньем, коклюшками… Зима запоздала, но сразу легла обильная, пышная — со сверканьем снегов, деревьями в инее, скрипом полозьев. К спрятавшейся подо льдом и

под снегом реке быстро с горы скользили салазки, а кое-когда из салазок вылетали и девушки.

Пушкин стоял и глядел на веселое это катанье. Иногда он подталкивал санки и ухал вслед отъезжавшим. Он пренебрег своим барским званием и, сбегав домой, облачился в просторные нянины валенки.

— С Ольгою! С Ольгой! — закричали подружки. — Она лучше всех правит!

— И лучше всех вывалит! Я сяду напереди.

— Нет, уж как вы хотите, барчук, а я вас сама прокачу! — вызвалась Оленька.

Щеки ее ярко горели, платок развязался, и Пушкин заметил, как тепло на шее ее блеснула цепочка: Левушка, верно, забыл про колечко, о котором писал ему Александр, но медальон он прислал, и Пушкин вчера только вечером, улучив минуту, в коридоре сам ей накинул на шею эту хорошенькую безделушку. Он положил было руку и на плечо, намереваясь обнять, но она закраснелась и ускользнула. Теперь он глядел, как, скинув вязёнки и захватив копчики их между зубов, ловко она, перекинув руки назад, затягивала узел платка.

— Хорошо, я сяду, пожалуй, и за тобой.

Санки были малы, и сидеть было тесно. На полудороге, где был заворот, он, будто бы испугавшись, вскрикнул и охватил руками сидевшую впереди его девушку. Теперь уж ей было не убежать! Снежные брызги летели в лицо, и он крепко к ней прижимался, с отрадою ощущая живое тепло сквозь полушубок.

Скатились они совсем бы удачно, когда бы он сам в конце их пути не вздумал направить по-своему быстро летевшие санки… Мгновенно они перевернулись, а Пушкин и Оленька — оба полетели с размаху в сугроб. В этом, конечно, была и удача: девушка вскрикнула от неожиданности, а Пушкин с налету поцеловал ее в розовую морозную щеку. И если падение было вовсе нежданным, то поцелую она как бы и не удивилась. Ничуть не таясь и без тени смущения взглянула она на него, и серые глаза ее встретились с его голубыми и на воздухе почти совсем синими. Нет, нынче она и не думала от него ускользать!

Он все глядел на нее, и, казалось, глаза его спрашивали: «Ты понимаешь?» И, кажется, Оленька его понимала.

Голова ее, запрокинутая, как бы утопала в огромной снежной подушке, и оттуда сияли глаза — радостные и покорные. Все это продолжалось лишь несколько мгновений. Тотчас же она вскочила, отряхнулась и, видя, что Александр Сергеевич не поднимается, наклонившись, схватила его за рукав и потянула на себя.

Их наверху встретили смехом и оживлением. Пушкин теперь правил и сам и прокатил всех по очереди.

Вечером он обещал быть у Осиповой, но не поехал: на весь этот день собственные его девицы им завладели. Няня была в духе и весела и сама руководила гаданьями. Впрочем, и Пушкин кое-что тоже в них понимал, он помнил «Светлану» Жуковского.

И точно: достали и сонного петуха с насеста, который долго не мог сообразить на свету, чего от него хотели, и. наконец-то различив примеченные для каждой девицы зерна пшеницы, как бы с раздумьем выбрал одно (первая выскочит замуж!), а потом уж клевал и подряд, оживившись и резво; топили и воск, глядя, какая фигурка выйдет кому на тени; и пели над тазом, покрытым двумя рушниками, коротенькие подблюдные песни, из воды вынимая колечки, сережки, кому какая песенка пропоется, — и вогнали Оленьку в краску, как прокричали живым говорком:

Зовет кот кошурку В печурку спать.

Пушкину вышла дорога, и он был рад, а как глядели воск на тени, всех позабавил, из пальцев слагая и лебедя, и как целуются двое, и как Арина Родионовна шепчет молитвы, и монаха Иону, задирающего голову в клобуке: все эти фигурки возникали одна за другой на стене, как живые. Хотели рядиться, да куда же пойдешь? Но все ж выходили и на волю — послушать суженого у нетопленной бани.

В горнице жарко, но выбегали раздетые; так же вышел и Пушкин. Морозная ночь с высокой луною стояла на тысячу верст. Деревья, одетые в иней, попирали у подножия короткие черные тени. Снег убегал между стволов, теряясь в далекой серебряной мгле. С крыльца был слышен девичий смех, голоса. Он поглядел на светлое небо и отыскал Большую Медведицу. И вспомнился юг. Вечер и море. Звезда. Мария Раевская, смуглый подросток, спросила: какая звезда? Он стоял позади, наклонился и тихо сказал: «Мария — звезда». Она с удивлением на него обернулась, и было легкое касание его губ к прохладной щеке; было — и не было. Это осталось маленькою их тайной; и только это одно сейчас и представилось Пушкину…

Кто-то бежал со двора прямо к крыльцу. Он затаился у стенки и неожиданно, вытянув руки, обнял взбежавшую Олю Калашникову.

— Как напугали! — прошептала она ему прямо в лицо и на минуту прижалась к плечу, пока он ее целовал. — Идите, идите, простудитесь! И… няня увидит.

Няня, однако же, ничего не увидала или сделала вид, что не видит. Всех разогнал внезапный крик петуха. Он было забрался под лавку, и про него все забыли, но в положенный час он дал о себе знать. Посмеялись и разошлись.

Поздно проснувшись, няня услышала в комнате Пушкина шорох и звуки; ей показалось, что с кем-то он разговаривает. Тогда она накинула кофту и подошла к самым дверям, постояла. Голос был только его, и странный притом, неразборчивый. Не захворал ли? Няня немного подумала и тихонько посунула дверь. Не заперта. Няня вошла. Свечка была заставлена книгой, и черная голова на подушке то вправо ложилась, то влево. Тронула голову. Лоб был горяч, и дыханье из полуоткрытого рта прерывистое и знойное. «Так и есть, простудился!»

Пушкин провел беспокойную ночь. Временами он приходил в себя и, открывая глаза, видел няню.

— Как, это ты? — говорил он, как бы удивляясь, что это не кто-то другой.

Впрочем, присутствие няни заметно его успокаивало, и он покорствовал ей во всем, что бы она ни предпринимала. Насыпав горчицы в носки, она сама натягивала их ему на голые ноги, растерла грудь скипидаром и заварила сухого липового цвета. Он с жадностью выпил целый стакан и стал поспокойней.

Няня была в сильной тревоге и ушла, когда уже стало светать, обтерев полотенцем мокрый его лоб. Отдельные пряди волос пристали ко лбу, и лицо стало меньше, моложе. Она поглядела, как он сейчас тихо лежал, и ей живо припомнилось, как маленького, бывало, купала в корыте, а он брыкался ногами, и брызги мыльной воды ей летели в лицо. Издали малым привычным крестом — как бы не увидал! — перекрестила его и ушла.

У себя беспокоилась и Прасковья Александровна. Пушкин ей обещал быть непременно. Погода на редкость хорошая, и ясен был месячный путь, а Александр все не ехал: здоров ли? И когда раздались бубенцы на дороге, она уронила работу и принялась ходить по гостиной. Почему не верхом? Окна замерзли, и ничего не видать. Было слышно, как кто-то долго и обстоятельно высаживался на дворе.

— Кто же там наконец?

И ей доложили, что приехал… Пещуров! Она чуть не заплакала и соответственно приняла нежданного гостя.

Он подошел к ручке и прежде всего почтительнейше осведомился, не пребывает ли здесь господин Пушкин.

— Может быть, где-либо и в иных комнатах, но мне хотелось бы поговорить о нашем поэте именно с вами… конфиденциально и доверительно…

Прасковья Александровна вспыхнула… А впрочем, весь этот визит оказался совершенно особенным и так взволновал Прасковью Александровну, что она почти не спала ночь и на другой день с утра приказала заложить лошадей. Она решила сама съездить в Михайловское и навестить Александра. Она тревожилась и о здоровье его и хотела сама все ему рассказать.

Няня встретила ее на крыльце. У нее после тревожной той ночи был сильно осунувшийся и озабоченный вид.

— Что, нездоров? — спросила с тревогой Осипова.

— Пойду погляжу… Уж не знаю, как вам и сказать, матушка барыня… Всю эту ночь горел, как свеча.

— Я обогреюсь и войду к нему. Ты только взгляни, проснулся иль спит.

В столовой был холод, лед со стекла переходил на подоконник. Не раздеваясь, Прасковья Александровна, встревоженная, опустилась в низкое кресло. «Покинут. Один. Печи не топлены. Вызову доктора. Увезу его к нам».

Няня не шла. На стене прохрипели часы и не добили: гиря уткнулась в спинку дивана. На Прасковью Александровну мелкое происшествие это произвело самое тягостное впечатление, и она, не в силах собой больше владеть, поднялась и пошла было по направлению к двери, но няня как раз тут и вошла. Лицо ее Осипову поразило: это было совсем другое лицо; оно было свежим и светлым, и каждая морщина на нем улыбалась.

— Няня, ты что?

— А я ничего! Только вхожу я к Александру Сергеевичу, а он стоит, извините, как бы только выкупавшись, и полотенцем себя растирает. «Что ж, как головка?» И он только смеется: «Все хорошо, говорит, а разве что было?»

— Так что же, здоров?

— А как лебедь, здоров, милая барыня! Сейчас они выйдут. Прасковья Александровна, сама не зная чему, засмеялась.

— Ты плохо глядишь за ним, няня. Смотри увезу!

— А уж это как его барская воля… А только что думаю: никуда они от меня всурьез не уедут. — И няня подробно стала рассказывать и про горчицу и про скипидар. Пушкин и впрямь чувствовал себя совершенно здоровым и бодрым.

— Это была не столько простуда, — сказал он, войдя и здороваясь, — сколько… Не знаю, как вам объяснить. — И он засмеялся. — Простите меня, но вчера я гадал, и мне вышла дорога.

— Ну, дорога одна: прямо ко мне! — рассмеялась и Осипова. — У вас вон на стеклах мороженое, а у меня кофе со сливками… И мне вам есть что рассказать!

Дорогою снег ложился на полость, фыркали кони; Прасковья Александровна выразительно полною ручкой, затянутой в замшу, жестикулировала:

— Представьте: явился! И ну распевать: «на нашей обязанности…», да «священный долг дворянина», да слушал, как вы на экзамене читали «Безверие», и что молодых людей надо спасать, и что женская ручка может держать крепче каната.

— Вот это единственно верно! — соглашался вдруг Пушкин и ловил на лету ее руку.

— Единственно верно! А знаете, чем это все завершилось?

— Догадываюсь!

— Ужели?

— На вас получаются мои письма.

— Ну да! И он имел наглость…— Тут голос Прасковьи Александровны дрогнул, и она не могла ничего больше сказать.

— Я все понимаю. Да я бы…

— Я так и сделала! — горячо вскричала она. — Я сказала, что больше его не задерживаю!

Пушкин снова поймал и, на сей раз горячо и серьезно, сжал ее руку.

— И что бы вы думали! Он вынул часы и сказал: «А что, уже, кажется, и действительно поздно? Честь имею кланяться…» Как нравится вам этот «лукавый ходатай»? (Такое у этого дворянина было прозвище.)

Прасковья Александровна в своем возбуждении в эту минуту была совсем хороша; и у нее самой хорошо на душе. Так бы вот ехать и ехать, и мчаться, и вдыхать эту снежную пыль, и ощущать дорогое рукопожатие…

— Выкрала вам медведя из берлоги!— весело воскликнула она, вступая в гостиную. — Вот, получайте! А где ж самовар? А пирожки? Да дайте… в буфете… там клюква! Клюкву в сахаре кто же не любит? Александр Сергеевич, правда?

Глава двенадцатая

СВИДАНИЕ С ДРУГОМ

Святки проходят, прошли. Лев так и не приехал. И ни Плетнев. И ни Дельвиг... Няня, работа и Оленька. Ночью далекое завыванье волков. Утром холодная ванна и зимняя ясность морозного дня. Но комнату няня топит тепло.

Пушкин стоял у окна неодетый, он чистил щеточкой зубы и глядел на сугробы, на отягченные снегом деревья, Белобокие пестрые сороки резво скакали по веткам, стряхивая снежный убор, стрекоча, пророча гостей. Нет, никто не приедет! Няня вчера говорила, что кот замывал тоже гостей, а никто не приехал. И святки прошли...

И в ту же минуту Пушкин услышал веселый глухой перекат бубенцов. Было всего около восьми утра: если в впрямь это гость, то издалека! Ночью был ветер и вьюга, двор не расчищен... И вдруг увидал, как несется дикая тройка, ворота распахиваются, сани на двор: барин, слуга — без ямщика! Что-то мелькнуло родное, и Пушкин порывисто выскочил вон на крыльцо. Разгоряченные кони протащили возок мимо подъезда — прямо в сугроб, а оттуда бежал уже, путаясь в шубе, утопая в снегу, милый, милый, нежданный никак Пущин! Александр едва не соскочил к нему в снег. Он вовсе не чувствовал холода в стоял, переступая от нетерпения с ноги на ногу, в длинной ночной рубашке, с приветственно поднятыми вверх руками; зубы его были черны от тертого мелкого угля.

— Дорогой... Сумасшедший!.. Здравствуй!.. Простудишься!..

Пущин его целовал и обнимал и, опахнув своей теплою шубой, потащил скорей в дом. Няня так и застала их в комнате. И впрямь, как сороки, они стрекотали: междометиями, возгласами; волнение, радость прерывали их голоса. Она поняла только одно, что кто-то, должно быть, очень желанный, и кинулась сама обнимать незнакомого гостя: шуба еще на плечах, и снег не растаял. Пущин тотчас догадался, что няня, и через нее ощутил с особою пронзительной ясностью деревенские дни своего ссыльного друга, на глазах его дрогнули слезы.

Полог кровати откинут, постель еще в беспорядке; в беспорядке и письменный стол: всюду раскиданы исписанные листы бумаги, обгрызенные и обожженные перья, — совсем как в Лицее... И некуда шубу повесить, и где же умыться?

Пришел наконец и Алексей, поджидавший, пока ямщик подбежит: его выкинуло вон из саней на ухабе в лесу. Пущин сказал: Он знает тебя наизусть! — И был горд за слугу, а Алексей, не раздумывая, принялся целовать любимого Пушкина.

Разговор загорался почти только одними вопросами. Не верилось, что опять они вместе, и порою казалось, что их комнаты рядом, как было в Лицее. Твой номер четырнадцать, а где ж мой, тринадцать? Но как ты выскочил? Согрелся ли, друг? Помнишь, как ты мне писал:

…С пришельцем обнимися, Но доброго певца Встречать не суетися С парадного крыльца…

А сам на крыльцо неодетый... Милый, ну что, как живешь?

— Нет, как ты попал ко мне: какими судьбами?

Как в праздник, вместо обычного чая Арина Родионовна вскипятила им кофе. Пушкин не был завзятым курильщиком, но тут сразу затеплили трубки.

— В столицу, к родителям, а в Пскове проведать сестру...

— Ну, знаю, знаю, какая сестра!

Пущин не возражал против догадки, но перешел, однако же, на другое, и оба они очень смеялись тому, как дядюшка Василий Львович пришел в священный трепет, узнав, что из Москвы Пущин отправится не только в Петербург, но заедет и к опальному его племяннику: «Как? Да ведь он под надзором! И даже духовным! А впрочем, целуйте его!» И уж конечно, пролил слезу? Вот так же и Льва ко мне не пустили! А царь, говорят, ужасно перепугался, когда в списке приехавших в Петербург увидел фамилию Пушкина, — а это всего только Левка! А вот ты не знаешь, как в двадцатом году и я твою фамилию видел. Я ехал с сестрой по Белорусскому тракту из Бессарабии... -то и он в Бессарабию, — подумалось Пушкину, — и никаких там следов, ни от кого ничего не слыхал». Но мысль эта промелькнула мгновенно и тотчас же забылась. Он глядел в лицо Пущину и радостно слушал самый его голос. Скучища в дороге ужасная, жарко, одно развлечение — поглядеть станционную книгу. И, что бы ты думал: вижу что Пушкин, накануне как раз, проехал в Екатеринослав! Я ничего ведь не знал про тебя...

— Как меня выставили из Петербурга? Ну да. А только подумай: проезжай ты сутками позже, мы непременно бы встретились!

— А что говорят обо мне в Петербурге, в Москве?

Тут Пущин счел нужным произнести целую маленькую речь на тему о том, что Пушкин напрасно мечтает о каком-то своем политическом значении и что вряд ли уж царь действительно так испугался, но что стихи его, это точно, «приобрели народность во всей России» и что друзья ждут не дождутся его возвращения. Ты говоришь как настоящий надворный судья! — заметил чуть раздосадованный Пушкин. А что ж, — со спокойным достоинством возразил ему Пущин по давней привычке открыто высказываться. — Не дворянское дело? А знаешь, после того как великий князь Михаил Павлович сделал мне замечание, что завязан темляк у меня не по форме, и я вышел в отставку, я хотел поступить — ужасайся! — в квартальные надзиратели! (Пушкин не ужаснулся, но все же не мог не улыбнуться: он вспомнил про Дельвига: «Квартальных некому бить!») И сестры меня на коленях едва умолили не поступать. Я же считаю, что в службе народу и государству нет унизительной должности.

Пущин был молод и крепок. Здоровье дышало на ясном его, простом и серьезном в эту минуту лице. При всей его мягкости то, во что верил, произносил он с убежденною твердостью. И снова, как это часто бывало, Пушкин — сам по себе вовсе другой: порывистый и изменчивый, страстный

— не покоряясь доводам друга, сердечно, тепло им залюбовался. Я знаю, — сказал он, — и, милый, очень ценю. А что Горчаков? Я вспомнил, как он советовал толкаться мне в свете и делать карьеру. Вы его взяли бы в тайное общество?

Так, по контрасту, должно быть, вспомнив блистательного лицейского товарища, Пушкин внезапно начал опять один из тех разговоров, которые были мучительны Пущину: как часто, бывало, он колебался — а не открыть ли все Пушкину, по и теперь, как всегда, он остерегся от приглашения, да, пожалуй, оно было б сейчас и бессмысленным, раз Пушкин в деревне. Однако же он не стал отпираться и подтвердил существование тайного общества.

— Горчаков-то к нам вряд ли пошел бы, но я не один. В этом ты прав.

Это, конечно, было признанием. И тут неожиданно Пушкин вскочил, сильнейшее волнение его охватило. Он знал про себя, что общество есть, что есть, может быть, и прямой заговор, но откровенность эта, сейчас впервые подтвердившая все предположения, стремительно вывела его из равновесия. Знаю! Я знаю!.. Не говори! Я давно это знал! Это, верно, в связи с майором Раевским, он в Тираспольской крепости, и у него ничего до сих пор

не выпытали! Пущин! Ты можешь не говорить. Может быть, вы по-своему правы, что не доверяете мне...

Пушкин так был взволнован и разгорячен, что не заметил, как при упоминании о Раевском что-то дрогнуло в лице его друга. Пущин хотел что-то сказать, возразить, но Александр сжал руки и, потирая ладони, с силой и горечью продолжал: Я понимаю. Быть может, доверия этого я и не стою... по многим своим глупостям... Да! Да нет же! — прервал его наконец Пущин. — Александр, послушай меня... — И не знал, что сказать.

Пушкин стоял перед ним потемневший и маленький. Если бы не бакенбарды, совсем он как мальчик. Как можно его обижать? Но никак, совершенно никак не ложилось все это в слова. Он подошел и молча и крепко обнял опального друга.

— Я все понимаю, не думай, — тихонько шепнул ему Пушкин.

И оба они стали ходить так в обнимку по комнате, как в старину. Но ты все-таки знай, — сказал еще Пушкин после молчания, — я и сам по себе кое-что значу! (Пущин крепко рукою нажал на плечо его.) А хочешь, пойдем теперь к няне?

И вправду, по комнате ходить было тесно. Няня их встретила с обычной своей забавною важностью: Добро пожаловать к нам! Поглядите на девушек и на работу их полюбуйтесь.

Волнение Пушкина быстро прошло, лишь только он переступил этот порог. Может быть, странно, но общение с Оленькой давало теперь неизменно какое-то умиротворение его мыслям. Он взглянул на нее, и она быстро ответила взглядом. От Пущина это никак не укрылось, и про себя он подумал: «Однако ж какая хорошенькая! Одна среди всех». Хозяин прочел эту мысль, и они обменялись улыбкой. Когда уходили, Пушкин спросил: А как твоя Оленька Пальчикова? Я знаю ведь, что тебе надобно в Пскове...

Но Пущин ему ничего не ответил, он только серьезно повел головою в знак отрицания, и Александр больше об этом не спрашивал.

В Острове ночью Пущин купил три бутылки клико, и за обедом Алексей торжественно хлопнул пробкой. Пахнуло былым... Провозглашались и тосты: за Русь, за лицейских друзей...

— Что Кюхля? Все тот же: просит советов, а делает после как раз наоборот! А помнишь ли первый наш день? Как только цари удалились, мы перед Лицеем играли в снежки! А теперь Лицей наш сгорел... Да, уже без меня, как раз меня выслали. А мне няня недавно рассказывала историю о разбойнике-женихе — прямо поэма! И совсем как наш дядька Сазанов: как он заманивал на извозчике и убивал!..

Вспомнили и знаменитую историю с гоголь-моголем, как их накрыли за незаконной пирушкой, как раз когда Иван Малиновский тихонечко с ними обоими чокнулся — за здоровье Бакуниной, в которую все трое были они влюблены.

— Помнишь?

— Еще бы... Здоровье Бакуниной!

Так теперь выпили и за нее. Пущин сказал: Как жалко, что я истребил свой лицейский дневник! Там были заветные мелочи, которых теперь и не вспомнить... За что никогда ты не любил Энгельгардта?

Пущину вспомнилось, как Энгельгардту однажды попало в руки письмо его к Кате Бакуниной и как он отечески, а впрочем, бесплодно его пробирал... За что? А за то самое!— мрачно отозвался Пушкин, слегка захмелевший: он отвык от шампанского. — Чересчур он влезал во все наше! Я любил Малиновского, и будет с меня. Помнишь, Ивану на могиле отца его я поклялся в верности, в дружбе... А этот пришел — другой и чужой! Нет, нет, мужчинам я верен. А женщинам? Правда ли, друг мой, что и в Одессе?.. В Москве говорили что-то о

ревности. Ну, этого я тебе не скажу... Знаешь ли, Пущин?.. Нет, я ничего не скажу! Если бы это только моя была тайна... И... Нет, в этих делах и я тебе не доверяю. — И он, засмеялся. — А ты лучше признайся, мог ли бы ты жениться на... ну, на простой и безграмотной девушке?

Пущин ничуть не удивился: Представь себе, я думал об этом не раз. Я и теперь думаю так. Если любовь моя... настоящая... если так-таки не суждено настоящее счастье, то проще уж так.

— Ты, Пущин, серьезно? Я совершенно серьезно. И у меня была няня — Авдотья Степановна, очень она нас баловала, и у мальчиков, у меня и у брата, дружба большая была с женскою половиною дома.

— Вот как! И ты бы не побоялся...

— Не думаю.

Пушкин задумался о чем-то своем, но через минуту друзья от души хохотали опять, вспоминая, как вместо Наташи, хорошенькой горничной, Пушкин в Лицее в потемках поцеловал в коридоре старую фрейлину и как сам государь в это дело вмешался. А это ведь Энгельгардт тогда тебя вызволил! Все-таки ты к нему несправедлив. Верно, чем-нибудь он насмешил государя, что тот рассмеялся... Как это, помнишь, он по-французски сказал?

Пушкин чуточку сморщил нос, как царь, и очень похоже передразнил: «А между нами, старая дева, возможно, в восторге, что молодой человек так удачно ошибся!»

Так за обедом болтали они, перескакивая с предмета на предмет, понимая друг друга с полуслова. Няня глядела на них и любовалась. В девичью выслали домашней наливки, и через коридор было слышно, как там пошел говорок. Пушкину вдруг загорелось непременно поехать в Тригорское, показать своих милых соседей, но Пущин отговорился: Мне впору и на тебя одного наглядеться! Я привез тебе «Горе от ума», вещь замечательную. Ты ее почти вовсе не знаешь. Ты мне и свое почитай непременно!

— Ну, хорошо.

Пушкин читал Грибоедова вслух. Пущин сидел и внимательно слушал, он очень любил чтение Александра. Как часто бывало, знакомые стихи звучали для него совсем неожиданно и образы, бывшие в тени, вдруг выступали, как освещенные солнцем. Пушкин читал и сейчас с большим воодушевлением, все более и более разгораясь. Но, странное дело, стих Грибоедова и в чтении Пушкина был ровно блистателен, как и всегда: в нем все уже было дано, и открывать было нечего. Что это: достоинство или недостаток? Без светотени. Все одинаково залито светом, играет и искрится. Знаешь ли что? — вдруг прервал сам себя Пушкин. — Знаешь ли, кто у него самый умный из всех? Ответ: Грибоедов! Он сам. А Чацкий? Кому ж говорит он свои умные вещи? Фамусову? Скалозубу? Молчалину? Бабушкам нашим московским? Это непростительно, это — метание бисера.

— А характеры? А грибоедовский стих?

Пушкин только мотнул головою и продолжал читать дальше. Чего-то он, видимо, не договаривал, испытывая и истинное наслаждение, и как бы разрываясь внутри между своею трагедией, где в медлительных ямбах — поступь истории, и комедией Грибоедова, такой современной и легко разговорной, московской: столь были они не похожи, больше того — столь были они противоположны!

Кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин прервал себя на полуслове, глянул в окно и улыбнулся досадливо: Ну хорошо. Продолжим, пожалуй, и эту комедию...— и, без пояснений, Грибоедова спрятал, а на стол положил томик Четьи-Минеи.

Вряд ли, конечно, в том была надобность, но Пушкин для друга сервировал нового гостя по всем правилам искусства.

Минуту спустя в дверях появилась фигура монаха, несколько полного, низенького и с большой головой. Глазки его из-под насупленных мохнатых бровей тотчас с любопытством вонзились в незнакомого гостя. Настоятель здешнего монастыря в Святых Горах, — отрекомендовался он сам, приложив обе руки к груди. Почтенный отец Иона, — добавил Пушкин. — А это господин Пущин, давний мой друг.

Пущин, видя развернутые Четьи-Минеи и постное лицо хозяина, подошел к игумену под благословение. Пушкин — за ним, подавляя улыбку. Чему я обязан?— спросил он, приглашая Иону присесть.— Не хотите ли чаю? Сейчас подадут. Как же, однако, так... — сказал в задумчивости монах, поглаживая бороду и пытливо поглядывая на Пущина. — Пущин-то Пущин, да я думал, что это Павел Сергеевич из Жадриц проведать пожаловал. Я весьма уже продолжительное время его не видал... Нет, я — Иван Иванович, — стал мямлить Пущин, — но и Павла Сергеевича немного я знал. Мы с ним встречались в двадцатом году в Кишиневе... Он там был масоном, — строго заметил Иона. — Да и потом за границу отчей земли тоже уехать хотел, но не получил на то разрешения... Да. А вот ныне — усердный молельщик и добрый христианин.

Мы тоже с Иваном Ивановичем вникали без вас... — И Пушкин, минуя намек об отъезде в чужие края, погладил слегка пожелтевшие листы развернутой книги.

Это можно б было принять почти за насмешку, но Пущин дивился, какая почтительность была на лице Александра.

Разговор в этом роде шел кое-как, пока не подали чая, а к чаю и рому. Тут и почтенный игумен разговорился. Впрочем, он долго не засиделся и, извинившись, что помешал старым приятелям, благополучно отбыл.

Пущин был очень смущен — не столько самым визитом, сколько поведением Пушкина:

— Зачем же ты даже Четьи-Минеи достал?

Пушкин хотел было сразу ответить: «А ты зачем под благословение?» — но решил доиграть до конца и, притворившись смиренником, а отчасти и пародируя дядюшку Василия Львовича, скорбно воскликнул:

— А как же иначе? Ведь я под надзором! И особливо духовным!

Пусть будет так. Он предвкушал, как в Москве доверчивый Пущин изобразит эту сцену все тому же драгоценному дядюшке. Однако ему уже надоела комедия:

— А, вздор! Довольно об этом!

И, швырнув на диван душеспасительные жития, принялся с новым одушевлением за Грибоедова. Ты говорил о стихах? — воскликнул он вдруг. — Да половина из них — прямо в пословицы!

Пушкин читал и свое, но немного: стало смеркаться. Огня не спросили. Сидя вдвоем на диване, глядели они, как синие сумерки полнили комнату. В молчании опять накипала та особая душевная близость, которую страшно спугнуть громким, отчетливым словом. Пущин был весь полон дыханья поэзии, точно бы к другу он заглянул в самое сердце, что приоткрылось ему со всей полнотой. Слушая, еле он сдерживал то живое волнение, которое шло от стихов и от поэта; и так открывались все тайны...

— Знаешь, она отказала мне...

Он сказал это тихо, почти как самому себе. Пушкин схватил его руку, и между ними горячая, совсем как бывало в ранней юности, опять завязалась беседа. Тут уж ничто не было скрыто. И Пушкин шептал торопливо и возбужденно про все сокровенное. Тут уже не было ни одной недомолвки: Одесса и Воронцова и что готовился быть далеким отцом. Пушкин быть откровенным наполовину не мог. Пущин слушал его беспокойства, предположения, как это будет, и что преследует мысль о младенце, а Воронцов догадается, а он сам далеко и не

сможет никак отвечать за себя... — слушал и, молча, крепкой большою рукой пожимал небольшую горячую руку страстного друга. И, как не раз уже нынче, казалось ему, что это в Лицее он слушает сбивчивую и торопливую исповедь, сотканную из скорбных признаний, раскаянья и беспокойства. Но ты никому... Слышишь, совсем никому! Поклянись мне! Особенно Вяземским... Кажется мне, что княгиня и без того знает, подозревает... Я не хотел говорить, и вот говорю... Но ты же умеешь молчать.

— И я сказал, может быть, лишнее. Нет, нет, не говори так. Я все равно знал! — И коротко спрашивал: — Рылеев? Бестужев? А помнишь, когда у хромого Тургенева мы вместе сошлись: о журнале... Я уж тогда утвердился, что ты состоишь.

— А знаешь, что он мне сказал после восстанья семеновцев?

— Ну? Он мне сказал: «Что же вы не были между восставшими? Вам надлежало бы быть в их рядах!»

— И ты пошел бы? Скажи! Пущин ответил твердо, спокойно:

— Надо — пойду!

Пушкин горел. Губы его шевелились. Он крепко поймал сам себя за мизинец, словно бы от чего-то удерживая.

— Ты так и ответил ему? Нет, я перед ним промолчал. Но хочешь, скажу, что я думаю? Я думаю, это возможно не раньше как лет через десять.

Пушкин замолк. («Значит, много позже того, как век добежит свою четверть...») Няня вошла и внесла зажженные свечи. Руки ее были в саже и угольях и немного дрожали.

— Что это ты, мамушка, вымазалась?

— А печи велела топить... Да разве они кто умеют? Сажи на вьюшках целые ведра.

— Ну, дом, гляди, не спали! Пущин перебил:

— Читай мне еще. Я хочу тебя слушать долго и много. И Пушкин читал.

Часы приближались к отъезду. Он для Рылеева продиктовал начало «Цыган» и похвалил его «Думы». «Думы» ему вовсе не нравились, но нынче Рылеева он не хотел обижать.

— Поблагодари его от меня и обними.

— Понюхай: угар!

Пущин боялся угара и побежал наводить строгий порядок. Зазвякали вьюшки, захлопали форточки. Унылый бильярд одиноко стоял в нежилой, заброшенной зале. Он в порыве досады упрекнул даже няню: Да если б остался я тут ночевать, я умер бы еще до вторых петухов!

И посмотри, вот бильярд: что же на нем — на коньках разве кататься? Няня смущенно твердила:

— Да уж верно, я виновата... Да ведь печи проклятые... Ну, не сердись, — сказал примирительно Пушкин. — Во всем виновата моя голова. Она у меня крепкая. Я забыл тебе еще дать денег для Вяземских. Шесть сотен давно я им должен. (Пушкин их наскреб, что называется, «из последних».)

Так в их горячую встречу краешком вторглась и проза: деньги, угар и бильярд, на котором нельзя было и поразвлечься зимним коротеньким днем. Пущин денег для Вяземских не хотел было брать:

— Тебе самому здесь нужны!

— Нужнее всего их отдать. Довольно об этом.

Было уже за полночь, как сели опять закусить. Опять Алексей и шампанское, и, кажется, не было конца разговорам.

— Вот и вторые твои петухи, а ты, слава богу, жив и здоров!

Но под конец такая понятная грусть овладела обоими. Пушкин так живо представил себе, как опять останется один. Если бы так-таки никто из друзей и не приехал, его одиночество не стало б столь явным. — Хотя бы сестра была здесь со мною! — вздохнул он невольно. — Когда-то увидимся? — вымолвил Пущин и свою затаенную думу. На часах пробило три. Лошади у крыльца потряхивали бубенцами. Видно, пришел и час расставанья.

Пущин глядел на смуглое милое лицо опального друга и чувствовал, как ему больно было покинуть его: «Когда- то увидимся?..» Но когда лицо это в свете свечей начало вдруг покрываться туманом, он вовсе не выдержал и, смахнув незаметно слезу, кинулся к шубе. Прощание долгое было б невыносимо. Друзья еще раз обнялись, и Пущин почти побежал прямо к саням. — Пошел!

— Прощай, друг! Прощай!

Так после этих снежных Михайловских святок судьба подарила Пушкина свиданием с другом. Он остался стоять со свечой на крыльце. Редкие снежинки падали в пламя, но не тушили его.

Глава тринадцатая

ОБЩЕНИЕ С МИРОМ

И снова общение с миром лишь через письма. Почта имела для Пушкина значение чрезвычайное. Он выписывал книги, получал альманахи, газеты, и каждый почтовый день, или «оказия», выделялся среди других, «непочтовых», как если бы веяло ветром из дальнего мира в лесную его и озерную глушь. Даже одна типографская краска иль запах свежего почтового штемпеля на письме ужесамипо себе возбуждали его. Так он и сам вступал в разговоры и литературные распри, ведшиеся далеко — в Петербурге, в Москве, как бы тем удлиняя ту невидимую, но ощутимую цепь, которая привязывала его к дубу у Михайловского лукоморья; так и действительно из ссылки своей онвступал в общение с внешним миром.

С некоторых пор он уже больше не стеснялся писать, не боясь теперь компрометировать далеких друзей перепиской. Еще недавно, обращаясь к одному из одесских приятелей, как раз так и начал: «Буря, кажется, успокоилась, осмеливаюсь выглянуть из моего гнезда и подать вам голос…» Это ему представился аист, обитавший над озером. Александру запомнилось, как он однажды целых два дня после внезапного предосеннего града не высовывал длинного носа из огромного своего гнезда на сосне, но это же самое весьма подходило и к нему самому. Правда, аист давно улетел, а он все сидел да сидел в родительском зимнем гнезде, но вот — рисковал уже «подать голос».

И самый круг лиц, с которыми общался, за последнее время расширился. Так, Рылеев писал ему: «Пущин познакомит нас короче», — и обращался на «ты», полагая, что имеет право на то «и по душе, и по мыслям». И опять, вслед за Волконским, напоминал ему близость Пскова, где «задушены последние вспышки русской свободы». Уже одного этого было б достаточно Пушкину, чтобы понять общий, их связывавший тайный язык. Пушкин, однако, не очень на него отзывался, в ответах своих ближе держась к литературе. Особое удовольствие этого рода доставляла ему переписка с Бестужевым: она будоражила его полемический задор и возбуждала, как в споре, живые и самому ему нужные мысли.

Пушкин прожил несколько дней под впечатлением грибоедовского «Горя от ума». Он восхищался им, но и полемизировал с автором. Как-то, еще в Кишиневе, он сам пародировал один из стихов Державина, заменив «дым» — «грязью»: «Отечества и грязь сладка нам и приятна», — Грибоедов не пародировал, он только переставил слова, и получилось как отлитое:

…И дым отечества нам сладок и приятен!

Стих его был ясен, блестящ и стремителен, русская ковка его не уступала Крылову; и метил он безошибочно — в лоб. Пушкин уже знал наизусть про Толстого-Американца, с которым были и у него свои давние счеты:

…Но голова у нас, какой в России нету, Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойник, дуэлист, В Камчатку сослан был, вернулся алеутом И крепко
на руку не чист; Да умный человек не может быть не плутом…

Последняя строка, однако, особенно была для него выразительна, и он даже чувствовал, как восклицание это не то чтобы примиряло его с ненавистным противником, но шутливо-серьезно делало общее это явление по-своему понятным: да, у нас умному человеку трудно

быть не плутом. И даже извещая Вяземского о посланных с Пущиным шестистах рублях, отнес он как раз эту строку к карточному одесскому своему должнику, так и не отдавшему этих денег, как было условлено, княгине Вере Федоровне: «Савелов большой подлец. Посылаю при сем к нему дружеское письмо. Перешли его (в конверте) в Одессу «о оказии, а то по почте он скажет: не получил. Охотно извиняю и понимаю его», — и цитировал Грибоедова.

Но с ним же и спорил: «Много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины». Это было, конечно, запальчиво сказано, и, обращаясь к Бестужеву, уже не позволил себе того, что позволил для Вяземского; тут выражался он по-иному — осторожнее и беспристрастней: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. Следственно не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова». А всю свою критику предлагал показать самому автору: «Может быть, я в ином ошибся». Брату он выговаривал даже: «Твое суждение о комедии Грибоедова слишком строго». И все же сам для себя он не раз ратоборствовал со своим полным тезкой, пока «Борис Годунов» не вернул его всецело себе.

Этой зимой в переписке своей Пушкин особенно много и очень охотно делился с друзьями литературными своими мыслями: и с Вяземским он разбирал последние его стихи, и мимоходом ему же писал о «Цыганах»: «Я, кажется, писал тебе, что мои Цыганы никуда не годятся: не верь — я соврал, — ты будешь ими очень доволен»; и сражался с Бестужевым из-за своего «Онегина», отстаивая для поэзии право на свободные «картины жизни» и уверяя, что «у меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры»; и с нетерпением ждал новой поэмы Баратынского, беспокоился о судьбе его и собирался поставить свечу за финляндского генерал-губернатора Закревского, если тот поможет Евгению Абрамовичу выбраться из затянувшейся его подневольной солдатчины; и благодарил через Вульфа Языкова, приславшего ему в ответ на осеннее его послание наконец и свое: «прелесть», как сам Пушкин его определил; и одобрял, впрочем, слегка их исправляя, стихи Василия Туманского, прочитанные им в воейковских «Новостях литературы».

Впрочем, Туманского пустил он и во внутренний свой оборот. Эти стихи назывались «Девушка влюбленному поэту», и однажды, приехав в Тригорское, он заявил, что будто бы получил их в письме от хорошенькой Нетти, племянницы Осиповой по первому мужу, приезжавшей к ним погостить, за которой он сам немного ухаживал. Вы знаете все, как я в Нетти влюблен. Но послушайте только, как она меня отчитывает! Отчитывает и поощряет.

Пушкин недавно упал на льду вместе с поскользнувшейся лошадью и разбил себе руку. Вспоминая, как в Кишиневе однажды он просто свалился, упал, над чем генерал Орлов не без легкого удовольствия немного подсмеивался, Пушкин тоже со смехом, но и ревниво всем объяснял, что не мог же он усидеть в воздухе, когда лошади под ним не стало. Боль в руке и теперь все еще давала себя знать, и оттого очень неторопливо, возбуждая общее нетерпение, он доставал листок со стихами. Неправда! Неправда! — Возле него скакала Евпраксия. — Она не писала! Она бы не стала писать! — А вот послушайте, Зизи! И он прочитал:

…Поверьте мне — души своей Не разгадали вы доселе: Вам хочется любить сильней, Чем любите вы в самом деле. Вы очень милы — вы Поэт. Творенья ваши всем отрада. Но я должна, хоть и не рада, Сказать, что в вас чего-то нет!

— Правда! Правда! — вдруг закричала Евпраксия, и столько было азарта в ее восклицании и так дружно, дразня, все ее поддержали, что на минуту он даже был немного смущен.

Только Анна молчала и, побледнев, вслед за тем залилась яркою краской. Она понимала, что все это шутка, и все-таки уже ревновала его теперь к Нетти… А когда уезжал, говорила: Неправда, что будто «чего-то» в вас нет, но только вы злой и дурной.

Пушкин в ответ засмеялся. Он ничего с собою поделать не мог; знал он и сам, что был с Анной немного жесток, но покорность ее и тихая преданность нередко его раздражали: в ней не было ничего, что надо бы было завоевывать или преодолевать… А Нетти сама занимала его вовсе не много.

Рабочая жизнь его шла как всегда. Часы вдохновения, подъема, когда писал он «Бориса», сменялись порой другою работой, подготовительной. Он много, упорно читал, размышлял. Ему был нужен и Шлегель, и Сисмонди, и десятки других книг. Более чем когда-либо, создавая «Бориса», он обдумывал самый план и структуру, соотношения сцен. Однако же сцену с юродивым он отнес от начала подальше также и из-за соображений цензурных, чтобы не сразу выступала при чтении.

В этой работе его все было замкнуто от посторонних, о ней он ни с кем не говорил и никому не писал. Он суеверно таил этот свой замысел и, даже касаясь мельком, казалось бы, близких вопросов, ничуть не приоткрывал своей тайны. Видимо веселясь, он предлагал брату присоветовать Рылееву «в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы». Ни звуком при этом он не обмолвился, что предки по пушкинской линии уже действуют в «Годунове» у него самого. А брата заранее, боясь его болтовни, расхолаживал так: «Прощай, стихов новых нет — пишу Записки, — но и презренная проза мне надоела». Теперь в Петербурге никто и не подумает, что он занят новой большой работой!

Так же и Гнедичу, говоря о его переводе Гомера, советовал он: «Я жду от Вас эпической поэмы. Тень Святослава скитается не воспетая, писали Вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? а Пожарский? История народа принадлежит Поэту». В эту последнюю фразу вкладывал он подлинное и драгоценное свое убеждение, но, называя ряд исторических имен, Годунова даже не помянул. О себе же лишь глухо заметил: «Много у меня начато, ничего не кончено».

Так издали, из Михайловского своего сидения, он озирал литературу журналов и альманахов, и книг, все еще рукописную комедию Грибоедова, не законченную Гнедичем «Илиаду». Так, в феврале он брату писал: «По журналам вижу необыкновенное брожение мыслей; это предвещает перемену Министерства на Парнасе. Я министр иностранных дел, и, кажется, дело до меня не касается. Если 77<2лейпойдет, как начат, Рылеев будет министром».

Пушкин надеялся на сообразительность брата. Тут все играло намеками, и Лев был должен понять, что зарубежных планов своих Александр не оставил и не претендует на министерский пост на петербургском Парнасе, а, видно, Рылееву быть на его месте министром… Так намекал он на то, что сцена переправы через реку в «Палее» чересчур уж похожа на такую же сцену в «Кавказском пленнике», про себя, однако ж, прикидывая и другие рылеевские возможности — уже политические…

Порой в переписке приходилось касаться и очень житейского. Не один лишь одесский Савелов его обокрал, заставив отослать через Пущина последние свои шестьсот рублей (только что была от Плетнева получка в полтысячи), но никакой управы до сей поры он не нашел и на издателя-хищника Ольдекопа. Вяземский советовал ему обратиться к Шишкову, но Пушкин все не решался. «Онегин» печатался, хотя сначала и вовсе не верилось, «чтоб он протерся сквозь цензуру», и он приписывал эту свою удачу Шишкову, на которого воздействовал Гнедич. Кроме того, во «Втором послании к цензору» были у Пушкина

лестные для министра строки, и теперь неловко было обращаться к нему же с личною просьбой. «Вот почему я не решился, по твоему совету, к нему прибегнуть в деле своем с Ольдекопом. В подлостях нужно некоторое благородство. Я же подличал благонамеренно — имея в виду пользу нашей словесности и усмиренье кичливого Красовского», (Красовский как раз и подписал к печати Ольдекопово издание.)

Так, в прозе и в шутку, вспоминал он собственное свое, уже далеко не шуточное, стихотворение, посвященное все тому же заклятому недругу Воронцову:

…Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить И в подлости осанку благородства.

Но настоящее негодование его охватило, когда до него дошли слухи, что и «Бахчисарайский фонтан» тоже перепечатан, и также при переводе, но на сей раз на французский язык! И это как раз, когда будто налаживалось переиздание его поэм… Пущин писал ему из Москвы, что за три поэмы, изданные вместе, дадут 12000 рублей. «Я должен от них отказаться, — восклицал Александр в письме к брату: — эдак с голоду умру — с отцом да с Ольдекопом. — Прощай, я бешен».

Выгодная продажа эта становилась теперь невозможной «по причине новой типографической плутни». Пушкин решил, что Ольдекоп вздумал обкрадывать его систематически, и, забыв про все околичности, сел за письмо к Шишкову, прося его охранить от воровства. Он был так взбешен, и «Бахчисарайский фонтан» так сидел в голове свежей обидой, что в черновике он даже спутал, написав, что Ольдекоп переиздал эту поэму в двадцать четвертом году…

Письма этого все же он так-таки не отослал, отвел только душу, а еще погодя получил извещение, что и самые слухи были неверны.

Деньги, однако ж, мучительно были нужны. Еще в декабре он умолял брата «скорее вытащить Онегина из-под цензуры… деньги нужны. Долго не торгуйся за стихи — режь, рви, кромсай хоть все 54 строфы, но денег, ради бога денег!»

Но что было спрашивать с Ольдекопа, когда и сам этот милый братец направо и налево с каким-то неистовым упоением декламировал в Петербурге «Цыган», и приходилось прибегнуть к Бестужеву: «Пожури моего брата за то, что он не сдержал своего слова — я не хотел, чтоб эта поэма известна была прежде времени, — теперь нечего делать — принужден ее напечатать, пока не растаскают ее по клочкам».

Впрочем, Левушка кое в чем проявлял и заботу об Александре. Напуганный собственной же болтовней, он в письме к Вяземскому всякие слухи о предполагаемом бегстве брата в чужие края называет дошедшими в Петербург из Москвы и объявляет их ложными; но тут же он радуется, что может пустить интересный новый слушок, и сообщает: «В одном из примечаний, присоединенных к Онегину, было место, убийственное для Василия Львовича; мне очень хотелось сохранить его, но брат, как добрый племянник, его выпустил». Это Лев вспоминал о дяде-осле! Так неудержима была эта его врожденная страсть к болтовне. Стихов же братниных в тайне он никогда и ни при каких обстоятельствах не мог сохранить.

А кроме брата, были и просто приятели, которые с достоянием Пушкина ничуть не стеснялись, делая это даже с настоящею грацией. Выпрашивая для себя кусочек поэмы, они клялись и божились, что никому не дадут, а после писали другому какому-нибудь любителю изящной словесности такие изящные строки: «У меня есть кое-какие стихи Пушкина, которые, по дружбе к тебе, желал бы переслать, но боюсь изменою своего слова рассердить волшебника…» Но боязнь эта легко проходила, и вот, от приятеля к приятелю, докатывались они до Булгарина и попадали в печать…

«Волшебник», конечно, сердился, так, например, жалуясь Вяземскому: «Скажи от меня Муханову, что ему грех шутить со мною шутки журнальные. Он без спросу взял у меня начало Цыганов и распустил его по свету. Варвар! Ведь это кровь моя, ведь это деньги! теперь я должен и Цыганов распечатать, а вовсе не вовремя». Тот же Муханов послал уже раз несколько стихов из «Онегина» в булгаринские «Литературные листки», где они и были напечатаны как полученные от «одного просвещенного любителя словесности».

Делу ничуть не помогли и те деньги, которые вернулись теперь из Москвы. Пущин писал: «Деньги твои возвращаю: Вяземская их не берет, я у себя оставить не могу; она говорит, что получит их от одесского приятеля, я говорю, что они мне не следуют. Прими их обратно, — я никак благоразумнее не умею поступить с ними». Пушкин этим письмом был лишь раздосадован: после того как послал он в Одессу Савелову свое «дружеское письмо», денег от него, конечно, нечего было ждать, а уплата давнего долга затягивалась, ибо вернувшиеся деньги тотчас разошлись. И вообще-то едва их хватало только на книги, да и то приходилось порою задумываться: «Хотел бы я также иметь Новое издание Собрания Русских Стихотворений, да дорого…»

Но при всем этом безденежье и заботах бывало и так, что потихоньку приказывал брату: «Слепой поп перевел Сираха… издает по подписке — подпишись на несколько экземпляров». Он вычитал об этом в «Инвалиде». Козлов был слепой; слепым был Мильтон. Мгновенная жалость пронзала Пушкина. Подобные чувства его не мучили длительно, но, покидая, тотчас же рождали живой практический отклик.

Кроме забот о деньгах, дома, в собственном его маленьком мирке, возникали кое-когда неприятности еще и особого рода. Так, однажды внезапно разыгрался целый скандал, главною героиней которого оказалась домоправительница Роза Григорьевна — та самая, на которую Сергей Львович рекомендовал ему положиться во всем…

Михаила Калашников уехал еще в январе, один, без семьи; Пушкин-отец направил его в Болдино — дабы поднять там хозяйство и навести порядок между крепостными.

У Розы Григорьевны были с Михайлой дела не только хозяйственные, которые тихо и полюбовно обделывали они за спиною господ. Эта энергичная женщина очень ценила и некоторые другие его таланты: он был и песенник, и музыкант, и собеседник веселый за рюмочкой, даже забавник; но самое очаровательное, что в нем было, — это, конечно, круглая его борода и усы, столь кудряво-пушистые, что напоминали они собой пуховик; и у Розы Григорьевны, невзирая на всю ее деловую поджарость, в груди было сердце!

Без Михаилы Ивановича она заскучала, и, сколько ни пробовала залить свою грусть, это ей удавалось далеко не вполне. Приходилось довольствоваться теперь исключительно женским обществом. Арину Родионовну она не любила уже за одно то, что Пушкин ее любил. Никакой не было возможности хоть чем-нибудь обратить на себя его внимание и выдвинуться. Бог знает, какие еще возможности туманили воображение уже далеко не молоденькой и весьма страшноватой Розы Григорьевны, но молодой барин попросту ее не замечал; он не вникал и в хозяйство и не вступал ни в какие разговоры. Раз только как-то сказал: Опять у вас этот лягушечий бант! А впрочем, он к вам очень идет! — Но это скорей походило на насмешку, и только.

С кем же излить свою душу? Мелкопоместные барыни, хотя бы и самые бедные, были все-таки барынями, и с ними общаться Розе Григорьевне было никак не по чину. Оставалась, пожалуй, одна только Анна Богдановна, занимавшая в Тригорском тот самый пост, какой занимала Роза Григорьевна в Михайловском. Две ведьмы дружат! — так про себя определила их близость, невзирая на все свое добродушие, няня.

Арина Родионовна домоправительницу сильно не жаловала. Не раз приходилось ее изобличать и укорять в мелких хищениях, сплетнях. Не любила она и Михаилы. Хоть и отец он тебе, — говаривала она Оленьке, — а только просторней у меня на душе без него: будто горницу веником вымели. Живи себе, пока молода, работай да смейся. То-то, счастливая!

Пушкин в хозяйство никак не вникал: на оброке ли люди, на стороне или барщине, иль у себя на хозяйстве, — ему было мало до этого дела, или, верней, никакого. Иное совсем, как заслышит незнакомую песню или встречный старик заведет рассказ о былом. Вообще же встречался с крестьянами, как и со всеми другими людьми: были ему интересны — постоит, поболтает, расспросит; неинтересны — мимо пройдет… Оттого и отношение к нему самому было простое: не обычные настороженность, боязнь или ненависть, как было при Ганнибале, но и не любовь; скорее всего — привычка и равнодушие. Жизнь его и занятия были непостижимы, но хоть, слава богу, не прижимал.

С дворовыми, по необходимости, ближе. И здесь отношения были ровные: не так чтобы очень приятельские, но и не безразличные. Легкий у нас при Александре Сергеевиче дух, барин без фанаберии, — скажет, бывало, кривой садовник Архип, раскуривая трубку и на минуту стрельнув единственным глазом на собеседника. Это уж что говорить: не в отца и не в мать! — подтвердит сквозь усы и старый Василий. — А только, скажу, и простоват: мыши под носом в амбаре грызут, а он и не слышит.

Такою-то мышью, грызущей добро, была в Михайловском домоправительница Роза Григорьевна.

Главной аферой ее было то самое сокрытие хлеба, которое еще по осени было задумано ею вместе с Михайлой. Цены к весне несколько возросли, и у Розы Григорьевны был уже сговор на мельнице, как туда сплавить «остатки», утаенные от хозяев. Но старая эта дева, злея день ото дня, повела себя так, что няня не выдержала, и разыгрался скандал, не миновавший и Пушкина.

В Тригорском у Осиповой не очень-то разойдешься, а потому чаще всего, отпросившись, Анна Богдановна жаловала в гости к Розе Григорьевне по ее приглашению, и тут за графинчиком черносмородиновой (а то еще обожали настойку из березовых почек) и за розовою пастилой восседали они и на свободе судачили всласть: желтая, рыхлая Анна Богдановна с рябоватым увесистым носом и поджарая, красная, с свекольным отливом Роза Григорьевна; глаза у нее были узкие, плоские, но сквозь пелену блистали порою враждебным ехидством. Приятельский их разговор был похож на то, как пилят дрова: одна отпустит, другая потянет, и, как бревно за бревном, по очереди перепиливали сначала господ, а потом и дворовых людей.

Наливка была ароматна, густа, чай крепок, печенья свежи, барина не было дома.

— У ваших опять пропадает? Ну, понятно, что так. У нас, Роза Григорьевна, как к чаю пойдут, весь дом, можно сказать, крахмалом шумит.

Обе почтенные дамы хотя и любили приличия и аккуратность в словах, как и тонкость в манерах, частенько, однако, касались вопроса и попросту, по существу. Белая скатерть тогда исчезала, и собеседницы чувствовали себя так же свободно, как если бы встретились на скотном дворе. А за кем же там все-таки Александр наш Сергеевич вникает особо? Ай с кем живет? Ну как так: живет? Это невидимо, Роза Григорьевна! — не без лукавства ей возражала деликатная гостья: она еще созерцала скатерть и перстенек у себя на левом мизинце. Ну, что до меня, Анна Богдановна, то я вижу что вижу. И неужто всамделе со старою барыней? Она не стара, Роза Григорьевна, — уклончиво отвечала Анна Богдановна, — ну никак не стара. Он же ведь прост, да, поди, и своя-то наскучила! Вы все не верите мне…

— А Арина-то Родионовна что ж не глядит?

Но когда доходило дело до Арины Родионовны, уж тут- то Роза Григорьевна давала себе полную волю.

Так, слово за слово, они наслаждались беседой. И было бы все тихо да ладно, когда бы к концу не слишком они разъярились: девушки слышали многое, и девушки между собою шептались; дошло и до няни. И с нянею вышло у Розы Григорьевны, как та проводила драгоценную гостью, самое резкое столкновение. Ты это что же: и няню порочишь, и барина, и девушек с грязью мешаешь… Срамница сама! Да я тебя выведу на чистую воду, да ты у меня узнаешь, как добрых людей перестирывать!

Роза Григорьевна в ответ пренахально уперлась ладонями в сухие бока и не осталась в долгу. Она громоздила сплетню на сплетню, перемежая все это любезностями по адресу няни, и, наконец, утратила всякую меру и стыд: Я все, моя милая, знаю… И ты это знаешь не хуже меня! И, коли до чего дело дойдет, по ниточке все разберу!.. А что до Михаилы Ивановича, то он и на многое мог бы дерзнуть, не скажи! Отчего это Оленька ваша так, например, уже бела, будто господский фарфор? И на кого это Оленька так уж похожа до чрезвычайности! Не на Ольгу ль Сергеевну — барышню? Грех-то какой! Грех-то какой! Ах ты, бесстыдница старая!

Няня заткнула пальцами уши, плюнула на кружевной праздничный фартук домоправительницы и удалилась так резво, как только могла.

Она почти захворала от злости, обиды и оскорбления и несколько дней была так желта — как свеча желтого воска. Оленька плакала, девичья вся присмирела.

Няня меж тем навела свое следствие. У нее давно уж был в подозрении хлеб, но лишь как совсем утвердилась, решила доложить Александру Сергеевичу. Случай ей благоприятствовал.

Пушкин в последние дни писал с особенным напряжением; рабочее возбуждение не покидало его и во сне. Он ставил свечу в изголовье и клал карандаш и бумагу: отдельные фразы, два-три стиха, порою и замысел сцены… Многое блекло при свете, но кое-что и оставалось. Так делал когда-то и царь Петр, а черновые записи эти в бледном свете возникавшего из болот Санкт-Петербурга переписывал начисто знаменитый прадед Пушкина Абрам Ганнибал. А у меня нет другого арапа: сам пишу и сам переписываю, — как-то раз над собою пошутил он у Осиповых.

В деревне всегда крепко спалось. Сны были разные: или писал, или рылся в архивной пыли, или скакал на коне в казачьем отряде, или теплились свечи у аналоя, и отливало, мерцая, тусклое золото старых икон, или падал, ведомый Никитой, с узенькой лестницы Ивана Великого, как падал во сне еще в детстве, как низвергался теперь его Гришка Отрепьев… Снова привычное это, повторное сновидение.

Но нынче привиделось особенно странно: будто проснулся, лежит у себя на постели и слышит вдруг шорох и голоса, возню за стеной. Поглядел: стоит лесенка, он поднялся по ступеням и заглянул меж потолком и стеной, и за карнизом увидел шестнадцатый век: толпы народа двигались смутно, пестро, слышна была брань, женские визги, и на коне молодой боярин плетью прокладывал путь себе и коню.

Но скрипнула дверь, и, едва успевший во сне удивиться и крикнуть от изумления, Пушкин проснулся, мгновенно забыв странный свой сон. Няня стояла в дверях и спрашивала, что ему надо.

— Разве я звал тебя?

— Кликал.

— Да ну! Няня, а что это ты стала желта и похудела? Ай нездорова?

— Я-то здорова, соколик мой, а только при этаких темных делах и здоровой, пожалуй, впору глядеть в домовину…

— Что так? Скажи. А то, что никак не придумаю, с чего и начать. Коли не будешь сердиться, так расскажу.

И она рассказала, хоть и далеко не все. Пушкин ее слушал суровый.

И дня через два он так отписывал новости брату: «У меня произошла перемена в министерстве: Розу Григорьевну я принужден был выгнать за непристойное поведение и слова, которых не должен я был вынести. А то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть. Я велел Розе подать мне счеты. Она показала мне, что за 2 года (1823 и 4) ей ничего не платили (?) и считает по 200 руб. на год, итого 400 рублей. По моему счету ей следует 100 р. Наличных денег у ней 300 р. Из оных 100 выдам ей, а 200 перешлю в Петербург. Узнай и отпиши обстоятельно, сколько именно положено ей благостыни и заплачено ли что-нибудь в эти 2 года. Я нарядил комитет, составленный из Василья, Архипа и старосты. Велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, т. е. несколько утаенных четвертей. Впрочем, она мерзавка и воровка. Покамест я принял бразды правления».

Так суховато и скупо, по-деловому, описал он этот наезд свой в хозяйство, но, однако же, он и поволновался, осуществляя забытый свой сон: старая Русь перекочевала со страниц его рукописей и действительно ждала-таки совсем наяву за стеной его спальни.

День был солнечный, ясный. Легкий мороз и высокое синее небо. С крыши амбара свисали голубые сосульки, блестя и играя на солнце; редкая капель падала с них на пожелтевший разрыхленный снег; самцы-снегири блистали своей ярко-красной грудью. Пушкин стоял расстегнувшись, в тулупчике, шею окутывал шарф. Наряженный им «комитет» поглядывал на него с удивлением и почтительностью. Ему и самому было так непривычно выступление это в роли хозяина!

Самого гнусного, впрочем, что, распалясь, выдумала Роза Григорьевна, няня, однако, ему не передала: этого и выговорить невозможно! У нее сорвалась с языка одна только фраза:

— Да в те времена Сергей Львович здесь никогда и не бывали!

Пушкин не обратил никакого внимания на непонятные эти слова, а няня похолодела при одной только мысли о том, что сделал бы он с Розой Григорьевной, услышав дикую эту ложь.

Пушкин ждал брата к себе и после святок. «Твои опасенья насчет приезда ко мне вовсе несправедливы. Я не в Шлиссельбурге, а при физической возможности свидания лишить оного двух братьев была бы жестокость без цели…» Но когда Лев не приехал и на масленицу, пришлось только скупо ему написать: «Жалею о строгих мерах, принятых в твоем отношении», — очевидно, родители окончательно его не пустили. Непосредственно к ним Пушкин ни с чем не обращался и даже о случае с Розой Григорьевной сообщал лишь через брата, а двести рублей, удержанные у нее, пересылал в Петербург, не желая ни копейки оставить себе из родительских денег.

Ждал он и Дельвига. «Мочи нет, хочется Дельвига». «Дельвиг, жив ли ты?» — так на большом листе написал и ему самому один этот вопрос.

Дельвиг был жив: его в Петербурге видала живым сама Прасковья Александровна, ездившая туда на несколько дней. Однако, как раз когда он собирался в Михайловское, неожиданно приехал его отец и взял сына в Витебск, где тот и захворал. «На четвертый день приезда моего к своим попадаюсь в руки короткой знакомой твоей, в руки Горячки…», «Я теперь выздоравливаю и собираюсь выехать из Витебска в четверг на Святой неделе, следственно в субботу у тебя буду. Из Петербурга я несколько раз писал тебе: но у меня был

человек немного свободно мыслящий. Он не полагал за нужное отправлять мои письма на почту». Как все это было похоже на Дельвига!

Собирался приехать и Кюхельбекер, о чем из Москвы писал Пущин, но Пушкин на это мало надеялся. Он был бы рад и Бестужеву: «Ах! Если б заманить тебя в Михайловское!..» А в то же самое время слал запрос и Рылеев: «Мы с Бестужевым намереваемся летом проведать тебя: будет ли это кстати?» Но все это были пока одни разговоры, и Пушкин частенько вспоминал про себя одну старую народную песенку, подходящую по местному колориту; бывало, они ее распевали со Львом:

…Один сижу во компании, Никого не вижу… …Во садику, в огороде Девица гуляла, Она писаря псковского Всячески ругала. Она всячески ругала, Весьма поносила: — Ах, глупой псковской писарь, — В гости ты не ездишь! — Я бы рад, душа, ходити, — Да нечем дарити. Поедем мы, душа Аша, В Санктпитер гуляти…

Песенка эта была мила именно тем, что через всю ее невнятицу отчетливо проступала бессмысленность собственной одинокой заброшенности… И вдруг из «Санктпитера», куда «псковскому писарю» заказана путь-дорога, приходит толстый пакет — долгожданный: рукопись от Всеволожского!

Пушкин к этому времени уже начал и сам переписывать более поздние свои стихотворения и никак не мог дождаться этой старой тетради, когда-то им приготовленной, еще в Петербурге, к печати. В тот самый день, как она наконец-таки возвратилась к нему, утром он брату писал, почти умоляя: «Перешли же мне проклятую мою рукопись — и давай уничтожать, переписывать и издавать. Как жаль, что тебя со мною не будет!»

Брат был очень неаккуратен в исполнении поручений: долго томил даже с чернилами, так что Пушкину приходилось разводить их водой, а письма выходили рыжими, «как будто писали их прусаки» (прусаков действительно целые стаи водились на кухне); уже начиналась весна, а он до сих пор не прислал даже калош, о которых просил его Александр еще осенью; томик Парни прислал не ему, а с нежною надписью Анне; и вообще за ним была тысяча прегрешений, — но, получив молодую тетрадь свою, Пушкин простил ему все и тотчас, не теряя ни минуты, принялся за работу.

Это было уже не только общение с миром. На него пахнуло той самой юностью, как и при свидании с Пущиным. И снова перед ним проплывал милый образ Бакуниной, которою навеяно было много стихотворений… Но он был безжалостен и вычеркивал многое: иное казалось ему непростительно слабым. «Безверие», о котором Пещуров вспоминал при свидании с Осиповой, склоняя ее к «мягкому дозору» за ним, совсем по этому случаю ему опротивело; он вычеркнул и «Платонизм» и твердо, ломаной строкою над ним написал: «Не нужно, ибо я хочу быть моральным человеком».

Но, как бы то ни было, тетрадь наконец у него, и с нею к нему возвращались и все права по изданию. Он был недоволен братом только за то, что тот сразу не уплатил Всеволожскому полную тысячу.

Пушкин порой поднимался и стоя глядел на большую эту тетрадь, исписанную писарским ровным почерком. Это было и свое, и чуть-чуть чем-то чужое: время лежало между тем и сегодняшним Пушкиным. «К ней» — это к Бакуниной, но так озаглавить можно было только тогда… Стихи ему нравились, он лишь немного их тронул, но сколько же было с тех пор других увлечений… И заголовок он вычеркнул.

Точно с холма, глядел он на озеро, как бились внизу волны о берег. Время от времени так он глядел на свое прошлое: это ощущение было знакомо, было присуще ему. Но вот целых пять лет, что прошли! Обилие чувств и словесного их выражения томило его: в эти минуты казалось, что сердцу довольно бы было одной простой полноты.

…От многоречия отрекшись добровольно, В собранье полном слов не вижу пользы я. Для счастия души, поверьте мне, друзья, Иль слишком мало всех, иль одного довольно.

Он приписал это сбоку на открытой странице, у самого края, и тотчас зачеркнул. Довольно ли ему этого «одного»? Кажется, весь его жизненный путь был иным…

«Брат Лев и Брат Плетнев! Третьего дня получил я мою рукопись. Сегодня отсылаю все мои новые и старые стихи. Я выстирал черное белье наскоро, а новое сшил на живую нитку. Но с вашей помощью надеюсь, что барыня публика меня по щекам не прибьет, как непотребную прачку. Ошибки правописания, знаки препинания, описки, бессмыслицы прошу самим исправить — у меня на то глаз недостанет… 60 пиес! довольно ли будет для одного тома? Не прислать ли вам для наполнения Царя Никиту и 40 его дочерей?.. Простите, дети! Я пьян».

Пушкин работал два дня и ночь между ними. Он пил и вино, чтобы себя подкрепить, но пьян был от ночи бессонной и от обилия чувств и воспоминаний, его охвативших. Он не хотел этого состояния длить и все кончил зараз.

Так наконец разрешился вопрос и с тетрадью, столь долго гостившей у Всеволожского, и со списком стихов для тома стихотворений. Но в эти же дни пришло разрешение и другой пушкинской боли, которая его мучила минувшей бурною осенью. Что-то случилось уже после памятных святок, бывших как перелом. Зима была снежная, вьюжная, мягкая. Время бежало теперь с изумительной быстротой: так по укатанной зимней дороге мчится возок. Дни протекали за днями — ясные, светлые снегом, особой воздушной прозрачностью. Весны еще не было, той кудрявой и шумной весны, с которой Пушкин плохо справлялся и которая уводила его от работы. Но все же весна ясными днями бывала уже в гостях у зимы — своей синевою, пронизанной солнцем, капелями с крыш, звучностью воздуха. Эта весна не мешала, не будоражила: в ней была легкость, влага и свет.

Пушкин стал много спокойнее и за все это время один только раз помянул Воронцова в письме: «Приехал граф Воронцов? Узнай и отпиши мне, как отозвался он обо мне в свете, — а о другом мне и знать не нужно». Вряд ли и Лев мог догадаться, о чем идет речь в конце этой фразы; это была странная, но и понятная потребность — написать только хотя б для себя то самое, о чем должен со всеми молчать и что в зимние синие сумерки открыл лишь одному человеку. Но Пущин умеет хранить секреты! Он писал из Москвы: «Много знакомых твоих и любопытных о тебе расспрашивают. Я по возможности удовлетворяю их любопытству». И Пушкин читал и улыбался этому очаровательно-понятному выражению: «по возможности»… А в другом письме, помеченном многозначительно: «Знаменательный день» (день, всегда памятный Пушкину, — день воцарения Александра после убийства его отца), было и специально о Вяземских. Сам Вяземский сильно хворал, и Пущин частенько навещал его: «…всегда непременно о тебе говорим, — княгиня большой твой друг».

Пушкин был твердо уверен, что обещание не будет нарушено: не говорить особенно Вяземским… Но как же ему пришлось рассердиться, когда вслед за тем он получил письмецо и от самой княгини Веры! Она писала о смерти их сына Николеньки и о болезни мужа, но тут же, в свойственном ей стиле прозрачных намеков, разделяла то самое его беспокойство, которое доверил он Пущину…

Итак, его тайна, о которой, быть может, догадывалась она и раньше, полностью теперь для нее подтвердилась.

Что дружба? Легкий пыл похмелья…

Пушкину было обидно за Пущина. Беглый набросок стихов, где вылились чувства после заезда друга в Михайловское… Теперь так и остался он лежать незаконченным. Но

четыре горькие строчки о дружбе, написанные им без всякой мысли о Пущине, он велел теперь брату тиснуть в своей книге стихов, впрочем, тотчас же и зачеркнув это указание.

Как бы то ни было, переписка обоих друзей надолго оборвалась… Самой же княгине Пушкин ответил сдержанно-просто: «Пущин напрасно рассказал вам о моем беспокойстве и о моих предположениях, которые оказались ошибочными». Он никак определительнее не выразился, она должна была понять и так, ибо он отвечал на ее же намеки. Но непосредственно затем продолжал и об Одессе: «У меня нет никаких сношений с Одессой. Мне совершенно ничего не известно, что там происходит».

Тут все было правда. Сношений с Одессою не было, но зато только что он получил короткую ожидаемую весточку из Белой Церкви, что третьего марта родилась у Елизаветы Ксаверьевны дочь, названная при крещении Софьей, и что все обошлось благополучно.

Пушкин этого известия ждал, и все же оно поразило его своей внезапностью. Итак, все завершилось!.. Ему было странно глядеть на эти скупые ровные строки и видеть сквозь них — живыми, далеко — мать и ребенка. Как часто вставала эта картина в тревожном его воображении, и как все это было, в сущности, просто!

Он сидел у стола неподвижно, зажатые пальцы его были холодны, в груди горячо, а в голове между тем возникали и погасали слова, доселе никогда не произносившиеся: «София Пушкина… » Он хотел улыбнуться, но при первом этом легком движении непроизвольная судорога пробежала по лицу его, и он широко втянул в себя воздух: дочь его будет именоваться и возрастать графиней Софиею Воронцовой!

Он рознял пальцы и схватил перо, валявшееся на столе, как бы инстинктивно ища в нем привычной точки опоры. Но как и тогда, при первом известии осенью, он ничего не мог написать ныне рожденному младенцу. «Когда б ты родилась» — и уронил руку, смазав строку. «Когда б родилась ты» — и зачеркнул, бросив перо…

«Когда б ты родилась при мне» — «Когда б родилась ты моею»… Может быть, так, может, иначе, но он не мог даже закончить строки. Мог ли он говорить о ней так и так ее называть? Невозможное в жизни не укладывалось и в слова.

Острое волнение это было, однако, коротким, почти что мгновенным. Записку он разорвал и вышел на воздух. Был полдень, безветренно, и влажное солнце весны заливало снега.

Глава четырнадцатая

Барон

«Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела!.. На скамье, подле Онуфрича, сидел мужчина небольшого росту, в зеленом мундирном сюртуке; то самое лицо устремило на нее взор, которое некогда видела она у черного кота. Она остановилась в дверях и не могла идти далее. «Подойди поближе, — сказал Онуфрич, — что с тобою сделалось?» — «Батюшка! Это бабушкин черный кот», — отвечала Маша, забывшись и указывая на гостя, который странным образом повертывал головою и умильно на нее поглядывал, почти совсем зажмурив глаза. «С ума ты сошла! — вскричал Онуфрич с досадою. — Какой кот? — Это Г. Титулярный Советник Аристарх Фалалеич Мурлыкин, который делает тебе честь и просит твоей руки».

При сих словах Аристарх Фалалеич встал, плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у нее руку. Маша громко закричала и подалась назад. Онуфрич с сердцем вскочил со скамейки. «Что это значит? — закричал он. — Эдакая ты неучтивая; точно деревенская девка!..» Однако ж Маша его не слушала. «Батюшка, — сказала она ему вне себя, — воля ваша! Это бабушкин черный кот! Велите ему скинуть перчатки; вы увидите, что у него есть когти». С сими словами она вышла из комнаты и убежала в светлицу.

Аристарх Фалалеич тихо что-то ворчал себе под нос. Онуфрич и Ивановна были в крайнем замешательстве; но Мурлыкин подошел к ним, все так же улыбаясь. «Это ничего, сударь, — сказал он, сильно картавя, — ничего, сударыня, прошу не прогневаться! Завтра я опять приду; завтра дорогая невеста лучше меня примет». После того он несколько раз им поклонился, с приятностию выгибая круглую свою спину, и вышел вон. Маша смотрела из окна и видела, как Аристарх Фалалеич сошел с лестницы и, тихо передвигая ноги, удалился; но, дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол и пустился бежать как стрела. Большая соседская собака, с громким лаем, во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать».

Шла страстная неделя, а с нею весна. Пушкин все больше настраивался на скорый приезд к нему Дельвига: «Меня его лень уже издали заражает». Няня говела одна, Пушкин не поддался на ее уговоры. Она звала его в монастырь хотя бы на благовещенье, но он, смеясь, отвечал: — Нынче и птица гнезда не вьет, а я буду трудиться — говеть!

И предпочел в этот праздник остаться в постели с новою повестью Погорельского «Лафертовская маковница» в только что полученных «Новостях литературы». Волшебная повесть эта с бабкой-колдуньей и ее черным котом ему очень нравилась, и он провалялся до самого обеда, вскочив неодетый и встретив говевшую няню громким мурлыканьем…

Это был уже второй кот, который его так пленял. Недавно совсем хвалил он брату в письме басню Измайлова:

…Вы любите кота? Любите: он ведь сирота…

Так и новым котом Погорельского он был положительно восхищен и излил это брату: «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Трифоном Фалалеичем Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину». Он перепутал имя кота, но, и впрямь заразившись ухватками титулярного советника Мурлыкина, на пасхе христосовался в

Тригорском не иначе, как подражая ему — мягко картавя и даже не снимая перчаток: С светлым праздником вас, сударыня, прошу не прогневаться! В щечку и в губки! Завтра я опять приду, и завтра моя дорогая поцелует меня еще и покрепче… Скиньте перчатки! Перчатки снимите! У него там, наверное, когти! — кричала в восторге Евпраксия, распушив свое белое платьице; она уже знала «Лафертовскую маковницу» и вспоминала оттуда подобную сцену.

Дело было, конечно, не столько в котах, сколько в отличном собственном настроении. Стихи были собраны наконец и отосланы, напряжение дум о далекой Элиз, уже смягченное однажды святочным его признанием Пущину, заменялось ровным спокойствием: что-то было теперь завершено и как бы само собою отпадало, ребенок ночами больше не грезился. Дома и няня и Оленька — обе дышали ровным теплом. Если няня порою в чем и осуждала, то укоризны ее были полны любви, и Пушкину минутами казалось, что жизнь его прояснялась до дна, а мятежные желания его покидали. Светская страсть в музыке бала и блеске свечей бледнела пред ровным мерцанием снега и сельской простой тишиной и уступала место свое чувству иному.

С чего началось? Не с купанья ль овец, дохнувшего на него древней идиллией?

…Меж овец деревни всей Я красавицы моей Знал любимую овечку И водил ее на речку… Не завидую царям, Не завидую богам, Как увижу очи томны, Тонкий стан и косы темны… Овечки он никуда не водил, но царям, верно, уж не завидовал…

И начертал однажды на листке почтовой бумаги о той же все деревенской музе своей:

…О боги мирные полей, дубрав и гор, Мой гений и стихи ваш любят разговор, Меж вами я нашел и музу молодую, Подругу дней моих невинную, простую, Но чем-то милую, — не правда ли, друзья? И своенравная волшебница моя Как тихий ветерок, иль пчелка золотая, Иль беглый поцелуй…

Почти целиком теперь отдаваясь «Борису», изредка Пушкин все же набрасывал и строфы романа, бегло, легко рисуя свою деревенскую жизнь. Это никак не походило на какие-нибудь записи или «зарисовки»: его ничто не стесняло. Как бы сквозь некий волшебный фильтр проходили эти впечатления дней и, вступая затем в соприкосновение друг с другом, обретали они новую жизнь, где все было легче, воздушней, но, странно сказать, и весомей, то есть богаче и ёмче. И ничего, что не все было как было: все подлинно.

И весь «Онегин» его протекал и развивался в задуманном плане, и хотя в нем «музе» его не было места, все ж и она принесла эти краткие свежие строчки:

…Прогулки, чтенье, сон глубокий, Лесная тень, журчанье струй, Порой белянки черноокой Младой и свежий поцелуй… Так он спрятал даже глаза ее — серые, северные.

Но до чего и весь быт здесь иной, чем на юге! Там новые земли и новые города и быт еще не обжил сам себя. А где город и давний, как Кишинев, там полная ломка старого быта. Здесь же он давний и неизменный и дышит такою спокойной глубокою древностью. Длинный великий пост напоминал ему детство, когда в ночь со среды на четверг четвертой недели надо было ухитриться подслушать, как пост «ломается». Вот и опять, голубь, проспал… А уж какой был хруст! — говаривала няня, поддразнивая, утром.

И, стоя в постели в одной рубашонке, он тряс головой и говорил убежденно, не желая ей уступить: — Нет, я слыхал. Я, няня, слыхал!

Благовещенье нынче пришлось на страстную, и, вспомнив свою одесскую «Птичку», Пушкин брату послал и ее — вдогонку за рукописью.

Это, конечно, было думой и о себе: и тогда, как писал эти стихи, и теперь; свобода по-прежнему была далека! Но какие-то смутные надежды на волю, на вылет из клетки бродили в

нем. «Борис Годунов», куда прятал он свои выпады против Александра, пародируя даже его манифест, замышляя волхвов с прямыми намеками на мистические увлечения царя и в образ самого Пимена вкладывая свои обличения этот «Борис» мог ему сослужить и добрую службу. В нем как бы соприкасался он Карамзину — этому первому историку и последнему летописцу.

Порою он думал, читая: а не слишком ли явно? Может быть, выбросить?.. Нет, ни за что! Ему дорога была именно вся полнота оживавшей истории и собственных чувств. Эти личные чувства и мысли свои он не связывал с одним каким-либо образом и не вводил себя прямо в число действующих лиц трагедии. И если Пимен судил царя в тишине кельи, а юродивых! кидал ему обвинения прямо на площади, то и Гришку Отрепьева он наделял близкими самому себе чертами: «…Был он весьма грамотен, читал наши летописи… но, знать, грамота далася ему не от господа бога…», «Поймать, поймать врагоугодника, да и сослать в Соловецкий на вечное покаяние».

Пущин в нем разбудил бурные чувства ранней их молодости, и среди напряженной работы над исторической своей трагедией, где, по необходимости, многое было приглушено, он давал выход и обнаженному кипению политической страсти. И с трудом соединяемые вещи чудесно в нем совмещались. Так и тот ясный покой, которым дышал теперь в личном своем бытии, ничуть не противоречил, а даже скорей помогал проявиться тем резким, но и обобщающим поискам самого себя, которые были столь изумительно скрыты от всех его окружавших. Все обостреннее и отчетливей он проводил черту между собой и друзьями. Он не раз себя спрашивал, ответил ли бы так же и он, как ответил ему Пущин: «Надо — пойду»? Пошел ли бы так же и он, если бы было восстание? Пушкин прямого ответа и самому себе не давал, хоть и знал очень твердо, что возможная виселица его не пугала. С такими вещами он даже просто шутил:

…И дабы впредь не смел чудесить, Поймавши, истинно повесить И живота весьма лишить.

Но он ставит перед собою вопрос об особливой роли поэта в политических бурях и даже о том, пускаться ли в них, если принадлежишь только себе. В своего «Андрея Шенье», которого он посвятил своему другу Николаю Раевскому, он вкладывал весь огонь своего сердца, всю глубину раздумья и всю музыку слез.

…Зачем от жизни сей, ленивой и простой, Я кинулся туда, где ужас роковой…
Место ли в бурях мирному поэту? …Куда, мои надежды, Вы завлекли меня! Что делать было мне, Мне, верному любви, стихам и тишине…

И вспоминался Пущин опять: «Я думаю, это возможно не раньше, как лет через десять». По своему теперешнему ощущению, вопреки предчувствию Михаила Федоровича Орлова, он удлинил бы и этот срок, ибо не видел еще подлинной силы, способной опрокинуть самовластие, и еще того менее теперь был уверен в себе, в своей личной пригодности для этого дела. Его Андрей Шенье, с которым как бы порою сливал он себя, спрашивал с горечью:

…Мне ль было управлять строптивыми конями И круто напрягать бессильные бразды?

Но за минутным безверием следовал взрыв подлинной силы, и обреченный на плаху провозглашал как власть имеющий:

…О нет! Умолкни, ропот малодушный, Гордись и радуйся, поэт: Ты не поник главой послушной Перед позором наших лет…

Образ поэта, певшего свободу и не нашедшего для себя ее осуществления, павшего на гильотине, казался ему, когда заглядывал не в одно только прошлое, но и в возможное

будущее, близким и родственным. Старого монарха он помянул потому, что Шенье был исторически связан с ним, а кроме того, это делало появление в печати стихов самого Пушкина хотя бы призрачно возможным, но главное дело было в другом. Его свобода глядела дальше. Он не поддавался угнетающим мыслям и устами героя — об идеале свободы своей и о народе, который жаждал ее, — говорил с уверенностью:

…Так — он найдет тебя. Под сению равенства В объятиях твоих он сладко отдохнёт. Так буря мрачная минет!

Казалось бы, пасха с ее колокольными звонами, куличами и красными яйцами, христосованьем и качелями на дворе, песнями, пляской должна была Пушкина оторвать от его дум. И действительно, живо во всем он участвовал сам, но как-то, не докликавшись раз, чтобы ему оседлали коня, зашел он на кухню и, войдя, даже забыл, зачем он зашел.

Там шла азартная игра в засаленные карты. Играли «в носки» и средневековый «бардадым»; винновый король не однажды решал страстную партию, и по носам вдохновенно трепали старой колодой. Пушкин залюбовался: это был уже не шестнадцатый век, а скорее всего — черти в аду! Яростно трещали дрова в огромной русской печи. Огибая кипевший котел, порой вырывалась наружу широкая лента сизого дыма, смешиваясь с пахучими облаками терпкой махорки; пахло разопревшей овчиною, потом и шибко выдыхаемой водкой и луком. Добродушный и сдержанный садовник Архип кривлялся и строил рожи, не уступая никому другому; косой его глаз дико и воспаленно сверкал. Никто не увидал вошедшего барина, словно бы это было не на пасху в русской деревне, да, пожалуй, и вообще не на поверхности нашей планеты, а глубоко в ее недрах: истинно черти! И сам Пушкин себя чувствовал вовсе не Александром Сергеевичем, а может быть, Фаустом, прилетевшим сюда на дьяволовом хвосте. Поэма, пронизанная насквозь огнем ищущей и ни перед чем не отступающей мысли, пленяла его в эти дни с особенной силой, и в нем самом глухо где-то уже зрело ответное эхо. Он постоял у притолоки и вышел, так никого и не окликнув.

На грубом листе серой бумаги несколько позже, как только этот кошмар в нем прояснился, он набросал разрозненные отрывки какой-то вскипевшей в тот час «адской поэмы»:

«Что козырь?» — «Чэрви!» — «Мне ходить». «Я бью». — «Нельзя ли погодить?»
«…Привел я гостя». — «Ах, создатель!..» «Вот доктор Фауст, наш приятель!»
«…Что горит во мгле? Что кипит в котле?» «Фауст, ха-ха-ха! Посмотри, уха: Щука ли, цари — О, вари, вари!»

Это варево из царей вместе со щуками закипало в Пушкине вовсе не редко: та самая «царей судьба», которую в «Онегине» из-за цензуры со вздохом он заменял «судьбою и жизнью».

Барон был верен себе: в субботу на святой не появился и ничего не писал. О Дельвиге спрашивали и в Тригорском, и Евпраксия уже его представляла, далеко откидываясь в кресле и вытягивая ноги: ей это было приятно, потому что шерстяные чулки, надоевшие за зиму, наконец были сняты и голубые ножки ее самой ей казались красивыми. Одну руку она отводила несколько в сторону — будто бы в ней была трубка, другая покоилась на животе.

— Похож? Да как ты смеешь, Зизи! — сердилась и улыбалась мать; но Зизи смела все. Вы говорите: уж жив ли? А я на кухне слыхала, что если по живому отслужить панихиду, тут он и стукнет в окошко! Вы испытайте.

Пушкин очень смеялся выходкам девочки, впрочем, все больше и больше становившейся девушкой. Пожалуй, теперь она еще смелее дерзила, но под этим все чаще угадывалось, что простодушие прежнее сменялось каким-то смутным томлением. Пушкин

писал иногда шаловливые записочки уехавшей Нетти, той самой, которая будто бы прислала ему стихи, и отдавал их Евпраксии, чтобы она пересылала, когда сама будет писать. В семье это не было новостью: так же и Анна писала для Льва через Ольгу Сергеевну; подобная тайна придавала письмам особую волнующую прелесть. Пушкин и сам кое-когда вплетался в интригу и дразнил чувствительную Анну: только недавно он сжег перед нею, не прочитав ей, фривольную записочку Льва, присланную через него. Но Евпраксия просто священнодействовала, ее по-настоящему волновало, что переписка шла через нее и она соучастница тайны.

Под болтовню девочки о покойниках и панихидах он вспомнил о Байроне: завтра была как раз годовщина. Еще утром в тетради на внутренней стороне переплета ему бросилась в глаза эта запись, сделанная в Одессе под свежим впечатлением вести о его гибели в Греции. Анета, знаете что, — сказал он попозже, когда случайно остались они с Анной наедине, — завтра день смерти Байрона. Отслужим по нем панихиду: вы у себя, я у себя.

Она подняла на него свои большие глаза. Пушкин не часто дарил ее вниманием, и не знала сейчас: шутит иль вправду? — Вы шутите? — Да. Но и нет, не шучу. — Как вас понять?

Голос ее несколько дрогнул. Этот вопрос прозвучал шире и глубже: как ей вообще понять Пушкина… Она носила в себе такую полноту нежности и обожания, что с его стороны довольно бы было одного только слова, и она, как слеза, упала бы ему на грудь. Однако же этого Пушкин как раз и избегал. Оттого-то так хорошо и было в Тригорском, что именно ничем и никак не чувствовал он себя связанным больше, чем хотел того сам. Но все ж на минуту стало ему ее жаль. Видите что: моя панихида, может быть, будет и маскарадом, — грешник молит за грешника, а ваша молитва должна быть свята.

Анна поднесла платок к глазам и убежала. Пушкин был истинно ею растроган, но это не помешало ему, сыграв несколько робберов в вист и проиграв Прасковье Александровне рубля полтора, шепнуть на прощанье Евпраксии с самым лукавым и отчасти таинственным видом: А когда служат панихиду по настоящему покойнику, то и он может прийти. Смотрите, как бы вам Байрон не стукнул в окошко!

В Ворониче он завернул на Поповку и, не слезая с лошади, сам постучал плетью в окно. — Дома отец Ларион?

На стук его вышла шести-семилетняя девочка; было уже около девяти часов, но она еще не ложилась. — Отец у себя? — Батюшка дома.

Шкода, как и всегда, засуетился, заахал, но тотчас и присмирел. На свече был нагар; потрескивала лампадка перед образами. На столе, не убранном скатертью, стоял полупотухший самовар и лежали городские сухие баранки. Тонкая книжка придвинута поближе к огню; Пушкин узнал: «Бахчисарайский фонтан»! Маленькая Акулинка стояла на половике, положив палец в рот. — Неужели это она читает такую… светскую книжку? А что с ней поделаешь! Сладость стихов… Любит — и выпросила. А я виноват, согрешил, не устоял. — Прасковья Александровна, что ли, дала? — Под страхом смертной казни… чтобы сохранно.

Девочка вынула наконец изо рта палец, но все молча продолжала глядеть на Пушкина снизу вверх. Пусть он не был высок, но отец ее был еще меньше. Серый заплатанный подрясник, который он то и дело одергивал, лоснился на выступавшем его животе, только подчеркивавшем общую его худобу и костлявость. Глазки его засияли при виде любимого гостя; странное подобие дружества связывало этих столь несхожих людей.

Пушкин должен бы Шкоде не доверять, а Шкода — хитрить и выпытывать, но вместо того в их отношениях были и простота и открытость. Шкода, и хитрый, и изворотливый,

никак не мог устоять против Пушкина, даже порою и сам, поддаваясь ему, нет-нет да и прегрешал какою-нибудь словесною вольностью против властей предержащих, тут же, впрочем, и оговариваясь с улыбкой, с ухмылкой, что, дескать, это так… по нищете духовной своей, по «неразумию».

Шкода был очень чувствителен только к религии, но и тут он так был забавен, что было как раз любопытно его поддразнить. Скажет что-нибудь гость, какую-нибудь «неподобную вещь», а Шкода уже воздымает свои руки горе и как бы заклинает (всегда троекратно): — Кощунство! Кощунство! Кощунство! И каждый раз было похоже, как если бы он восклицал перед демоном: — Чур меня! Чур!

Шкода был простодушен и не очень силен в своих богословских науках, он полностью верил в чертей и домовых, в русалок и леших и с неким трепетом обезвреживал «куклы» во ржи, что из-за злобы завязывали, накликая несчастие, на полосе у соседа. Но и после особой молитвы, снимающей заговор, руки его немного дрожали, когда он срезал узел колосьев. И как часто, бывало, он убегал из Михайловского, пораженный какой-нибудь новою «студною» речью хозяина! По обыкновению, Пушкин отказался от чая. Як вам с заказом. Завтра приеду отслужить панихиду по рабе божьем Георгии. Только слушай, отец, — Пушкин мешал «ты» и «вы», — Георгий тот даже не православный. Шкода слегка насторожился: — И имя меж тем золотое и православное, им же и змий побеждается. Ну нет, змия, пожалуй что, он не победил и сам пал за свободу. Но выходит так, Шкода, он-то и есть мученик. — А кто ж, если смею спросить… Да вы не тревожьтесь, все обстоит хорошо: он был помещик, как мы, и даже богатый помещик. — Положим, и вы меня, грешного, не обижаете… Но… иновер? — Да, иновер.

Шкода задумался. Он точно не знал, можно ль служить по иноверцу. Осторожность и страх брали в нем верх. Александр Сергеевич, — заговорил он просительно. — Вы так внезапно… А что, ежели вдруг сам владыка узнает? А нельзя ли молитвы свои вознести в тайне и в духе? Молитва от сердца доходчива! — Вы что же, боитесь? - Я — не боюсь, но опасаюсь.

Где-то мелькнула та «беленькая», которую получил бы, но отклонял: «Воздержись от соблазна, поп Шкода!» — Он грешник был, верно. И бунтовщик. Тем паче: и бунтовщик! Хотя что ж… бунтовщик!.. Да нет, Александр Сергеевич, родной, увольте, прошу вас! Я не стану неволить, — нахмурился Пушкин, — но, значит, ты и по мне не отслужил бы…

Тут Шкода вскочил и простер задрожавшие руки. Голос его дал хрипоту. — Как можно! Да что это вы говорите! — А то самое и говорю: он был поэт, как и я. И стихи сочинял? И хорошие? Да я ведь и сам… вы это знаете, как стихи я люблю… Да моя Акулинка Птичку вашу твердит, как лучшую басню. — Девочка выступила из-за занавески, где было вздумала уже прикорнуть, но отец замахал на нее руками: — Погоди! Погоди! Я не знаю, конечно, как там в канонах, по всей надлежащей их строгости… но за поэта… я вознести… нет, я обязан!

Пушкин никак не ожидал волнения этого, потрясшего Шкоду. Он готов был его притянуть за плечо и похлопать костлявую его неудачливую спину, но сдержал себя, встал и повторил на прощанье: — Так завтра я буду у вас. Панихида по Байроне! Шкода успел только ахнуть.

Весенняя талая ночь полна была невидимой жизни, движения вод. Пушкин пустил своего жеребца шагом. Со Шкодой его разговор был курьезен и неожиданно трогателен, но он уже не думал об этом. Мысли его широко потекли по иному, привычному руслу. Воронич! Теперь это было небольшое село, — когда-то огромный, раскинувшийся на многие версты город и крепость, валы. И Святые Горы, и Савкина гора, и даже само Михайловское — все это было городище Воронич, где теперь пишет он свою старину…

Но старина, как всегда у него, неотделима от жизни. Смутно сейчас рисовался побег самозванца, граница литовская. Он удирал, верно, пешком… А надо уметь хорошо ездить на лошади! Не выписать ли руководство по верховой езде?.. И Байрон ездил отлично, и Альфиери… А что, если вдруг дома ждет Дельвиг? И Пушкин пришпорил коня.

Дельвиг приехал нескоро, в полную ростепель; лужи сияли под солнцем. По дороге он потерял свою шляпу: ветер сорвал ее с головы и унес в полынью на Великой. Волосы его были растрепаны и захолодали: Пушкин почувствовал это, когда, обнимая, прижал к себе дорогую головушку. А что у тебя: перина или тюфяк? — спросил озабоченно, нацеловавшись, барон: рукою он щупал постель. — Знаешь ли, так растрясло! А я безумно рад тебя видеть… Так рад, что хоть прямо на боковую? — И Пушкин с новой силой принялся его тормошить. — Как это ты потерял свою шляпу? — Да, понимаешь ли, ветер. Я кричу ей: «Куда?» — А она не отвечает? — Вот именно, не отвечает и летит прямо в воду. Забавно… Покурим? — Покурим. — И они задымили.

Пушкин курил легко, почти не затягиваясь, он именно больше дымил. Дельвиг же точно курил по-баронски. Он вытягивал губы и поджимал их, пуская кольцо дыма в кольцо. На него было очень приятно глядеть, но и немного смешно: как в Лицее казался он маленьким взрослым, так теперь сквозь всю его взрослость, полноту и солидность проглядывал явственно все тот же, в сущности, мальчик, и вся его журнальная хлопотня, и затеянные им альманахи были прямым продолжением лицейских журналов и кружковой семейной поэзии. Он с удовольствием сам принялся потрошить свой чемодан и только недоуменно поглядывал, куда бы что положить среди пушкинского беспорядка. На диване валялся халат; простой ломберный стол, старый, ободранный, завален был рукописями, кровать убрана кое-как, один из двух стульев шатался. — Ты будто забыл свою лень. А ты вчера будто въехал, — возразил с улыбкою Дельвиг и поправил очки. — А я так всегда!

Дельвиг уже вымылся и причесался. Длинные волосы его мягко спускались теперь на маленькие изящные уши. Лоб велик и высок и выказывал ум, нос был мясист, простоват; то и другое мирила улыбка полных, красиво очерченных губ: в ней отражалась лениво лукавая, спокойная мысль, простодушие. Жажду! — сказал он, достав из чемодана книжку «Онегина». — Ее и искал. Мне вдруг показалось — забыл! — И он осторожно, с любовью погладил обложку. — Жажду услышать, как дальше. Помнишь, ты сам мне писал: бог знает, когда-то мы вместе его почитаем. А вот и довелось… Ты которую пишешь главу? Четвертую. «Эду» ты не привез ли? Что Баратынский: солдат? офицер? Я думал, ты его привезешь — освобожденного! В чине солдата и в салоне Закревской. Влюблен до беспамятства и как будто имеет успех. Пушкин захохотал. Ну, тогда генерал-губернатор усилит ходатайства, только бы с глаз поскорей долой! Поэты с мужьями-вельможами не уживаются… А я думал, что он увлечен простою чухоночкою. Эда Баратынская… Разве это не красиво звучит? И очень возможно, что увлечен. Одно не мешает другому, — вымолвил Дельвиг неспешно. — Баратынский — поэт настоящий. Да, не мешает, — с короткой задумчивостью отозвался и Пушкин. — Ты говоришь: потому что поэт? Ну, а сам ты как, признавайся! Не жениться ли думаешь?

— Женился б, пожалуй, — все так же медлительно ответил барон. — Да хлопотно, знаешь… Как это так: вдруг и жениться. И немного стесняюсь… — Чего? — А того, что храплю. Ты это знаешь отлично.

Пушкин опять хохотал; на душе было весело, ясно: милый барон! Он предвкушал, как покажет его наконец-то в Тригорском.

«Онегин» отыскан, и чемодан был забыт: лень и беспорядочность взяли свое. Но Дельвиг весьма оживился за вином и обедом, за разговорами о литературных делах. Он во

все это очень вникал, знал все журнальные новости и самих журналистов, и кто против кого вел очередную интригу. Щуря глаза под очками, он далеко откидывал голову (как Зизи угадала!) и беззвучно смеялся, слушая пушкинские новые эпиграммы. Особенно ему понравилась последняя из них, на Каченовского: «Как! жив еще курилка журналист?» После обеда, за трубкой, окутанный дымом, он даже острил, по обыкновению, немного тяжеловато: Ты на письме меня спрашивал: жив ли я? Я мог бы ответить как философ: «Я мыслю, следовательно существую». Но вот ты утверждаешь: Жив — курилка! И потому отвечаю: «Я курю, следовательно существую!»

Дельвиг был очень доволен этим своим изречением и каждый раз за новою трубкой его повторял.

Но как же он присмирел, когда Пушкин начал читать незнакомые ему строфы «Онегина»! Он забыл и про сон и про усталость. Самое лицо его переменилось. Глаза стали нежны, мечтательны, но также и пристальны, порою на глубине пробегал огонек восхищения. Казалось, он слушал не одними ушами, но и губами: звуки ложились на них и приводили в движение; рот его чуть шевелился, следуя ритму стихов и лишь иногда растопляясь в улыбке. Полное тело казалось забытым, покинутым, руки и ноги были недвижны. Он воспринимал теперь то самое «пение райской птички, которое слушая, не увидишь, как пройдет тысяча лет».

Пушкин прервал свое чтение, и Дельвиг с дивана вскочил, грузный и легкий одновременно, как перышко. Ах, Александр!— вымолвил он, обнимая его, и, колыхаясь всем телом, заплакал от счастья и радости.— Поэзия… поэзия наша…— И ничего больше не мог выразить.

Успокоившись, он и на диване все клал свою пухлую руку на ногу Пушкина и перебирал по ней пальцами, как бы нажимая на клавиши и повторяя наизусть отдельные места, сразу запомнившиеся.

«Андрея Шенье» он прочел про себя. Может быть, чтение Пушкина так же зажгло бы, но этот стремительный, страстный огонь, как читал сам, разве лишь только его задымил. «Онегин» твой лучше, — сказал он. — Политика вовсе не дело поэтов. Ты это видишь и сам: Шенье твой погиб.

Пушкин эти стихи, пропетые сердцем, никому бы не уступил, но сейчас он только ругнул самого себя: не надо было давать! Он вдруг не прекословил и покорно прослушал все, что тот говорил о неуловимости, и о тайном дыхании, и о том, что поэзия — как шелест листвы. Он только сказал: Дельвиг, неужели ты этого вовсе не понимаешь? Да будь я в Петербурге… ведь там, говорят… — И тут он запнулся, замолк. Ну да, говорят, — возразил Дельвиг спокойно и совсем равнодушно. — Говорят, даже есть будто бы тайное общество. Рылеев, Бестужев шумят! Но они ведь плохие писатели.

Бестужев и Кондратий Рылеев были еще и конкурентами по изданию альманахов, а потому воспитанный Дельвиг счел нужным оговориться: Разве вот только про «Чигиринского старосту» — это у Рылеева подлинно хорошо!

Пушкин не стал говорить, хорош ли Рылеев. Его поразило, что Дельвиг, а значит, и многие подозревают о существовании тайного общества, и, чтобы свести разговор как бы на пустяки, он спросил: — Ну, а «Зеленую лампу» забыл? Что ж «Зеленая лампа»? Яков Толстой не тебе ли писал: «Ах, лампа погасла! Не стало в ней масла!» А впрочем, я и потом состоял в одном тайном обществе. Я не ослышался, ась? Ничуть не ослышался. И оно зашифровано даже — С. Д. П. - Сословие Друзей Просвещения, или салон ныне покойной Софьи Дмитриевны Пономаревой. Вот и все мое тайное общество!

Тут Дельвиг хотел улыбнуться, но улыбка перешла в откровенный зевок. А Пушкин подумал: «Ну как на него будешь сердиться!» — А ты не боялся приехать ко мне? — Ну еще чего-нечего! побоялся, приехал. А вот родители даже и Льва не пустили! Нет, молодец: не было страха, а лень преодолел! Для него это тоже не шутка!.. Дельвиг, а помнишь, как мы про тебя напевали, когда из Лицея ты поехал к родителям: «Дельвиг мыслит на досуге: можно спать и в Кременчуге?» — Не говори мне о сне, всего разморило! Ну, спи! Вот диван. А перину отцовскую няня тебе к ночи готовит: видишь, висит на заборе?

Дельвиг уснул и без перины. Губы его тотчас же безвольно раскрылись, и он задышал с легким посвистом. Пушкин немного над ним постоял, поглядел. «Поэзия — шелест листвы…» Он понимал это и сам, но как же все остальное? И с настоящею нежностью вспомнил: в мае двадцатого года, когда его высылали из Петербурга, в день вознесения, этот вот самый барон да еще брат Миши Яковлева — только они и проводили его от самого Калинкина моста и до Царского!..

В Тригорском барон Антон Антонович Дельвиг, когда на другой день отвез его туда Пушкин, необычайно понравился всем. Он вступил в это новое для него общество немножко вразвалку и разминаясь, как будто бы здесь вчера только был, поздно вернулся домой и недоспал.

Прасковья Александровна видела его еще в Петербурге. Она даже смутно подумывала там об Анне или Алине. Что ж, ничего: жених неплохой, только отчасти… как говорят про пироги, — сыроват! Но постепенно сегодня надежды ее возрождались. Дельвиг размялся-таки и оживленно болтал. Особенно мил, пожалуй, был с Анной, и Анна к нему благосклонна. Да и то сказать: с Алиною можно еще повременить!

И за обедом Дельвиг забавно рассказывал, как он зазвал однажды приятелей, обещав угостить их роскошным обедом, в самую что ни на есть последнюю харчевню, где даже ложки к столу были привязаны, а на стол подали щи да кашу… Рассказывал он весело, со свойственным ему добродушным лукавством, чокался с барышнями и очень галантно прикладывал руку к груди. Но, плотно покушав, после обеда он быстро опять осовел.

«Точно медведь не вовсе проснулся весной!» — так про себя определила Евпраксия, все же любуясь привлекательным этим увальнем. Дельвиг покрякивал, поправляя очки: А бульвара уж нет. Пушкин, ты знаешь? Где Онегин гулял. Начисто вырубили, — и долго сладко зевал. А Euphrosyne — это очень мило, скажу. Это имя одной из трех граций. — И прикрывался рукой.

Еще через полчаса его уложили в гостиной. Он не протестовал, ссылаясь на то, что, дескать, дорога слишком его разморила: Эти ухабы… прямо как люлька, так и укачивают. Особенно после болезни. — После горячки, однако же, кажется, ты не похудел. — Пушкин, молчи! Так с вашего разрешения я…

Разрешение последовало. В гостиной огня не зажгли, и скоро в соседние комнаты донесся блаженный и гармонический свист. Евпраксия то и дело подбегала к дверям и отходила в раздумье, покачивая головой. Она хлопала себя по бокам и говорила: — А наш Антон не тужит о том: храпит да храпит! — Зизи, помолчи, он может услышать! Услышал такой-то один: да ему хоть из пушек пали!— Но и в самом осуждении этом была определенная нотка восхищения.

Дельвиг проспал часа два, и наконец Пушкин пошел его разбудить. Барон ото сна разомлел: спал бы еще! Волосы спутались, лицо разгорелось; жалко сразу его подымать. И опять принялись оба болтать о том и о сем — о пустяках: о Лицее, о давних проделках и шалостях… В дверь, не дождавшись их выхода, постучала Евпраксия: Изволили встать? —

Она забавлялась, как если бы говорила с новой замечательной куклой. Войдите, Зизи! — крикнул ей Пушкин. — Тут все равно ничего не видать!

Повторять она не заставила, тотчас же воспользовавшись приглашением Пушкина и отсутствием старших, которые могли б помешать. С легким вас паром!— пропела она, будто бы Дельвиг действительно был игрушечным медвежонком, который к тому же только что возвратился из бани. — Как почивали? Что вам приснилось? — И скромно она опустилась на кресло подальше. Постойте, что видел?.. Да, кажется, яблоки ел… печеные, с сахарной пудрой! — Дельвиг потягивался и немного урчал. Вот жалко, что за обедом не испекли!.. А почему это так вас зовут: Антон и Ан-то-но-вич? — У него и отец тоже Антон Антонович! — смеясь, сказал Пушкин. Это в роду у нас. И дед и прадед мои тоже Антоны Ан-то-но-ви-чи! — растягивая отчество, передразнил ее Дельвиг. Вот как смешно! Это значит — вы прочные! А хотите, я вам яблочков свежих с чердака принесу? А и правда: давайте пойдем на чердак! — понравилось Пушкину. — Там хорошо. И запах особенный.

Евпраксия тотчас подхватила; не отказались и старшие сестры, быстро накинули шубки: это как развлечение. Прасковья Александровна только несколько было забеспокоилась: в амбаре темно, и как бы огня не заронили! Но молодежь шумно направилась к выходу. — Дельвиг, не будешь курить? — Я буду яблоки есть. Только антоновских нет уже! — возгласила Евпраксия. — А если хотите моченых, пожалуйте в погреб!

После весеннего синего вечера в амбаре особенно было темно. Засветили при входе фонарь. Запахи были внизу далеко не яблочные: пахло мышами, дегтем, мукой. Вы осторожней, тут гири, — предупредила Анна, но Дельвиг успел уже стукнуться лбом о коромысло весов. — Не больно? — Ничуть. А тут вот у лестницы кадка, — болтала Евпраксия. — Для мышей! Сверху полова от конопли, а они думают, что самая конопля. Ступят — ив воду. Смотрите не упадите и вы! — и, подумав, добавила: — А то кой-когда и ежика держим. Дельвиг теперь ступал осторожно, держась за перила. — Как это у тебя, — вспомнил Пушкин: — «Хлоя старика седого…» — Не помню. Забыл. По такой же вот лесенке, Зизи, только к окну, старик полез к девушке, а она ему — зеркало. Он испугался себя, подумал, что леший, и полетел… — А зачем он полез? — А она сама позвала! Ну раз позвала, уж это не честно! — протянула Зизи, но тотчас, обернувшись, почти закричала прямо в очки оторопевшему Дельвигу: — Окорока! Осторожней!

Миновали благополучно и окорока. Лестница кончилась. На чердаке грандиозная паутина и пыль, валялись колеса и хомуты, остов повозки, горстями висели лен и пенька. Огромные тени скакали по внутренним слежкам соломенной крыши. Ноги ступали по стружке и по золе. Все невольно примолкли. Направо, сюда, — прошептала Евпраксия, и один по одному вступили направо, в особое отделение — яблочное.

Тут на полу устлано густо соломой, разделенной на гнезда — для каждого сорта отдельно. Большая часть этих гнезд, впрочем, уже пустовала, что не помешало Евпраксии несколько даже торжественно провозгласить: — Ложитесь и выбирайте, кому что по вкусу.

Пушкин, шутя, одну за другой, по-деревенски, повалил девушек прямо в солому, как толкают в сугроб. — Дельвиг, смотри опять не засни! Все ли вы слышали, как он храпел? Дельвиг что-то хотел возразить, но храбро его перебила Евпраксия: — А настоящий мужчина и должен храпеть!

Все рассмеялись и принялись оживленно болтать. Дельвиг яблоки ел с наслаждением и лишь изредка подавал короткие реплики, путая Анну с Алиной: имена с самого детства Антону Антоновичу давались с трудом. Расшалившись, Евпраксия приоткрыла фонарь и дунула на огонь. — Чья это рука? Угадайте!

Так начались деревенские маленькие вольности. Дельвиг, посапывая, путал и руки, но, методически и не спеша, яблочным ртом целовал все их по очереди. Барышням было забавно, они разболтались, но Пушкин как раз и примолк. С ним это случалось.

Странная грусть оседала на сердце, как еще сюда поднимались. Теперь же, не видя, но чувствуя Дельвига между девиц, он как бы со стороны созерцал собственную свою деревенскую жизнь, вдруг показавшуюся такой сжатой и скудной. Как недавно и как беззаботно болтал на диване в потемках с товарищем и как быстро сейчас уже самая грусть эта переходила во внутреннюю суровость и напряженность! Дельвигу что! Приехал, уедет… А так-то всегда, изо дня в день, на долгие месяцы, может быть, годы?

Рядом дышала Алина, и завитки ее легких волос слегка щекотали его. Это его должно б волновать, и он мог бы сейчас безнаказанно коснуться губами этой близкой и нежной щеки: минута была подходящая, и все было бы просто, — но вместо того, покорствуя своему одинокому чувству, он подобрал осторожно колени и неспешно, легко, как потревоженный зверь, поднялся на ноги и отошел к слуховому окну.

Суровость его и сосредоточенность, как внезапная туча, выросли в злую тоску. Это всегда постигало его неожиданно и всего чаще весной. Меркло вдруг солнце внутри и все куда-то проваливалось. Став на бревно, он заглянул в маленькое это оконце, за которым смутно серели стволы и ветви деревьев, еще лишенные жизни. Говор и смех долетали теперь как бы из отдаления, он обо всех почти вовсе забыл. — Пушкин, ты что? — Гляжу. Ничего.

Спасение в том, что это всегда было коротко, и когда, погодя, он услышал встревоженный голос у самого уха: «Александр! Да что это с вами, скажите!» — он поймал у себя на плече руку Анны и, поднеся ее к губам, ответил, почти издеваясь, но и с большой простотой: — Со мной? Ничего. Может быть, я немного вас приревновал. Конечно, об Анне он думал меньше всего, но сама она и в темноте ощутила, как кровь прилила к ее коже.

Другие же вовсе не обратили внимания на отсутствие Пушкина — кое-когда с ним это бывало.

Но как налетало внезапно это темное облако, так же быстро оно и уплывало, рассеиваясь. За ужином Пушкин шутил уже как всегда, и никто б ничего в нем и не заметил. К этому тоже привыкли: вдруг посреди разговора и смеха он поднимался и отходил к дивану в углу; там он сидел молча, один, ушедший в себя, и рассеянно, как бы издали, глядя на шумевшую в комнате жизнь.

За ужином было светло, белая скатерть, вино. И Дельвиг опять разошелся, снова пленяя затуманившуюся было Прасковью Александровну — хозяйку и мать. Он был весьма музыкален и напевал; читал свои народные песни, а по требованию Евпраксии вспомнил и «Хлою»:

…Хлоя старика седого Захотела осмеять; Вместо парня молодого Пригласить и в гости звать. И любовник спотыкнулся, Будто грянул сильный гром. С криком в три дуги согнулся И считает бревны лбом.

— А впрочем, вам рано еще слушать такие стихи, Евпраксия Николаевна! И не Евпраксия Николаевна, а просто Зизи, а кроме того, и вы вовсе не старый! — ответила она бойко и убежденно.

Все рассмеялись. Выходило будто и вправду, что Зизи увлекала Антона Антоновича на чердак из кокетства и чтобы он там в темноте посчитал бревны лбом. «Ведь вот какая Зизи! Она сама, будто бабочка, порхает с цветка на цветок… А те сидят и цветут, будто розы, и дожидаются. Трудно будет мне с ними… ох, трудно!» О чем это вы так задумались, Прасковья Александровна? — спросил ее Пушкин, и по тону его она догадалась, что он

прочел ее мысли. О том самом, — отвечала она, не в силах не отозваться на его дружеское лукавство: как он все понимает, вот человек!

И, сама не замечая того, вздохнула уже совсем по-иному, легко и беззаботно. «И чего, в самом деле, все думать, заботиться? Разве это — вот 173 то, что сейчас, — разве это не… радость?» И про себя думая: «радость», она выбирала еще самое скромное слово. — А и еще не почитать ли стихов? — И глаза ее были молоды, веселы. — А что ж? Ну, Дельвиг, прочтем-ка мы вместе, — отозвался Пушкин. — Как вместе? — заволновалась Зизи. Но Пушкин вместо ответа сказал: Я, кажется, помню начало. Тряхнем стариной. Помнишь Кошанского? Это наш профессор в Лицее… — А что именно? «На смерть графини Ожаровской». А ты прочитаешь потом свою пародию «На смерть кучера Агафона». Дельвиг развел было руками, но Александр уже декламировал:

…Ни прелесть, ни краса, ни радость юных лет, Ни пламень нежного супруга, Ни сиротство детей, едва узревших свет, Ни слезы не спасли от тяжкого недуга… И Ожаровской нет!

— А Агафон был кучер в Лицее, отставной солдат с этакой вот бородой!

Дельвиг послушно сжал губы, поправил очки и медленно, важно заговорил, как если бы произносил надмогильную речь;

…Ни рыжая брада, ни радость старых лет, Ни дряхлая твоя супруга, Ни кони не спасли б от тяжкого недуга… И Агафона нет! Погиб, как от копыт огонь во мраке ночи, Как ржанье звучное усталого коня…

Так в этот вечер долго еще дурачились оба поэта, вспоминая счастливейшие лицейские дни. Но когда Дельвиг стал показывать дамам какой-то забавный карточный фокус, Пушкин стал у стены, заложил руки за спину. Он размышлял о недавней своей тоске. «Больше всего боюсь я сойти с ума. Как-нибудь вдруг и нечаянно. Проклятые предки!» Он забылся и вслух произнес: — И поскорее бы проходила весна! — Ты что это там говоришь? А я стоял тут и думал: хорошо бы что-нибудь вместе нам сочинить на смерть тетушки Анны Львовны. Ты большой мастер на такие вещи…

Дельвига все провожали гурьбой, по обычаю, и отпустили, лишь взяв с него слово, что он каждый день будет к ним приезжать.

Но каждый день приезжать — это не было в стиле медлительного Антона Антоновича. Кроме того, он наслаждался полностью Пушкиным только наедине с ним — спокойно и не торопясь. Он любил своего беспокойного друга всею душой, и Пушкину с ним было легко; сам он все эти дни снова был весел и деятелен. На часок прикорнув среди дня, Дельвиг способен был провести за беседой целую ночь.

У Пушкина не раз возникало искушение почитать хотя бы немного из «Бориса», но он брал себя в руки и характер выдерживал, лишь намекнув, что у него задумана эта тема. Гость, впрочем, особенно и не расспрашивал, его по- настоящему влекла только лирика. Вместе они еще раз перебирали стихи для предположенной новой книги Пушкина. Дельвиг стоял за строгий порядок в расположении, Пушкину хотелось порою всю книгу переворошить. Спорили и об отдельных стихах; тут Пушкин был строже и был склонен выбрасывать многое.

Как часто, бывало, в давнее время он поправлял стихи Дельвигу! Тот, конечно, был сам по себе и не был его учеником, но всегда очень слушался. По-иному слушал его замечания Пушкин, и иногда про себя, отнюдь ничего не уступая, только наоборот — усиливал какое-нибудь спорное выражение или отдельное слово. Сочинили вдвоем и озорную «Элегию на смерть Анны Львовны». Не обошлось в ней, конечно, и без дядюшки Василия Львовича, «обмочившего» гроб ее стихами; помянули и цензора…

Дельвиг любил эти легкие стихотворные шутки и этот семейственный стиль. Он весьма высоко оценил и недавно написанную Пушкиным, конечно, не для печати, издевательскую «Оду его сиятельству графу Дмитрию Ивановичу Хвостову». То и другое он взялся переслать болевшему Вяземскому, для которого Пушкин, хоть и терпеть не мог переписывать, собственноручно перебелил также и всю вторую главу «Онегина».

Гулять далеко они не ходили. Дельвиг в ходьбе уставал. Но он очень любил спускаться к берегу Сороти и, подбирая ракушки, вздыхать об устрицах. Внезапно в одну из таких мирных прогулок он сделал признание: — А в сущности говоря, женитьба, конечно, дельная вещь. Уж не влюбился ли ты в кого из тригорских? В которую? Ну? Я буду сватом. Нет, я боюсь, что я очень ленив, чтобы влюбиться. Но, знаешь, семья… Действительно, есть в этом что-то… Только она чересчур молода. Вот как: Зизи! Ну, тут я сватом не буду! Я, пожалуй, и сам подожду. Но только какие же мы женихи! У тебя есть хоть служба… С которой не чаю, как и разделаться. Вот погляди… От Оленина. Я, видишь, просил о повышении в чине, а мне вот что ответили… Кажется, в ноябре еще получил. — И Дельвиг, порывшись, достал из кармана официальный полуистлевший листок. — А ты так и возишь с собой? — Так и вожу.

Пушкин читал деловую бумагу и улыбался. «По письму вашему я давно уже приказал изготовить представление о повышении вас в следующий чин за выслугу лет, но не прежде оное представлю, как тогда, когда вы приведете, милостивый государь мой, часть библиотеки, вам вверенную, в надлежащий порядок, о чем поручил я меня известить господину библиотекарю императорской публичной библиотеки надворному советнику Крылову». — Ну что же, в порядок привел? Да как ее приведешь! Нет, не привел. А и привел бы, Иван Андреевич не удосужился б доложить еще столько же времени…

Замечание это Пушкин вполне оценил: баснописец Крылов был, конечно, в служебных делах еще большим ленивцем, чем Дельвиг. Тот меж тем спрятал бумагу и как- то шутливо-покорно вытянул губы: — А я уж и подал в отставку.

Так, смеясь, разговаривая, дошли в этот день и до Тригорского. Посыпались возгласы: — Что так давно не бывали? — Боже, пешком! — А обещали стихи: принесли?

Дельвиг стихи держал при себе. Прасковье Александровне он записал «Застольную песню». Впрочем, она была написана раньше и посвящена двум приятелям; как-то нового ничего не сочини лось, кроме одной только даты: «Село Михайловское, 23 апреля 1825 года». Но Анне Николаевне действительно написал — на память о доме их, где зацвело веселое дружество:

…Где вас узнал я, где ясней Моя душа заговорила И блеск Гименовых свечей Пророчественно полюбила. Так накликал он себе скорую свою женитьбу.

Альбомы пополнились новыми автографами; это всегда бывало приятно. Но стихи на смерть тетушки Анны Львовны несколько покоробили Осипову. Она не нашла в них ничего остроумного. Пушкин, однако, взметнул на ее замечание фалдами фрака, вежливо ей поклонившись, и прокартавил, опять подражая титулярному советнику Мурлыкину: Я надеюсь, сударыня, что мне и барону Дельвигу разрешается не всегда быть умными.

Больше всех в доме веселилась Евпраксия, и душевней всех с Дельвигом была Анна. Эти строчки о блеске свечей Гименея, в девическом ее воображении вызвавшие картину венчания жениха и невесты, белоснежной фаты, волновали ее глубоко; они говорили о том, что могла же она навевать подобные мысли. И это не было беглою фразой, брошенной мимоходом, это запечатлено на бумаге и останется отныне непрестанным напоминанием. Но возникала одновременно и постоянная, сопутствующая дням ее горечь: Пушкин ей не написал до сих пор ни строки… Он ревновал ее… так ли? Она зорко следила, как он относится к ее обхождению с Дельвигом, но — увы! — Пушкин был невнимателен иль

равнодушен. «Как все это могло бы зажить и запеть!» — вспоминала она осенние мечтания свои, когда Александр еще не приезжал. Но было все так, как за окном: все было голо, и ничто не зацветало… Она ждала теперь Керн, которая все это должна понимать: она ей откроется и спросит совета.

Перед отъездом Дельвиг у них побывал всего еще только раз. Ему устроили настоящее пиршество, в результате которого отъезжавший припомнил любимую свою пословицу русскую: — Если трое скажут тебе: ты пьян, то ложись спать.

Спать теперь приходилось в возке — под звон бубенцов. Прощай, жених!

Дельвиг отъехал, как и приехал, просто, легко. На прощанье в зале сыграли партию на облезлом, проеденном молью бильярде. Перед самым отъездом он выпросил па память себе черную рукопись той самой тетради, что так долго гостила у Всеволожского. Пушкин в дорогу дал ему также и шляпу свою, которую за эти дни Дельвиг успел обносить. Он долго ею махал, прощаясь с Михайловским, с Пушкиным.

След от его посещения не был глубок, но Пушкину долго чего-то все не хватало. Няня сказала о госте:

— Хороший барчук, да только, видать, недолговечный: все ему дремлется.

В Тригорском оставил он также добрую память. Евпраксия после отъезда его убрала окончательно и последние игрушки свои, что еще от детских лет стояли, как память, на полочке у кровати: — В них невозможно играть: они ненастоящие! — А что скажете вы? — спросил Пушкин у Анны.

— Что я скажу? А то, что он лучше вас, но… — И Анна запнулась, докончив лишь про себя: «Но люблю я все-таки вас».

Однако ж от Пушкина ничто не оставалось укрытым. Они друг на друга взглянули, и Анна перевела разговор на другое: о недалеком уже приезде кузины своей — Анны Петровны Керн. Ей захотелось развеять грустные свои мысли, и она, улыбаясь, сказала — как легкую шутку:

— А я вам предсказываю, что вы влюбитесь в мою прелестную тезку! Хотите пари?

Глава пятнадцатая

ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ

Шутливое предсказание Анны, что он влюбится в Керн, не только позабавило Пушкина, но и снова вызвало в его воображении памятный вечер у Олениных, и красавицу Клеопатру с корзиной цветов, и то, как разбудила она юношескую его любовь к Бакуниной. Когда-то писал он свое озорное письмо к Родзянке на Украину — про Анну Петровну: «Говорят, она премиленькая вещь, — но славны Лубны за горами». Теперь из-за гор они надвигались сюда, но никаких особенных чувств к ожидаемой «премиленькой вещи» Пушкин в себе не обнаружил. И это случайно сорвавшееся с пера определение, в котором было больше иронии, чем истинной похвалы, лишь подтверждалось теперь запоздалым ответным письмом Родзянки-предателя, тугим и даже порою корявым по слогу, но в то же время достаточно явно циничным по смыслу, да, пожалуй, и собственными приписками Анны Петровны, в которых было разве кокетство, но никакого очарования.

Между прочим Родзянко писал о ней: «Вот теперь вздумала мириться с Ермолаем Федоровичем: снова пришло давно остывшее желание иметь законных детей, и я пропал. Тогда можно было извиниться молодостию и неопытностию, а теперь чем? Ради бога, будь посредником». Этого еще недоставало! Но все же посмотрим, посмотрим…

Весна между тем продолжала тревожить и угнетать, и от одних этих своих ощущений впору было бежать из принудительного родительского гнезда.

Рылеев писал ему: «Петербург тошен для меня: он студит вдохновение; душа рвется в степи». Пушкин отвечал ему в тон: «Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Как быть?»

И письмо и ответ — оба признания — приходились на май. Весна была дружная, но разве лишь птицы привлекали к себе внимание Пушкина. Синицы-лазоревки давно передвинулись к северу, а вслед за грачами и жаворонками зазвенели с юга малиновки, стрижи и касатки и многое множество прочих — привычных и безыменных. На желтом закате однажды, как лежал еще снег, широко махая крылами, прибыл и аист, улетавший и прилетавший из года в год на старое место над озером у самой дороги. Откуда сюда прибывал? Быть может, из Африки. Все эти дальние птичьи полеты никогда не оставляли его спокойным.

Рылеев мечтал о степях: Пушкину степи известны; Петербург студит вдохновение: очень возможно; куда же податься? Как быть? И возникла опять мечта о побеге. План отправиться с Вульфом под видом слуги отпадал: Вульф за границу не ехал. Но возникали другие возможности: Жуковский был очень обеспокоен новыми слухами о нездоровье своего Михайловского друга.

«Мой милый друг, — писал он ему, сильно взволнованный, — прошу тебя отвечать как можно скорее на это письмо, но отвечай человечески, а не сумасбродно. Я услышал от твоего брата и от твоей матери, что ты болен. Правда ли это? Правда ли, что у тебя в ноге есть что-то похожее на аневризм и что ты уже около десяти лет угощаешь у себя этого постояльца, не говоря никому ни слова. Причины такой таинственной любви к аневризму я не понимаю и никак не могу ее разделить с тобою». — «У вас в Опочке некому хлопотать о твоем

аневризме. Сюда перетащить тебя теперь невозможно. Но можно, надеюсь, сделать, чтобы ты переехал на житье и лечение в Ригу».

Пушкин тотчас отозвался. «Вот тебе человеческий ответ: мой аневризм носил я десять лет и с божией помощью могу проносить еще года три. Следственно, дело не к спеху, но Михайловское душно для меня. Если бы царь меня до излечения отпустил за границу…» И он прилагал в черновике письмо «самому Белому», оговариваясь: «…кажется, подлости с моей стороны ни в поступке, ни в выражении нет. Пишу по-французски… если покажется это непристойным, то можно перевести, а брат перепишет и подпишет за меня». (В числе Левушкиных разнообразных талантов было и его умение подписываться за брата.)

Пушкин очень надеялся на это письмо и уже мысленно прощался с холмами и рощами, с озерами, с Соротью, с аистом, стоявшим в воде, как на часах, внимательно-важно подкарауливая какую-нибудь неосторожную рыбешку. Прасковья Александровна и радовалась за своего Александра, и грустила. Эта верность ее трогала Пушкина, и он написал ей несколько дружеских строк:

Быть может, уж недолго мне В изгнанье мирном оставаться, Вздыхать о милой старине И сельской музе в тишине Душой беспечной предаваться. Но и вдали, в краю чужом, Я буду мыслею всегдашней Бродить Тригорского кругом, В лугах, у речки, над холмом, В саду под сенью лип домашней.

Осипова даже всплакнула, читая, и, отодвинув стихи, обняла дорогого поэта. А мы все… а я… — что-то пробормотала она, но не могла ничего выразить путного.

Самое письмо императору было составлено в духе воображаемого с ним разговора. Пушкин убрал только иронию, но оставил надежды на «великодушие». Он не слишком-то, по совести, был обеспокоен своим «аневризмом», но, опираясь на необходимость безотлагательной операции, просил дозволить ему удалиться в Европу, «где я не был бы лишен всяческой помощи». Письмо было коротко и не удовлетворило петербургских друзей и родных. Да они и не считали возможным подымать разговор о таких вещах, и Пушкин скоро узнал, что письмо его не было подано, а вместо того царю написала сама Надежда Осиповна, следуя в том наказу Жуковского и Карамзина. Письмо ее было чувствительное, но хоть в нем и была всего только скромная просьба о Риге, в ответ последовало милостивое разрешение отправиться… в Псков!

Пушкин был в ярости, но, сдерживаясь, позволил себе лишь иронически отозваться Жуковскому: «Неожиданная милость Его Величества тронула меня несказанно, тем более что здешний губернатор предлагал уже мне иметь жительство в Пскове, но я строго придерживался повеления высшего начальства. Я справлялся о псковских операторах; мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге о лечении лошадей. Несмотря на все это, я решил остаться в Михайловском, тем не менее чувствуя отеческую снисходительность Его Величества». Пушкин надеялся, что весь яд его слов дойдет до Жуковского, на которого также был он сердит.

Позже писал он и Дельвигу о петербургских намерениях ходатайство его «передоложить»: «Напрасно; письмо моей матери ясно; ответ окончателен. В Пскове, конечно, есть лекаря — чего ж мне более?»

Но в Псков он не поехал.

Расширение вен, на которое Пушкин ссылался, нисколько ему не мешало в пешеходных его путешествиях. До Святых Гор он доходил совсем незаметно. По дороге ему попадались ручьи, он их перепрыгивал. Крестьянские крепкие избы с высоко прорубленными, по-северному, маленькими окнами молчаливо встречали быстрого путника. Изредка за стеклом

блеснет и исчезнет любопытный девичий взор или белоголовый, с большим животом, безмолвно проводит глазами какой-нибудь сосредоточенный карапуз. Шагай без помехи и размышляй!

Монастырь на горе поблескивал золотом глав, кое-когда разговаривал колоколами. Пушкин теперь и к Ионе привык, он узнал его слабость к спиртному, слушал его приговорки и неожиданно для самого себя увидал в нем однажды своего Варлаама: сцена «корчмы на литовской границе» в то время его занимала.

В тот день из монастыря он прошел и в Тригорское. На дворе ни души; окна открыты. Кто-то длительно и несколько монотонно один говорил. Он подошел и стал слушать, его не заметили. Это Анна читала, как он тотчас догадался, Сервантесова «Дон-Кихота». Этой сцены в переводе Жуковского — он помнил наверное — не было. Французский же перевод был, кажется, легок, удачен, и Пушкин заслушался, следя между тем и за мирной домашней картиной: и сама Прасковья Александровна, и Евпраксия, и Алина, казалось, поглощены были работой, но они и внимательно слушали чтение.

Это тоже была сцена в корчме, когда, после потешной потасовки, один из стрелков Санта Эрмандад вдруг вспомнил, что у них есть приказ о задержании Дон-Кихота, отпустившего на свободу каторжников; и это было совсем так, как и розыски Гришки Отрепьева царскими приставами.

Пушкин не выдержал и, выхватив палку, перескочил одним махом через подоконник. К черту Санта Эрмандад! Приметы мои, но я выскакиваю в окно и убегаю. Здравствуйте.

Это необычное его появление произвело настоящий переполох в гостиной у Осиповой. Анна с легким вскриком выронила книгу, мать спутала пряжу, Евпраксия завизжала и подобрала под себя ноги, и только Алина осталась спокойной, подняв на него ясные, оленьи глаза. Вот именно так: поглядывает и проверяет! Хорошо! Благодарю вас, Алина! А мне мерещилась все «Сорока-воровка»: помните, как вы тогда притащили опенки и я уезжал на телеге… Благодарю!

Он поднял упавшую книгу и заглянул, что было дальше. Дальше священник стал проверять приметы Дон-Кихота.

— Да, а у меня пусть сам он начнет проверять и кивать на Иону…

— Но что с вами, Александр? Не бредите ль вы? При чем тут игумен?

Прасковья Александровна, здравствуйте! Здравствуйте все! Простите меня, я нисколько не брежу, но он… самозванец… как я, непременно выхватит нож и прямо наружу — в окно!

Пушкин был весел и прыгал по комнате, шутливо осуществляя свою «сцену в корчме» в гостиной у Осиповой. С разлету схватил он с дивана Евпраксию — так, как сидела, с поджатыми ногами — и с этим живым теплым клубком провальсировал наискось через всю комнату, приговаривая: А я бы такую вот еще… теплую кошку… с собой прихватил, прихватил… Ну, не мяукать!

Дома, когда возвратился, сцена «корчмы на литовской границе» писалась легко, горячо. Он с наслаждением пересыпал речь Варлаама прибаутками и приговорками игумена Ионы: «иное дело пьянство, а иное чванство», «а у нас одна заботушка: пьем до донушка, выпьем, поворотим — и в донушко поколотим!». Когда б Варлаама в корчме и подлинно звали Ионой, он пошутил бы, пожалуй, еще, как было и нынче за трапезой у почтенного отца игумена, и об «Ионе во чреве кита» и о «чреве Ионы»…

Пушкин в ту весну часто ходил в Святые Горы; его привлекала толпа у монастыря и, каждый раз после службы, подобие ярмарки. Сев яровых миновал, и ослабело напряжение сельских работ. Помещикам вовсе нечего было делать, и съезжались они с бубенцами, хвастаясь сбруей и лошадьми; у коновязи бывала и перебранка за место.

На троицу в церкви стояла жара, духота — от дыхания и пота людей, от разогретого воска. Ближе к приделу било в стеклянные двери еще и солнце; оно топило в своем ярком сиянии свечи, делая их совсем призрачными. Впереди, по обычаю, плотной стеной — мужики, аккуратно подстриженные, а на затылке подбритые обломком косы, с густо промасленными деревянным маслом расчесами; впрочем, случалось, волосы пахли и квасом. Бабы и девки, в лентах и бусах, жались друг к другу в притворе.

В этот торжественный день всею семьею Вульфы и Осиповы были в монастыре. Все шло спокойно и чинно, как и всегда, но во время молебна, когда в третий раз опускались с молитвой на траву, щедро накиданную на старые холодные плиты, Евпраксия, вдруг подобрав свое белое нарядное платье, чуть не бегом устремилась к дверям: от густого цветочного запаха ее замутило… Мать была в истинном огорчении от «скандала»; усмехнувшись, Пушкин вышел вслед за Зизи. За стенами церкви шумело скромное торжище.

Ярмарка на троицу бывала не столь велика: главный съезд предстоял в «девятую пятницу». Но Александр, отыскавши беглянку, все же увлек ее между телег к двум- трем палаткам с дешевыми сладостями и бабам с мешками подсолнухов и грецких орехов; нищие обступили их. Пушкин давал им мелочь, не глядя. Но он даже забыл свою юную спутницу, как запели слепцы стародавние духовные стихи.

Волнение его было двояко. Каждый раз, как он видел убогого, а особливо слепого, у него пробегало острое чувство стремительной жалости: невозможность помочь! Жалость эта бывала подобной уколу, и не сопровождалась она ни размышлением и ни каким-либо длительным чувством: пронзала и уходила, оставляя его немым. Еще недавно томился он над стихами: что написать слепому Козлову, приславшему книгу с собственноручною, несмотря на слепоту, надписью? Выручил Вяземский, обративший внимание в статье своей о «Чернеце» на фразу издателей: «Несчастие, часто убийственное для души обыкновенной, было для него гением животворящим». Пушкин прочел, и его как бы развязало:

Певец! когда перед тобой Во мгле сокрылся мир земной, — Мгновенно твой проснулся гений.

Не таковы ли были и эти слепцы? Да, но они волновали и глубже: самым напевом, словами, как бы начертанными древним полууставом.

Пушкин их слушал. Внутреннее волнение охватывало его, но что мог он сделать для них? Он достал двадцатипятирублевую ассигнацию и протянул мальчику-поводырю. В глубине души ему было стыдно, что приходилось расценивать это на деньги… Он очень ценил духовные эти «стихи», запоминал их, записывал; это была живая история языка и народной культуры давнего времени.

Когда кончилась служба и все вышли на воздух, Пушкин сказал: Хорошо бы теперь всем ко мне, венки завивать, да пирога дома нету. А для Зизи, после молитвы на тощий желудок, особенно хорошо б пирога. Я жду вас к себе на девятую пятницу.

— А зато теперь к нам!

— Ничего не поделаешь: зато теперь к вам.

Пушкин был при деньгах и перед девятою пятницей дал широкие полномочия няне: пирог, и обед, и вино.

— Все это можно… а как у нас?.. — Няня боялась расходов. Да ведь не я угощаю, а ты, шутливо ответил ей Пушкин. — Деньги-то я за тебя получил.

— Да как это так: за меня? А вот так! Шестьсот-то рублей? Забыла? А за Танину няню! Не веришь, что так заплатили? Да спросила б у Дельвига. Надо почаще с тобой разговаривать — будем богаты!

Пушкин, тогда же как получил, похвастался и перед Вяземским: «За разговор с няней без письма брат получил 600 р. Ты видишь, что это деньги, следственно должно держать их под ключом».

«Держать под ключом» — это было, конечно, не о деньгах, а о стихах, денег же Пушкин и сам держать не умел. Но он так свободно об этом писал потому, что уверен был: Лев заплатил уже Вяземским из двух тысяч, взятых им у Плетнева, тот одесский памятный долг, тоже как раз шестьсот рублей, которые княгиня Вера Федоровна у Пушкина не взяла. Пушкин все еще имел неосторожность кое в чем полагаться на брата…

Он, конечно, даже и не хвастался. Он хотел показать, что у него деньги есть: дабы Вяземская не вздумала их ему возвращать. Если бы только он знал, что возвращать ей нечего! Так этой истории с долгом суждено было и еще длиться…

На девятую пятницу собирались еще накануне, и на монастырском дворе, и на горе по откосу уже с вечера дальний народ ночевал, а торговцы воздвигали палатки.

Невзирая на ужас Арины Родионовны и к общему веселью всей девичьей, Пушкин на ярмарку отправился так, как иногда обряжался у себя только дома. Он был в ситцевой красной рубашке, подпоясанной голубым поясом, и в соломенной шляпе, вывезенной им еще из Одессы. Из закупленного няней к приезду гостей всяческого добра он захватил с собой штук пять апельсинов.

— Лазаря, мамушка, буду петь, так чтобы голос прочистить!

Бородатый и обстоятельный Петр, ходивший у Пушкина в кучерах и смазавший только что салом шлею, выронил хомут, увидав своего барина, готового к путешествию: о лошадях нечего было и думать, верно, опять возьмет с собою дубину! Александр Сергеевич так ему разъяснял: чтоб рука при стрельбе не дрожала; руку будто крепит…

И Пушкин действительно взял свою палицу и отправился этаким настоящим богомольцем. К службе он не ходил, чтобы народ не пугать, и замешался в толпе нищих слепцов у монастырских ворот. Все же многие его узнавали, но он на поклоны и оклики не отвечал. Порою, входя в свою роль, он увлекался и брал у кого-нибудь из певцов длинную трость с бубенцами, потряхивая ими в такт песне; порой отходил и задумчиво ел апельсины, сдирая кожу их длинными своими ногтями. Он был живописен, и городской (из Опочки) лавочник Лапин, залюбовавшись, даже забыл торговать, пока Пушкин их ел, а сам считал: сколько же съест?

«Он пришел пеший… Как я поеду с ним… этак?» — подумала Осипова, до которой из уст в уста шепоток достиг даже в церкви. Миленький Пушкин! — давилась от смеха Евпраксия. — Я с тобой русскую буду плясать!

Смутные слухи дошли и до исправника, стоявшего у левого клироса, и, между слов тропаря, который любил он подпевать сиповатым баском, блюститель порядка, коротко и энергично, как бы оторвавшись от деловой важной бумаги, негромко, в седые усы, приказал вестовому пойти поглядеть, что там такое, и навести порядок. Вестовой увидал у ворот массу народа, заслонившего проход в монастырь. Опытным оком определил он смутьяна и сурово потребовал, именем капитан-исправника, прекратить безобразие. Алексей человек божий не есть безобразие, — ответствовал Пушкин и продолжал петь со слепцами.

— Кто ты таков? — грозно спросил, подступая, полицейский служака.

Пушкин вспыхнул, сжав палку; ближайшие люди посторонились, и вестовой дальше всех. Пушкин, однако же, сдержался. Скажи капитан-исправнику, — проговорил он спокойно и твердо, — что ежели он и боится меня, то я его не боюсь. Скажи ему, что у ворот поет Лазаря — Пушкин.

Потом он его поманил пальцем к себе и, уже доверительно, дал ему еще и другое напутствие, которое, видимо, оказалось совсем вразумительным, ибо слушавший вытянул руки по швам и смущенно промолвил:

— Слушаю-с, ваше высокородие!

— Ну, так вот и ступай куда сказано.

Чина полиции толпа проводила глазами и одобрительным Пушкину говорком:

— Этот, мы знаем, себя в обиду не даст!

— Барин простой, а как тебе, брат, замахнулся!..

— И от себя отослал…

— Значит — послал куда следует!

— Н-ну!.. Пушкин и есть Пушкин!

Капитан-исправник выслушал донесение, склонив голову набок; он поводил при этом глазами на Осипову и на других прочих господ у правого клироса, про себя принимая решение — считать происшествие как бы не бывшим, а следственно — оставить его и без последствий. Он легонько кивал склоненной своей головой, но когда вестовой передал и пушкинское особое добавление, оговорившись при этом, что… в церкви оно неудобно, конечно… но по долгу службы… и прочее, — исправник вскипел: Болван ты! Тебе это сказано, так и оставь при себе… Разве прилично вдруг в церкви — и эдакое! — И, размашисто дернув рывком усы и подусники, тотчас же и с чувством подхватил конец песнопения.

Прасковья Александровна, как она Пушкина ни любила, на сей раз изменила ему: она даже обрадовалась, когда Рокотов, подойдя после службы к руке ее, произнес настоящую декларацию, что, собственно, он… прося извинить за откровенность… нынче хотел бы ее навестить и, высоко ценя ее мнение, держать… так сказать, совет… о бычке. Радость, что как-никак найден исход и к Пушкину можно не ехать, все же мешалась в ней с чрезвычайной тоской; не давая воли себе и боясь, что раздумает, она отвечала поспешно:

— Да ведь мы же давно об этом дне сговорились… Как могла я забыть!

Под тем же предлогом она извинилась и перед Пушкиным. Он, улыбнувшись, молча ей поклонился, а она села в коляску, не замечая, как на колени внезапно упала слеза. Да и Ивану Матвеевичу Рокотову, расточавшему мед и любезности в гостиной, уже отвечала она невпопад, а под конец и вовсе сослалась на головную жестокую боль. Он рассчитывал было полюбезничать также и с барышнями, но и они, как сговорились, принялись ему отпускать отменные дерзости.

Пушкин же только легонько ругнулся, оставшись один. Нынче он был приподнят и весел, как давно не бывал. Это «позорище» для господ дворян, бывших у службы, доставило ему истинное наслаждение. Еще утром, когда пришло это ему в голову, он от души веселился. Точно бы слишком он засиделся и захотелось тряхнуть уходящею молодостью. Три дня тому назад был его день рождения: двадцать шесть лет! Еще накануне писал он письмо Петру Андреевичу Вяземскому. Оно было сплошь посвящено вопросам литературным, под свежим впечатлением он помянул и «Дон-Кихота», но разве же Вяземскому, хоть и близкому человеку, мог он открыться во всем? Он ясно и точно в себе ощущал эту черту, до которой открытость его была полной открытостью, а с Жуковским и вовсе ему приходилось вести дипломатию, и даже хитрить… И сколько в душе оставалось самого важного, о чем мог по-настоящему беседовать только с собою самим!

И хорошо, что никто, кроме няни, с точностью не помнил его дня рождения. Он провел этот день в одиночестве и, как бы наперекор еще одному лишнему году, что ложился на плечи, задумал сегодня эту свою по-молодому веселую вылазку. Эта потребность нарушить

каким-нибудь жестом, вольным иль дерзким, осточертевшую «приличную» жизнь была в нем всегда. Так он писал эпиграммы. Так вызывал на дуэль. Так себя утверждал и так кидал вызов другим.

Няня поохала, как увидала, что Пушкин возвратился один. Она уже приготовилась было похвастаться перед тригорскою барыней и новою шалью, которую ей подарил Александр Сергеевич, и всеми теми яствами, которые она приготовила и ради которых осталась сидеть на хозяйстве. Но Пушкин быстро утешил ее: больше всего любила она, когда питомец ее был весел! Ну что ж, няня? Пир! Тащи все в девичью. И сама садись в голове. Я буду всех угощать.

Пирог удался на славу, и Оленька, грустившая с самой троицы, что ее венок потонул, цвела за столом, как в палисаднике мак.

Однако ж, когда народное пиршество это уже подходило к концу, Анютка, дворовая девочка, выбежавшая было на волю по детской своей надобности, с криком ворвалась назад: Батюшки! Тригорские господа катят на двор!— Она всплеснула руками и почти села на пол от ужаса и от восторга.

Анютка не обманулась. Ивана Матвеевича Рокотова, незваного и званого гостя, соединенными усилиями спровадили-таки из Тригорского, и Евпраксия почти бесновалась, требуя, чтобы немедленно запрягали лошадей — ехать в Михайловское. Это было бесконечно неловко, но Прасковья Александровна горела стыдом и томлением; помимо всего прочего, скоро и именины Александра: как быть? Нет, так все-таки лучше, чем сидеть у себя, не зная, куда девать руки и ноги, а главное — сердце.

— Сплавили? — сразу угадал Пушкин про Рокотова и добавил, смеясь:

— Ну, а как вам понравился нынешний выезд мой в свет?

Прасковья Александровна молча и судорожно его обняла: милый — он не сердился! Но вот что, Зизи, — продолжал веселый хозяин, сделав печальную мину и здороваясь с девочкой, — от пирога остался один только пар! Опоздали!

Керн, как и Дельвига, ждали достаточно долго, и так же, как Дельвиг, явилась она совершенно внезапно. Анна любила кузину и ждала ее страстно, мечтая открыть свое сердце: муки, томления. Она еще лежала в постели, когда, развязывая на веселом бегу запылившиеся ленты у шляпы, молодая женщина кинулась ее обнимать. Движения кузины были быстры, легки, как всегда; в белокурых ее волосах, казалось, запутался ветерок — дорожный, пахучий, и она внесла его вместе с собой в комнату. Так и всегда: за простыми чертами ее играла внутренняя легкая жизнь, глаза были ясны, улыбка свежа.

— Отворим окно?

И быстро, маленькой ручкой, с которой перчатка была лишь полустянута, ловко толкнула она старую раму.

— Соня ты! Соня ты этакая!

И, как была, только сбросив дорожную шаль, уселась у Анны.

Они не видались давно, с того самого лета, когда Анна гостила у Керн и загостилась до самой зимы. Это был памятный девятнадцатый год, когда обе они были на балу, устроенном в честь государя, приехавшего на маневры. Они жили тогда на окраине маленького городка Валка, в окрестностях Дерпта, в домике с садом, и так же по утрам Керн, встававшая раньше, распахивала окно и приходила к сестре на постель. Эта привычка болтать утром в постели шла еще с детских их лет, когда они вместе воспитывались в деревне, в имении, и, будучи на руках у француженки Бену а, зачитывались мадам Жанлис и другими чувствительными романами. Все это сейчас зароилось в их памяти и разговоре, и они с живостью перепархивали с предмета на предмет — от одного давнего случая, или человека, или даже

просто какого-нибудь запомнившегося отдельного восклицания к другим случаям, людям и восклицаниям.

Шляпа все еще не была снята; Керн до тех пор теребила запутавшиеся ленты, пока развязать их по-человечески стало делом совсем безнадежным. Ну, а Пушкин что ж? Где он? — воскликнула она вдруг, перебивая самое себя и одновременно сильным рывком разорвав наконец затянувшийся узел: так же когда-то она убежала от нелюбимого мужа. Анна приподнялась на постели.

— Пушкин! Ах, он здесь! — И схватилась рукою за грудь.

Она ответила просто: он здесь, в Михайловском, тут. Но этот стремительный жест непроизвольно выдал ее, как и голос, вдруг зазвеневший и оборвавшийся; и Керн поняла, что Пушкин действительно жил в ее сердце.

Он появился в тот самый день, во время обеда. Сидевшие за столом услышали вдруг на дворе густой лай собаки. Евпраксия вскочила и подбежала к окну. Ну, конечно же он: Пушкин идет! С собакой и с палкой в руках. Не пугайтесь, кузина: сейчас он вскочит в окно.

Но Пушкин в окно не вскочил, а остановился в дверях и, пристально глядя на общество, правой рукой машинально просунул свою толстую палку. В угол она не попала и с грохотом рухнула на пол. Все засмеялись. Евпраксия зааплодировала, а Пушкин смущенно приблизился к обедавшим.

Он вовсе в последние дни не думал о Керн и о ее близком приезде, а если и вспоминал, то скорей как подругу Родзянки: в этом очарования не было ни малейшего. И тем сильнее было теперь внутреннее его потрясение. Как бы внезапный молодой ветер овеял его, и он совсем забыл о своих двадцати шести трудных годах. Опять перед ним возникало, двоясь и сливаясь в одно, воздушное и чистое видение юности: он стоит на крыльце, провожая, и глядит, как удаляется она с Полторацким, а через нее просвечивает и еще более ранняя юность, и образ Бакуниной — как замурованный в янтаре и оставшийся в нем на всю его жизнь. Это внезапное ощущение вернувшейся молодости сделало самую походку его слегка неуверенной, и он нашел едва несколько слов, чтобы приветствовать новоприбывшую.

В ответ на глубокий поклон и Керн наклонила приветственно голову, так что стал видней тугой узел прически, подымавшейся тяжелой короной. Все лицо ее вспыхнуло милой застенчивостью, и колыхнулись волшебно для Пушкина завитки белокурых волос у розового маленького уха. Наконец-то я вижу вас! — промолвила она несколько принужденно и, чуть помолчав, уже смелее добавила: — А помните, как у Олениных?..

Он все это помнил, но и забыл. Как мог он забыть этот нежный, грудной ее голос, чудные эти черты, так внезапно воскресшие снова? Сразу он ничего не нашелся ответить и весь обед просидел по-необычному молчаливый. К еде он почти не притрагивался, лишь изредка брал тонкий ломтик ржаного хлеба и намазывал его маслом.

По счастию, никто не обращал на него особого внимания. Хозяйка была занята парадным обедом, Алина следила за Вульфом. Евпраксия, низко склонившись, так усердно трудилась над гусиною ножкой, что и ей обычная ее наблюдательность изменила. Только Анна, по обыкновению, время от времени кидала на Пушкина внимательный взгляд. Но что она могла отгадать? Она тихо любовалась своим Александром, и внезапная застенчивость его казалась ей совершенно очаровательной. Зато настоящим мужчиною за столом держал себя Вульф. Он то и дело кидал неприкровенно восхищенный взгляд на хорошенькую свою кузину и говорил по-французски игривые двусмысленности. Пушкин их вовсе почти не замечал и никак не подхватывал, едва ли даже отдавая себе отчет в самом присутствии Вульфа. Его занимало одно: как-нибудь так продержаться обед, казавшийся ему более

длительным, чем обычно, чтобы не обнаружили пробегавшего в нем внутреннего трепета. Пожалуй, никто этого действительно и не заметил, кроме разве самой Керн.

Однако ж и после обеда, и во весь вечер настоящее оживление так и не пришло, и только когда возвращался домой, снова им овладело то особенное настроение, как и в первые минуты их встречи. Шутки и смех отзвенели в ушах, а летняя ночь с пахучей и свежею своей широтой, и одинокий собственный шаг по дороге, и это сиянье луны, разлитое в травах, — все это было как чистое гармоническое вдохновение — без стихов и бумаги, но разлитое вольно окрест, по всей прекрасной земле, и такое свое, как биение сердца в груди.

Так и пошли, один за другим, эти то солнечно жаркие, то тепло дождливые — «под кропильницею псковского неба», — но одинаково быстролетные дни. Эта двойственность в отношении Пушкина к Керн так и осталась: то загоралась в нем жаркая страсть к кокетливой молодой женщине, такой земной и влекущей, то образ ее сиял, как далекое солнце сквозь дымку бегущих небесных струй, и тогда легкие и чистые черты ее были подобны внезапно возникающему видению; и сам он бывал то дерзок и весел, то отступая, переходил на простые любезности, то впадал в робость и грусть. Дни эти летели быстро, как никогда. Часто пускались в прогулки. Купанье в реке; сенокос; душистые ягоды; муравьиные кучи в лесу. Анна Петровна кокетничала и с Вульфом и с Пушкиным. Вульф иногда даже легонько от самодовольства подкручивал опущенные черные свои усики; казалось, что он пользуется большим успехом. Но Керн вела эту линию очень сознательно: ей было жалко сестру. Анна открылась ей в своей потаенной любви с тем большею страстностью, что ей приходилось таить это чувство от всех, и прежде всего, конечно, от матери.

Атмосфера в Тригорском порой становилась похожа на душные часы перед грозой, и даже Алина, ровная и сдержанная, видимо, нервничала: слишком явно был Вульф увлечен молоденькою генеральшей. Пушкину все же Алину бывало и жаль, но порою казалось: а может быть, это откроет глаза ей на Вульфа. Анна же, хоть и верила Керн, не могла уже не замечать все возраставшего волнения самого Пушкина. Прасковья Александровна также в свою очередь теряла иногда самообладание. Пушкина втайне готова была и она почитать «своим Александром». Но и помимо того ей было страшно, как бы под кровом ее не произошло чего-либо непоправимого. Она даже рада бывала, когда приезжал витиеватый, молодящийся Рокотов и также пытался вступить в игру: все же наступало тогда некоторое разряжение той общей напряженности, в которой становилось трудно дышать, и, хотя бы и на краткий срок, путались карты. Положительно невозможно было не смеяться, когда, длительно целуя ручки Анны Петровны и как-то всасывая в себя губы, произносил он, в промежутках окидывая глазами всех дам, такие сентенции: Очаровательная женщина! (И замолкал.) Я бы ее подверг изоляции! (Он говорил по-французски.) Такие женщины опасны для общества…

И все это он изрекал с тем значительным видом, который бывает свойствен не просто глупым людям, а людям особенно глупым.

О Пушкине шли каждый раз разговоры и после того, как он удалялся. Любила и Керн выспрашивать все, что понемногу становилось уже семейным преданием: и что сказала Прасковья Александровна про элегию на смерть Анны Львовны, и как ответил ей Пушкин. Все эти мелочи несознаваемо ей становились милы.

И только сам он, один, как бы не замечал ничего и свободно, легко через все перешагивал. Когда приходил он в ударе, все эти женские сложности и хитросплетения вдруг переставали быть ощутимы, и сами участницы их обо всем забывали, как будто бы только и было на свете, что лето и жаркое солнце да Пушкин, стоявший в гостиной, во фраке и

галстуке, с чуть отведенной в сверкающем жесте рукой, с блеском в глазах и с открытой улыбкой, обнажающей зубы.

Таков он был в памятный день, как привез черную масонскую тетрадь и прочитал своих жарких «Цыган». Он читал их для всех, но он читал их для Керн, и она это чувствовала, отдаваясь вся целиком и стремительной страсти стихов, и самому голосу Пушкина, звучавшему для нее как голос Овидия из тех же «Цыган»:

Имел он песен дивный дар И голос, шуму вод подобный…

И, может быть, больше всего отдавалась сладкому ощущению, что читает он так — для нее: только накануне, сидя у обрыва над Соротью, вспоминали они с Анной детские свои годы и бродячих цыган, приходивших к ним в дом с плясками, гаданьем и песнями… И даже самая эта тетрадь с женскими ножками и повторяющимися профилями стала для них как реликвия.

Впрочем, стихи Пушкин читал очень редко. Но иногда он рассказывал, будто тут же выдумывая, и это было так завлекательно! Евпраксия даже поеживалась от внутреннего холодка, бежавшего от затылка к спине, когда слушала страшную сказку про черта, ездившего на извозчике на Васильевский остров.

Однако же еще и по-иному воспринимала Керн этого пленявшего ее человека. Какой-то помещик-сосед, страстный охотник, прислал ему при любезном письме охотничий рог на бронзовой цепочке. Пушкин подарку был рад и веселился, как маленький мальчик. Он перекидывал медный тот рог через плечо и трубил, как Роланд, вызывая на битву соперников… Маленькие девочки Осиповы глядели на него во все глаза, не зная, смеяться ли им или пугаться.

Одно только Пушкин строго таил про себя: никто не видел, как он порою страдал.

Так он однажды в Тригорское и совсем не пошел. Няня с утра занемогла, и он не захотел ее покидать. Теперь уже он поил ее липовым цветом и укутывал шубой, чтобы она пропотела. Этот день одиночества не прошел ему даром. Старые воспоминания с необузданной силой обрушились на него. Да, он имел желанное счастье, и он утратил его… Чтенье «Цыган» и восторженные похвалы в Тригорском были триумфом в глухой, захолустной усадьбе. Его Марина требовала от самозванца блеска и славы. Чем мог он подать о себе весть и как завладеть вниманием и чувством Элиз? Он отрицал в «Разговоре с книгопродавцем» обманчивые обольщения славы:

Что слава? Шепот ли чтеца? Гоненье ль низкого невежды? Иль восхищение глупца?

Да, славу такую он отвергал для себя, зная, однако ж, что прав был и книгопродавец, когда говорил:

Но сердце женщин славы просит; Для них пишите…

И в двух-трех верстах от пленительной Керн, оставшись один и озирая последний свой год, он забыл ее так, как если бы вовсе ее не существовало, и воскрешал для себя снова Одессу, где, «скучая суетным прозванием поэта», он просто не думал о славе, как не помышлял и о грозной разлуке. Теперь же, охваченный горячими воспоминаниями, он горько писал об этом своем изгнании и жаждал как раз блистательной славой быть близким своей далекой возлюбленной. Пусть это было в порыве отчаяния и пусть это было только короткой мечтой, но напряжение чувства было огромным.

…И что же? Слезы, муки, Измена, клевета, все на главу мою Обрушилося вдруг… Что я, где я? Стою, Как путник, молнией постигнутый в пустыне* И все передо мной затмилося! И ныне Я новым для меня желанием томим: Желаю славы я, чтоб именем моим Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною Окружена была,

чтоб громкою молвою Все, все вокруг тебя звучало обо мне, Чтоб, гласу верному внимая в тишине, Ты помнила мои последние моленья В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

«Что я? где я?» — так же недавно он сетовал и в письме к Дельвигу, сравнивая свое положение с положением предков своих, участвовавших в избрании Романовых на престол: «Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту! Да двое руку приложили за неумением писать! А я, грамотный потомок их, — что я? где я?» И единственное, что могло поднять его и над царями и поразить воображение возлюбленной, оказывалось именно славой.

Няня к вечеру уже отлежалась, а тут неожиданно пожаловали с визитом гусары, с которыми он пировал в Могилеве. Он встретил их на дороге в лесу и водворил у себя, но на другой же день увлек их и в Тригорское; и никто бы там не мог отгадать, чем он был полон вчера: так беззаботно, казалось, он отдавался веселью и так был со всеми ровно любезен.

Четыре эти дня с гусарами были особенно веселы. Керн много пела и среди других романсов каждый вечер неизменно повторяла «Венецианскую ночь» слепого Козлова

Ночь весенняя дышала Светло-южною красой, Тихо Брента протекала, Серебримая луной…

Так же мирно, казалось, протекали ночи и дни и над Соротью, но терпение и выдержка Прасковьи Александровны приходили к концу. Она подумывала уже сняться с места и увезти и дочь и племянницу в Ригу. Там она собиралась помирить непокорную Керн со стариком ее мужем. С трудом она сдерживала свое раздражение против веселой «соломенной вдовушки» и жестоко наедине бранилась с Анеткой. Та и действительно становилась порой почти невменяемой, горько себя упрекая, как маленькая девочка: «И зачем я сказала ему, что он влюбится, и предлагала пари! Если б я ничего не сказала, ничего бы и не было…»

Однажды, едва Пушкин ушел, разыгралась настоящая буря. Анна расплакалась, что он ушел, с ней не простившись. Кузина попробовала ее уговорить, тогда она, топнув ногою, воскликнула:

— Молчи! А если б с тобой не простился! — и заплакала навзрыд.

До матери эти рыдания донеслись в соседнюю комнату, и, потеряв всякое самообладание, Осипова истерически закричала оттуда: Довольно! Убирайтесь все вон! Я не могу больше. Это дом сумасшедших!

Но Анна, не переставая рыдать, крикнула ей, в свою очередь: Ты ревнуешь сама! Ты ревнуешь его каждое слово и взгляд! Ты сама сумасшедшая!

— Что? Повтори! Что ты сказала про мать?

— Тетушка, полно! Да вы успокойтесь. Все это одни только нервы…

Но тетушка вовсе не думала успокаиваться. Она стояла в дверях, вся красная от возбуждения и гнева. И ты помолчи! — прикрикнула она, вне себя, на племянницу. — Все хороши! Мало тебе одного, двоих захотела? Поезжай к мужу! Довольно! Глаза бы мои не глядели. Я увезу вас обеих завтра же утром… и проститься не дам, черт вас возьми совсем!

Сцена была коротка, но энергична и не походила нисколько на ночь, серебримую мирной луной. Никто не видал, как, пригнувшись, скользнула вдоль окон вороватo трусливая тень Алексея Николаевича Вульфа, убегавшего «от греха» на сеновал.

Прасковья Александровна наконец овладела собой и на прощанье, сдержавшись, сказала:

Мы завтра поедем в Михайловское с ответным визитом. Это было бы неприлично — не быть. Да и Рига не ближний свет: лошадям надо овса.

К утру все кошки в доме были пьяны: Анна разлила целый пузырек валерьянки. Что же до матери, то, отбыв в свою комнату, она опять дала себе волю; об этой бешеной ночи долго помнили горничные.

Утро, однако, пришло ясное, ровное. Принятое твердое решение, неловкость за вчерашнюю ярость и брань, да, наконец, и сердечная мягкость, участливость к порывистой юности, которую просто надобно и оберечь, — все это вместе определило спокойную ту уравновешенность Прасковьи Александровны, с которой она проснулась наутро, тем самым установив мир во всем доме.

Пушкин приехал в Тригорское сам и также, казалось, узнал о предстоящем отъезде совершенно спокойно. «Что-то сегодня он слишком уж благоразумен, — осторожно подумала Осипова, — как бы какого коленца не выкинул! Да, все же лучше уехать: береженого и бог бережет!»

Предотъездное настроение заставило вспомнить в Тригорском и Дельвига. Он очень хорош. И он вспоминается мне как тихое озеро, — промолвила Анна. Как тихое озеро, — повторил следом за нею и Пушкин. — Вот, Анна Петровна, — обратился он к Керн, — из Риги проедете вы в Петербург, увидите Дельвига, и, я ручаюсь вам, влюбитесь! Хотите пари?— Тут он улыбнулся, глянув на Анну. — Посмотрите, Анета как покраснела! И она влюблена. Я уж и так называю ее мадемуазель баронессой.

Коротенький разговор вышел у Пушкина с Керн и наедине. Она залюбовалась на вороную его любимую лошадь, когда конюх ее вел в поводу с водопоя.

— Как я хотела б на ней прокатиться!

— А что ж, я сейчас прикажу оседлать.

— Тетушка как бы не рассердилась?

— Чего? Ведь я же не смею вас сопровождать… Полутайком аргамака стали седлать на конюшне дамским седлом.

— Вы непременно вернитесь! Как же я буду без вас? Керн покачала головой полу отрицательно, полулукаво. Золотистые ленты на шляпе, под цвет ее глаз, заколыхались, и оттого показалось, что она улыбается не одними губами, но и всем своим существом. Это так у нее было всегда: ни один ее жест не оставался сам по себе, и каждому движению души отдавалась она вся без остатка. Пушкин так любовался ею!

Я только одним глазком заглянула в ваши стихи, что вы передали мне для Родзянки. Они очень нескромны, эти стихи. Что это такое?

Хвалю, мой друг, ее охоту, Поотдохнув, рожать детей, Подобных матери своей. И счастлив, кто разделит с ней Сию приятную заботу: Не наведет она зевоту…

— Но вы же ведь только чуть заглянули в эти стихи!

— А знаю их наизусть.

Пушкину невольно припомнилось и дальше, но что было столь шутливо-легко под пером, то ни за что не сказалось бы вслух… А между тем Анна Петровна продолжала уже очень серьезно: Я вам скажу: вы угадали. У меня семилетняя девочка, и я хотела бы иметь еще ребенка. Но вот когда мне один раз показалось, что он у меня может быть… от Ермолая Федоровича… я вся содрогнулась. Никакие небесные силы не могли бы меня заставить его полюбить — ребенка, рожденного от него! Я чувствую лютую ненависть ко всей этой фамилии. Я говорю вам это открыто.

Пушкин слушал ее и глядел на нее с изумлением. Он знал хорошо изменчивость этих глаз — то ясных и нежных, то игриво кокетливых, то облачно томных, но сейчас это были глаза человека, произнесшего вслух важную тайную думу. Слова ее требовали прямого ответа, и сама она отнюдь не хотела шутить. И однако ж, за этой открытостью была и еще

глубина, обнажавшаяся вовсе не сразу, и Пушкин не знал, что ему отвечать. Он только негромко промолвил:

— А вы не вернетесь сюда?

Анна Петровна, казалось, ждала чего-то большего. На краткое мгновение огонек блеснул в ее быстрых глазах, и она ударила его перчаткою по руке: Лошадь готова. Помогите мне сесть. А сюда… вряд ли… нет, не вернусь! Я поеду в Петербург и влюблюсь там в Дельвига, как вы мне советуете.

Тут она приняла независимый и даже несколько гордый вид, с необычайною живостью снова напомнивший ему лицейские времена и Бакунину, казавшуюся ему всегда такой недоступной.

Это было, как бывает изредка в жизни, почти точным повторением прошлого, ибо была такая ж поездка и так же он помогал… И оттого он почти вздрогнул, когда, уже сидя в седле и предчувствуя радость движения, в котором развеет себя, Керн со своей высоты снова шутливо и весело поддразнила его: Я многое помню из ваших стихов. Но хотела б я знать, о ком это вы вспоминали в «Онегине»:

Мне памятно другое время: В заветных некогда мечтах Держу я счастливое стремя И ножку чувствую в руках…

— Извольте мне подарить вашего «Онегина»! Я буду счастлива думать, что эти стихи отчасти и обо мне. — И она ударила хлыстом вороного.

Пушкин стоял и глядел ей вслед. Она скакала немного неловко, но все же бесстрашно, и ленты легко развевались по ветру, и над головой реял, дрожа, самый воздух, как бы ею оживотворенный.

И все ж после ужина Прасковья Александровна, сдерживая данное ею обещание, приказала заложить лошадей, и все отправились на прощанье с Михайловским. Только Евпраксию оставили дома; она очень просилась, но мать была непреклонна.

Стояла луна, стрекотали кузнечики, пахло цветочной пыльцой и дорожною пылью. Вульф сидел с матерью. Увидев, что Пушкин поторопился сесть в тот экипаж, где была Керн вместе с Анной, он позвал было с собой и Алину, но гордая девушка обняла за плечи Зизи и пошла с нею в дом. «Ничего, посиди и с мамашей», — бегло подумал Пушкин о Вульфе и больше о нем не вспоминал. Легкая прохлада стояла в воздухе, и рука Керн, без перчатки, была свежа. Луна светила для дам справа, для Пушкина слева. Вам — счастье в дорогу, мне — горечь разлуки. Но она, — он сделал легкое движение к серебристому облачку, — она уже тем хороша, что освещает такое прелестное лицо.

Вначале присутствие Анны немного смущало его. Но скоро он перестал ее замечать и разговаривал с Керн негромко и задушевно, не часто он так говорил. Опять вспоминали они давний тот петербургский вечер. Как же не помнить Олениных и Клеопатру? А помните ль вы, как я болтал вам о рае и аде: хотелось бы в ад, где пропасть хорошеньких, да вы-то в раю… Спасите меня, больше я в ад не хочу!

Пушкин не помнил, как в полузабвении те же слова, вспоминая о Керн, он вслух произнес, как бы обращая их к Анне на прогулке в саду. Бедная девушка, услышав их вновь и обо всем теперь догадавшись, вздрогнула и откинулась в глубь экипажа: «О боже, а я-то жила этим признанием!» И она собрала все свои силы, чтобы не расплакаться. Ни Пушкин, ни Керн того не заметили.

Анна Петровна отдавалась очарованию ночи. И она слушала Пушкина, как слушают музыку, даже тихонько покачивалась в такт его речи, которую можно было бы назвать коварной и завлекательной, когда бы насквозь не была она доверительною и чистосердечной.

Так, как если бы только теперь по-настоящему дошло до него, он отвечал на ее первый вопрос при встрече в Тригорском: «А помните, как у Олениных?..» Она тогда начала фразу и не докончила. О, как он помнил даже и это! И открывался теперь, как ему было мечтательно-грустно стоять на крыльце, когда она отъезжала, и как завидовал Полторацкому, севшему с ней в экипаж. И вот сам он теперь вместе с ней…

Ему казалось сейчас, что самое время побеждено, что через толщу минувших лет он снова обрел молодые, чистые чувства… Эта ночь и поездка были волшебны.

Под луною проплыли старые сосны, стоявшие на границе дедовских владений. Пушкин невольно вздохнул и все так же негромко промолвил, почти про себя:

— Вот так и теперь остаюсь я один.

Остаток пути они больше молчали. Лесная прохлада дышала обоим в лицо. Керн отдала ему свою руку. Так не хотелось ее отпускать, когда подъехали к дому!

Анна выскочила первая и, пока они выходили, не торопясь, следом за нею, взбежала по ступенькам крыльца, слабо им крикнув оттуда:

— Идите, идите гулять! Я тут своих подожду.

Пушкин послушно и радостно тотчас же увлек Анну Петровну в аллею, так и не расслышав легкого стона на темном крыльце: «Боже мой, боже мой! Вот все и цветет, но как же мне горько!» Девушка закрыла лицо руками и опустилась в тени на скамью. Вы бы и вправду, как любезный хозяин, показали ей сад! — подтвердила из экипажа и подъезжавшая навстречу этим двум беглецам Прасковья Александровна.

Пушкин не заставил повторять себе милостивое это разрешение, и оба они почти побежали дальше и дальше, ступая по лунному кружеву и натыкаясь на обнаженные корни старых дерев. Липы благоухали в ночной тишине, и нарушать ее не хотелось; они говорили немного. У Пушкина сердце билось и замирало, как в юности. Он чувствовал всем существом, как в эти минуты была она ему дорога. Эта беседа, конечно, была как объяснение в любви, но выражалась она не в словах о любви, а в интонациях, в той полноте открытого чувства, которое воплощалось в немногих словах.

— Лес и луна. Поглядите: мы пойманы с вами в волшебную сеть.

Он отвечал: У вас был такой девственный вид, и, не правда ли, что-то такое было на вас вроде креста? Да, на мне всегда лежал крест, — сказала она не подумав, и как раз оттого — самую свою скрытую правду.

Пушкин прижал ее руку к себе. Другой рукой она отколола с груди веточку гелиотропа и передала ему. Он принял цветок и приложил его к сердцу.

…Отъезд был короткий: Прасковья Александровна отъездов своих не затягивала. Пушкину удалось увидеть Керн на минуту наедине. Он исполнил ее пожелание и поднес ей «Онегина», но меж неразрезанных листов его она усмотрела вчетверо сложенный лист почтовой бумаги. Рука его дрогнула, когда он передавал эти стихи, написанные им ночью. Они у него вылились без напряжения и были легки, как дыхание. Но смутно стояло в душе: отдавать ли? Неизмеримо они превосходили, это он знал, стихотворение «К ней», написанное им для Бакуниной, но по существу это те же стихи, и было в них то же самое чувство. Керн на него поглядела, но ей невозможно было прочесть его скрытую думу. Тогда она развернула листок и стала читать. Стихи эти шли к самому сердцу.

Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. В томленьях грусти безнадежной, В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный, И снились милые черты. Шли годы. Бурь порыв мятежный Рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои Без

божества, без вдохновенья, Без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробужденье, И вот опять явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь.

Грудь ее задышала неровно и часто, зарозовело лицо. Как я вам благодарна! Как восхитительно это! — И она прижала листок к груди.

У Пушкина также плыло в голове. Он уже вовсе забыл о Бакуниной и сознавал только одно: милая Керн уезжала, и он остается один и будет томиться и ждать ее возвращения, и… дождется ли?

Анну Петровну торопили. Она открыла дорожную свою шкатулку и хотела спрятать «Онегина» и посвященные ей эти стихи. Но что-то словно бы ее осенило. Она улыбнулась и проговорила растроганная: Как это странно! Первая ваша строка: «Я помню чудное мгновенье» — это о том, как вы в первый раз меня увидали. И вот император…

Пушкин прервал ее, сразу почти задохнувшись…

— Что император? — Руки его похолодели. И император — как вы. Он обратился ко мне с точно такою же фразой: «Я никогда не забуду первого мгновенья, как вас увидел!»

У Пушкина зароилось в глазах, он судорожно вырвал листок и ни за что не хотел его возвращать. Впрочем, отнять совсем и разорвать его было бы невозможно, и он наконец прекратил сопротивление.

Прасковья Александровна в Ригу отбывала всем семейством. Дома оставались одни маленькие — на попечение Анны Богдановны. Расставание было шумное, с поцелуями и восклицаниями, лаем собак.

Вульф уже потомился вчера на крыльце, и сегодня так же бы Пушкин не отдал ему места в карете. Но поэт покорно сейчас уступил ему это место: остался, не провожал.

Так чудное это мгновенье стало истинно только мгновением…

Так на путях его жизни снова возник — Александр!

Глава шестнадцатая

ТЕНЬ ЦАРЯ

Вульф проводил отъезжающих, а на другой день у него с Пушкиным вышел большой разговор. Они говорили так долго, как никогда: четыре часа. Они говорили о Керн.

Но и до этого Пушкин, оставшись один, крепко задумался. Что, собственно, произошло? Он знал, конечно, из разговоров и болтовни между сестрами о том, что Анна Петровна виделась раза три с царем Александром. Всякий раз, как она поминала его, нельзя было в ней не заметить той юной восторженности, какая понятна была и памятна Пушкину по собственным его первым лицейским годам, когда государь был в ореоле победы над Наполеоном и выказывал свободомыслие и либерализм. Пушкин не придавал большого значения, в устах как-никак генеральши, этой особой приподнятости по отношению к особе «обожаемого монарха». Она даже советовала Пушкину, невзирая на неудачу ходатайства матери, вновь написать самому, но написать не официально и холодно, а со всею открытостью и простодушием. Я всегда говорила с ним простодушно, и он всегда был так мил и великодушен со мной.

Пушкин, сердясь на родных и друзей, что они заменили собственное его деловое обращение к императору многословным прошением матери, попробовал было написать такое послание, и Керн из любопытства, как обычно заглядывая и в писавшиеся при ней письма, вдруг натолкнулась и на этот набросок в той самой черной книге, где были «Цыганы», и принялась жадно его разбирать.

Пушкин писал царю это письмо и с настоящим волнением, и с ледяною внутренней холодностью: трудно выказывать откровенность к тому, кого ненавидишь, и говорить о великодушии с тем, кого презираешь. Это был черновой первый набросок, где не были еще сведены концы с концами. Однако же он в нем говорил о своих юных годах и о дерзких писаниях против правительства, объясняя их ожесточением, вызванным мерзкою сплетней, распространившейся про него, будто бы он был отвезен в секретную канцелярию и высечен там…

Пушкин не мог никогда вспоминать этой гнусной истории без гнева на сердце и без краски в лице. У него было давно решено драться с Толстым на дуэли, как только сам он получит свободу. Он уже дрался за распускание этих порочащих его слухов, но главный виновник, Толстой, тогда от него ускользнул. Он пал совсем было духом, и если бы не Чаадаев, который в нем принял участие, как знать, чем бы все кончилось… Он думал тогда: не застрелиться ли, а если не застрелиться, то не убить ли… Тут Керн положила руку свою на тетрадь… Кого ж вы хотели убить? Вы написали тут V и, не докончив, сделали росчерк. Неужели же вы хотели сказать: Vorte Majeste? ^Возможно ли это?

Пушкин сидел и снизу, закинув свою курчавую голову и обнажив ровные белые зубы, поглядел на нее с недоброй усмешкой:

— А если б и так?

— Это немыслимо. Самая мысль — невозможна!

— А вы же, однако, подумали?

— Нет, нет! — быстро заговорила Анна Петровна. — Я ничего такого не думала! Нет, никогда. Тогда это, верно, Вязмитинов? Витт? Думайте как вам угодно,— ответил он почти

сухо и зло: преклонение это перед Александром, как перед земным божеством, и тогда его оскорбило.

Но это все же скоро забылось. Керн не была такова, чтобы на нее можно было хоть сколько-нибудь долго сердиться. Что же было теперь? Он видел, что Анна Петровна стихами его была взволнована глубоко и по-настоящему, и так же он знал, что у нее не молчали ответные чувства к нему, — как же могло так случиться, что в такую минуту, при расставании мог вспомниться ей другой человек? И не в том ли разгадка, что вспомнился он не как монарх, а именно как человек! Ужели же у нее с Александром что-то действительно было? «Постойте… Постой…— говорил он себе.— Маневры. Свидание в церкви. Муж ровно втрое старше жены. Не ровно, а с хвостиком. И жена — совершенный ребенок, глядящий на императора именно как на божество. А ведь такие истории, эти августейшие шалости — это же царская повседневность. И вот она едет в Киев к Раевским, и через сколько-то месяцев — роды… А, черт! Да еще и способен ли этот Ермолай иметь законных детей? Что-то и циник Родзянко писал о желании Керн иметь «законных» детей… Для него ведь законные дети — это когда муж налицо, а нет мужа поблизости, так и «пропал»… А между тем как страстно она говорила об отвращении, когда ей показалось, будто от мужа она понесла… Ну да, показалось, конечно: так ничего у дурака и не вышло…»

Пушкин с собою самим был несколько груб, и, так размышляя, был он и зол: на себя, на нее. Он должен бы был привести это в ясность. И что же? Не выходит ли так, что она намекала… или хотела… или желала ему предложить… о ребенке?.. Ведь если так раз уже было… Да было ли?

— Фу, чепуха!

Но «чепуха» в разговоре с вернувшимся Вульфом, фраза за фразой, получала все новые подкрепления. Алексей Николаевич во всей этой истории Керн оказался отлично осведомленным; он ее знал хорошо от Анны, сестры. Дочь ли не дочь, я не знаю, — говорил цинически Вульф, — но, во всяком случае, общая дочь.

— То есть как это так? А так. Бывает, что точный отец неизвестен. Но у каждой ли хорошенькой генеральши кум — император? И каждой ли матери дарят фермуары из брильянтов, да еще делая их по особому заказу в Варшаве, да еще тогда, как муж попадает в опалу, так что выходит: собственно и исключительно — ей?

— А разве этот… как его… Ермолай — был он в опале? За что же? Да сначала не очень в опале! Получил награждение даже — за участие… или, вернее, за неучастие, в счастливых маневрах… Ни много ни мало, как пятьдесят тысяч, однако… Это дивизионному-то! А потом голова у него, видно, совсем закружилась, и захотел быть с царем запанибрата: я-де теперь на особых правах! Взял да и поехал на другие маневры, и притом самовольно, да еще у корпусного своего командира, у Сакена, лошадей перехватил по дороге, пока тот на станции изволил вздремнуть. Царь его и приказал, в наказание, числить по армии. Он тогда прямо уж во дворец, и верно, что, добиваясь аудиенции, прихвастнул-таки этими самыми «правами особыми», потому что князь Петр Михайлович Волконский велел передать, что царь не может его принять и что, дескать, Керн сам лучше знает, за что. — Тут Вульф потер себе руки и хохотнул.

Пушкин слушал серьезно. Ему не хотелось бы верить, но и не верить, пожалуй, нельзя. Вульф развернул перед ним и дальше картину, как генералы — и Сакен, который, зная интимную жизнь супругов, не очень-то уважал Ермолая, и Кайсаров, и Лаптев — позже уже, когда Анна и Керн жили в Валке, бегали к Анне Петровне, как говорится, прямо-таки на рысях и весь свой успех на новых маневрах полагали в новом ее свидании с императором. А это вы знаете, как губернатор Тутолмин в Полтаве муженька даже поздравил, «на основании

слухов», а Керн отвечал, и притом с благоразумием удивительным, что он не знает, с чем же, собственно, тут поздравлять. Вы понимаете всю эту музыку? — А слухи какие? А разные. Что император нашел, будто бы Анна Петровна похожа на прусскую королеву… ну, это пустяк! И что будто бы император расспрашивал, где живут Керны, и хотел им сделать визит…

Пушкину вспомнилось письмо к Александру, на которое склоняла его Анна Петровна, успешно хлопотавшая перед царем за мужа, и он ощутил мелкую дрожь, пробежавшую по спине. Отправлять? Да нет, ни за что! Он круто прервал разговор:

— Вульф, вы за границу не едете?

— Не еду. Тогда остается одно: что вы придумали с братом. Пусть разрешат мне поездку хотя бы в ваш Дерпт, для операции у Мойера. Он же Жуковскому друг. А уж оттуда и за границу.

И разговор был тем самым направлен в новое русло. Они говорили детально и даже ввели в предстоящую их переписку новый шифр: о коляске, о цензоре и о наборщиках.

Пушкин провел тяжелую ночь. Когда он ложился, представился ему Таганрог и комната в доме градоначальника Папкова, где он ночевал с генералом Раевским, а ранее их ночевал император, и как он провел ночь на царской кровати… Отсюда возник тяжелый кошмар, который, проснувшись, он с облегчением сразу и позабыл. Но на смену ему в голове, слово за словом, возникло тотчас писанье Родзянки, и он прочитал его словно впервые. Да что же — черным по белому. Родзянко «пропал». Почему? Да потому, что «тогда можно было извиниться молодостью и неопытностью…» — тогда!

Он закинул руки за голову, вытянул ноги и пролежал так с четверть часа. А когда потом быстро вскочил, в голове была одна только мысль: ото всего этого — бежать и бежать!

Дни настали без Керн и без тригорских друзей. Вульф скоро также проследовал в Ригу. Пушкина вовсе никто не посещал, и дни свои он проводил в совершенном одиночестве, с няней. Только Иван Матвеевич Рокотов счел долгом вежливости навестить «Михайловского отшельника» на другой же день после отъезда Прасковьи Александровны. Пушкин в письме ей даже пожаловался: «было б любезнее оставить меня скучать одного». Но он не скучал: работа, работа опять, и переписка с внезапно возникшею Ригой.

Еще до отъезда Анны Петровны он кончил первую часть «Бориса» и наконец-то открыл свой секрет в письме к Вяземскому: «Покамест, душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь: романтическую трагедию! Смотри, молчи же: об этом знают весьма немногие». И, уже кончив письмо, приписал еще: «Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтобы не выписать ее заглавия: Комедия о настоящей беде Московскому Государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Писал раб божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333 на городище Воронине. Каково?» Вяземский о «Борисе» уже, однако, слыхал от Жуковского, которому, видно, Дельвиг поведал о том, что было у Пушкина «в пяльцах». Впереди еще было две части, но первая все же была завершена.

В конце июля среди писем к Анне, и Керн, и Прасковье Александровне Пушкин писал и Николаю Раевскому большое письмо о своей трагедии. Он так его и не отослал, но в форме послания удобней и легче было высказывать мысли и для самого себя. «Правдоподобие положений и правдивость диалога — вот единственные настоящие законы трагедии». И о Шекспире: «Он никогда не боится скомпрометировать свое действующее лицо, — он заставляет его говорить со всею жизненною непринужденностью, ибо уверен, что в свое время и в своем месте он заставит это лицо найти язык, соответствующий его характеру». И о себе: «Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я

подхожу к сцене, требующей вдохновения, я или выжидаю или перескакиваю через нее. Этот способ работы для меня совершенно нов. Я чувствую, что мои духовные силы достигли полной зрелости, я могу творить».

Но иногда вдохновение приходило и само, не спрашивая у поэта, в удобный ли час оно его посещает. Так, однажды он ехал верхом лунною ночью. Серебрилась вода на озерах, и возникала в воображении такая же ночь, сад и фонтан, и свидание Марины и самозванца. Уже почти закончена была сцена в уборной Марины, навеянная воспоминаниями о Екатерине Раевской, но еще предстоял самый бал в Самборе, и эта ночь с фонтаном в саду была совсем еще в отдалении. Но Пушкин отдался плесканию струй, и плыл в голове горячий и быстрый диалог, где сталкивалось напряженное честолюбие польской панны со страстной любовью самозванца. Где-то еще пели в нем и отголоски своих давних свиданий и недавнего желания славы ради любимой, и, одновременно, порывисто, требовательно восставала гордость самоутверждения. Если бы было то за столом и бумагой, стихи полились бы тотчас, но он ехал в полях, и охвативший его горячий порыв был так велик, что он декламировал вслух целыми большими кусками эту дуэль двух страстей, где побеждает мужчина лишь после того, как пускает в ход оружие своего противника. Однако же всю эту горячую декламацию слушал разве лишь конь, поводя недоуменно ушами и не понимая, чего от него требует хозяин.

Дома его ждало письмо от Керн, пересланное из Тригорского, и захотелось ответить тотчас; стихи и письмо перебивали друг друга; сунул, не глядя, огрызок пера: чернильница высохла; а назавтра, раскрыв тетрадь, зачитался ранее начатым и стал продолжать. За две недели, пока не принимался за сцену у фонтана, кое-что в нем как-то переместилось, и самая сцена писалась уже по-другому. Он был ею доволен, но порою мерещилось, что тогда, на коне, среди полей, залитых месячным светом, было еще горячее и непосредственней.

У Пушкина была необыкновенная память, он много лет мог хранить про себя какую-нибудь отдельную фразу или мысль, его посетившую, в той самой формулировке, как она и возникла. Но стихотворные его импровизации и мечты столь увлекали его при самом их возникновении, что у него как бы не оставалось внимания, чтобы хорошенько запомнить их. Так было еще недавно, когда попытался воспроизвести, как он в Крыму у храма Дианы «думал стихами» и мысленно страстно обращался к Чаадаеву.

Пушкин теперь на свободе писал много и писем, в том числе в Ригу. Он чувствовал издали, как там было все накалено. К Прасковье Александровне письма его носили характер наполовину деловой, наполовину дипломатический. Пушкин был очень взволнован тем оборотом, какой приняли его дела с хлопотами о поездке к доктору Мойеру в Дерпт. «Друзья мои так обо мне хлопочут, что дело кончится заключением моим в Шлиссельбург, где, конечно, уже не будет соседства Тригорского, которое, как бы пустынно оно ни было, в настоящую минуту, служит мне утешением». Когда же он узнал, что Мойер по просьбе Жуковского может приехать во Псков, для того чтобы сделать ему операцию, он и вовсе заволновался и написал письмо уже прямо знаменитому доктору, заклиная не приезжать, и Прасковье Александровне также: «Ради неба, сударыня, ничего не пишите матушке моей касательно отказа Мойеру: из этого выйдут только бесполезные толки, так как я уже принял твердое решение».

Пушкин крепился, но неизменно он ощущал долгую тень царя, всюду его досягавшую. Он желал одного: чтобы друзья оставили его в покое, и он не хотел ехать во Псков, ибо в Михайловском не было хоть прямого надзора полиции. Правда, что, и сидя в деревне, он подозревал, по запозданиям, с которыми шли некоторые его письма, что «лукавый адвокат» Пещуров столковался, пожалуй что, с почтой. Пушкину вздумалось даже взглянуть па него

самому и проверить это предположение, но ни на чем многоопытного своего собеседника он не поймал. Пещуров любезен был свыше всякой меры и делал вид, что даже не знал хорошенько: за последнее время проживал его гость в деревне ль, во Пскове ли…

По-настоящему, впрочем, рада была нежданному гостю жена предводителя Елизавета Христофоровна, урожденная Крупенская. И на Пушкина пахнуло Кишиневом. Смеясь, он сам вспоминал, как, бывало, рисовал сестру ее, кишиневскую вице-губернаторшу: нарисует — похожа, а потом зачертит ей волосы и кого-нибудь спросит: кто это? — «Да это же ваш автопортрет!» Знаю, знаю… Сестра мне писала: а на этом же самом рисунке окинете голову чепчиком — и опять стала Катенька… Вы чудотвор! А Павла Сергеевича не думаете вы навестить? — спросил осторожно Пещуров. — Он отчасти тоже ведь кишиневец и о вас как-то справлялся очень тепло.

Пушкин отлично помнил Павла Сергеевича Пущина, но у него не было ни малейшего желания с ним общаться. Пещуров почувствовал это и тотчас перешел на другое: как поджидает к себе дорогого племянника, товарища Пушкина по Лицею — Сашу Горчакова; о дипломатических успехах его в лондонской миссии он больше всего и распространялся.

Не все доходили к Пушкину письма и от друзей, и это тревожило его больше всего. Даже от Дельвига одно письмо не дошло, и Пушкин ему выражал шутливо надежду, что, может быть, просто новый слуга, сменивший покойного Никиту, так же, как тот, не доносит письма до почты: «Я чрезвычайно за тебя беспокоюсь; не сказал ли ты чего-нибудь лишнего и необдуманного; участие дружбы можно перетолковать в другую сторону — а я боюсь быть причиною неприятностей для лучших из друзей моих». И только известие о предстоящей женитьбе друга-барона искренне его заняло. Вернувшись от Пушкина, Дельвиг увидел впервые будущую свою невесту, а уже в самом начале июня просил у своих родителей разрешения на брак. «Наш Сурок не дремал, — подумал про него с улыбкою Пушкин, — как видно, Тригорское сильно его настроило на жениховство!» Он поздравлял с предстоящим событием друга: «Будь щастлив, хоть это чертовски мудрено». И Анне в Ригу писал, называя ее с привычною шуткой «мадемуазель баронессой», что значило собственно: девушка, упустили вы случай стать баронессой! Но ежели это могло только ее уколоть, то каково же ей было прочесть в том же письме: «Проклятый приезд, проклятый отъезд!» Это звучало уже как настоящий стон сердца по уехавшей Керн.

Так, беря дипломатический тон по отношению к Анне Петровне в письмах, адресуемых им на Осипову, Пушкин ничуть не стеснялся с бедною Анной. Уверяя ее, что чувство, испытываемое им к Керн, на любовь разве лишь только похоже, он между тем признавался: «Каждую ночь гуляю я по своему саду и говорю себе: она была здесь; камень, о который она споткнулась, лежит на моем столе подле ветки увядшего гелиотропа». О, Анна по-своему помнила эту счастливую для Пушкина предотъездную ночь!

Самой Керн он писал и вовсе открыто: «Я бешусь, и я у ваших ног». И писал о ней Осиповой, зная отлично, что Анна Петровна заглянет в письмо: «У нее гибкий ум, она понимает все; огорчается легко и так же легко утешается, робка в приемах обращения и смела — в поступках; но она чрезвычайно привлекательна». Пушкин не ошибся, и этот отзыв дошел до Анны Петровны; впрочем, когда случалось Осиповой получить письмо для племянницы, она и сама без зазрения совести им завладевала.

Пушкин писал иногда и о муже. Как комендант Рижской крепости, тот близок был к генерал-губернатору маркизу Паулуччи и мог что-нибудь знать «об отеческом надзоре господина Адеркаса». Осипова обещала при случае обо всем этом разведать и передавала Пушкину разные слухи, шедшие от Ермолая Федоровича. Но самой Керн Пушкин о муже писал по-другому — начистоту: «Что подагра вашего супруга? Надеюсь, что у него был

славный припадок на другой день после вашего приезда. Поделом ему! Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтением, чувствую я к этому человеку!» И в другой раз: «Боже меня избави проповедовать мораль, но все же к мужу должно питать уважение, иначе никто не захотел бы быть мужем. Не притесняйте очень это ремесло — оно необходимо на свете… Постарайтесь же хотя бы мало-мальски наладить отношения с этим проклятым г. Керном. Прекрасно понимаю, что это, должно быть, не великий гений, но наконец он также и не вовсе дурак».

О непосредственном чувстве своем в письмах к Анне Петровне Пушкин писал горячо и изливался со всей непосредственностью, в которой одинаково ярко блистала и любовная страсть, охватывавшая его порою с бешеной силой, и несдержанный острый сарказм, близкий к цинической откровенности. И то и другое было развязано в нем общею болью: не заживала и не затягивалась свежая рана, нанесенная ему этой возможной и вероятною близостью Керн к царю Александру, пересекшему даже его личную жизнь…

Пока пребывала Анна Петровна в Тригорском и он еще ничего не подозревал об этой ее юной истории, чувства в нем были немы и замкнуты, он как бы боялся словами нарушить очарование, шедшее на него от молодой женщины. Скорей он себе позволял грубую шутку в духе Родзянки, ибо это был всего лишь словесный цинизм, простая условность, в конце концов никак не вторгавшаяся в другое его, настоящее чувство.

Теперь это все стало иначе, робость прошла, обе стихии проникали одна другую, и его опаляло дыхание страсти, жаждавшей обладания. Перед ним теперь обнажился исток всего будущего существования Анны Петровны. Ее украинский деревенский роман переставал быть случайностью. И вместе с тем удачные полтавские «маневры» царя возбуждали в нем чувство ожесточенной гадливости, тень от которой, пусть вовсе несправедливо (Пушкин и сам это знал), падала все же и на Анну Петровну. «Перечитываю ваше письмо вдоль и поперек и говорю: милая! прелесть! божественная! а потом: ах мерзкая!»

И тут же вставал в воображении развратный умом и красивый лошадиными статями Алексей Николаевич Вульф, жаловавшийся непрестанно на «густоту» своей крови, которого сам он когда-то с нездоровых окольных дорожек любви направлял на прямую дорогу, — этот начитанный велеречивый студент и похотливец, которого ничто не смущало, с которым попробовал было перейти на короткую ногу, на «ты», и вынужден был отодвинуться в сферу обычных светских условностей и переменить с ним разговор на безразлично любезное «вы». Как покоробило Пушкина уже одно циническое его восклицание: «Раз император не мимо прошел, это чего-нибудь стоит!» Так он игриво обошелся с тем самым, что составляло для Пушкина настоящую боль.

И Пушкин теперь ревновал к нему Керн. «Что делаете вы с вашим кузеном? Отвечайте мне, но откровенно. Отошлите-ка его поскорее в его университет, не знаю почему, но я этих студентов люблю не больше, чем любит их г-н Керн. Достойнейший человек этот г-н Керн, степенный, благоразумный и т. д., — один только в нем недостаток — это, что он ваш муж. Как можно быть вашим мужем? Об этом я не могу составить себе представления, точно так же, как о рае».

Ревность Пушкина к Вульфу усугублялась невольными мыслями о том, что теперь налицо был и муж, а следственно, если бы что и произошло у Анны Петровны с кузеном ее, все будет покрыто: так, по Родзянке, по мнению света, ставящего выше всего единый закон, чтобы все было внешне прилично, — да, это был бы «законный» ребенок!

Так это страстное чувство, подобное теченью реки, которая не может не устремляться вперед, не было преграждено даже и теми препятствиями, которые на Пушкина столь

внезапно обрушились: стремление вод перекинулось через преграду, и река текла по порогам — шумно, бурливо.

У Пушкина в это лето стояли на всех окнах цветы в ящиках и горшках: забота Прасковьи Александровны. Сам бы он никогда ни о чем подобном не позаботился, но милое это внимание по-настоящему трогало; да и вообще, попадая теперь в пустующее Тригорское, куда он частенько наведывался за письмами, он чувствовал всякий раз отсутствие и самой доброй хозяйки. Недаром, подписываясь Анне ее «прозаическим обожателем», Осиповой он говорил о себе как о человеке, который любит ее «очень нежно, хотя и совершенно иначе».

Он получал за нее письма и пересылал их в Ригу, беседовал с Анной Богдановной о хозяйстве и шалил с детьми. Дети его очень любили. Еще в первый же день, как уехали старшие, Маша, довольно наплакавшись, уставилась на непривычно молчавшего смуглого дядю. Она что-то обдумывала, а обдумав, сказала, вытянув губки и растягивая концы слов:

— Ты, Пушкин, к нам приходи-и! Мы тоже тригорские барышни-и!

Пушкин думал тогда совсем о другом, но все ж он ее подхватил и посадил себе на плечо. А ты что ж молчишь? — спросил он у пухленькой Кати: и она уже кое-что теперь говорила, только что сильно картавила. И мы тлиголские балысни-и! — не без труда подтвердила она и тем заслужила второе плечо. Вот я с вами и стал трехголовый!— провозгласил Пушкин и подошел к трюмо, чтобы девочки и сами могли в том убедиться.

Пушкин был рад рассеяться хоть на минуту. Но даже сама величественная Анна Богдановна при зрелище этом забыла обиду на Пушкина за короткую расправу его с драгоценной приятельницей Розой Григорьевной. Да и отъезду господ она всегда была рада, оставаясь над дворнею полной хозяйкой.

Особенно весел с детьми Пушкин бывал, когда его ждали письма из Риги. Маленькие проказницы это хорошо заприметили и однажды, махая письмом, побежали в кусты, Пушкин за ними. Ему ничего бы не стоило их сразу догнать, но он хватал мимо и падал, вызывая заливистый хохот. Под конец они кинулись к дому, через террасу в гостиную и там прямиком под диван… И Пушкин за ними. Обессилев от хохота, девочки мигом сдались, и Пушкин из-под дивана вылез с письмом…

В настроении очень веселом и беззаботном, как это редко случалось теперь, он выехал к дому, но круговою дорогой, через монастырь. Дожди и ветры последних недель сменились отличной погодой. День стоял ясный и тихий. Солнце играло в лесу золотыми кружками под ногами коня. Так же играла меж строк, кокетливо-нежно, в письме и сама Анна Петровна, и меньше всего Пушкин думал сейчас о дерптском прелестнике, пребывающем в Риге, в непосредственной близости к Керн. Но одно обстоятельство его пробудило. Внезапно ему показалось, что он видит какую-то надпись карандашом на одной из берез. Он повернул через поляну и соскочил с коня.

Береста уже отслоилась, и разобрать смытые дождями слова было нельзя; может быть, кем-нибудь здесь назначалось свидание? Он заглянул с другой стороны и увидел вырезанные ножом скрещенные вензеля: А. П. и А. В. Он тотчас разгадал, кто был скрыт под этими инициалами… И в довершение всего, она именовала себя Анной Петровной, отбросив фамилию мужа, а может быть, даже и вовсе назвавшись по-девичьи: Полторацкая!

Пушкин вскипел, и невольная краска кинулась ему в лицо. У него на сей раз не оказалось с собою ножа, и он прямо ногтями, как их ни берег, сколько было возможно, ободрал вензеля. Было совсем как в «Неистовом Роланде» любимого со времен Лицея Ариосто…

Так неожиданное это открытие, хоть и не было в нем ничего откровенно преступного, но говорившее все же как будто и о свиданиях, повергло Александра в настоящее смятение

духа и вызвало полную сумятицу чувств… А нежные интонации голоса Керн, казалось, звучали меж тем в строчках письма у самого сердца…

Пушкин, однако ж, не предавался безумствам подобно Роланду, хотя солнечный день для него все же заметно поблек и в груди, как роса, пала горечь. И не сейчас, а лишь через год, когда в этой роще уже зеленели новые листья, однажды ему захотелось переложить несколько именно этих октав из Ариосто.

Гуляя, он на деревах Повсюду надписи встречает. Он с изумленьем в сих чертах Знакомый почерк замечает; Невольный страх его влечет, Он руку милой узнает… Орланд их имена читает, Соединенны вензелем; Их буквы каждая гвоздем Герою сердце пробивает. Стараясь разум усыпить, Он сам с собою лицемерит, Не верить хочет он, хоть верит, Он силится вообразить, Что вензеля в сей роще дикой Начертаны все — может быть — Другой, не этой Анджеликой. Так в сетке птичка, друг свободы, Чем больше бьется, тем сильней, Тем крепче путается в ней.

Но как писал эти строки, вся острота его чувств уже улеглась, и издали эта поляна, береза, и вензеля, и солнце в листве — все это для него засквозило одною лишь чистотой прозрачного воспоминания.

Он теперь быстро погнал коня, чтобы обрести, как и всегда, спокойствие в сильном движении.

Порою с седла задевал он рукою сухие сучки, и треск их ему был приятен. Скоро он миновал монастырь и, проскакав по желтым полям, очутился в своей уже, Михайловской роще, пустив коня шагом. Пожилой встречный крестьянин снял шапку. Пушкину было не до разговоров, но что-то в лице его обратило на себя внимание.

— Ты что? — спросил его Пушкин.

— Никак нет, не нашли, — ответил старик.

Пушкин к нему пригляделся и узнал того самого, для него безыменного, который остановил его на дороге и предрекал Санкт-Петербургу, с божьею помощью, быть начисто смыту. Да, те же усы, та же рваная шапка и те же загадки! Пушкин не поторопился спросить, кого не нашли, и спокойно ждал продолжения. Оно не замедлило. Говорят, уж три дня бродит по лесу, а никто не видал. Ходит как невидимый. К чему?

Пушкина вдруг осенило:

— Дед ушел из дому?

— Али ушел, аль испарился.

Пушкин хлестнул плеткой коня. Недаром он все собирался деда Петра Абрамовича, пока еще жив, опять навестить, памятуя о манускрипте, где было изображено «о роде и княжестве». За спиной он услышал восклицание старика:

— И ты, знать, его не нашел?

Пушкин живо к нему обернулся и крикнул в ответ: — Нет! Не нашел!

Две-три фигуры дворовых быстро метнулись к дверям, опасаясь расспросов и барского гнева. Но Пушкин не думал расспрашивать, не думал и гневаться. Дверь на террасу распахнута настежь. Он привязал лошадь к кольцу и вошел в знакомую комнату. Она нимало не походила на последний приют мертвеца. Все было сумрачно в ней, но тленьем не веяло. Все было цело, не тронуто. Суеверный страх не позволил, как видно, ни до чего коснуться. На том самом столе, за которым сидел старик в прошлом году, ровно лежали один на другом несколько мелко исписанных листков крупного формата. Пушкин подошел и взглянул, приподняв верхний лист плотной бумаги: да, это был тот самый манускрипт, тесно исписанный строгою готикой. Дед не забыл обещания и оставил его перед смертью.

Пушкин сказание это — легенду, историю иль завещание потомкам — бережно взял и, сложив, спрятал в карман.

Он все же кое-кого попробовал и расспросить. Показания были, как и всегда в таких случаях, разноречивы и по отношению к срокам и к обстоятельствам исчезновения.

— А почему никто не пришел доложить?

— А полагали, что будто у вас он, в Михайловском…

— А забоялись…

На обратном пути все личные чувства, как бы отшумев, его на время покинули. Пушкин глядел на деревья. Сколько из них пережило людей, смотревших на них, и скольких еще они переживут! Ну и что ж, страшно ли умереть? Но и в самом вопросе том не было страха.

Приехав домой, Пушкин послал донесение о случившемся местным властям. Потом он глядел манускрипт. Немецкий язык был ему труден, но в отдельных местах он шептал про себя, угадывая и понимая эту давнюю повесть о предках.

Вечером Пушкин сидел на крыльце, но, увидев кривого Архипа-садовника, проходившего с лейкой по цветнику, сошел к нему вниз — покурить. Инстинктивно, быть может, захотелось ему среди загустевших вдруг сумерек простой человеческой близости. Видишь, отколь залетел! — среди разговора заметил Архип, тронув молодой, одногодний побег. был крошечный вяз, возросший от семечка, залетевшего, видимо, прошлого осенью неизвестно откуда. Так он и прижился меж цветов, на самой середине куртины. Вот что, Архип, — сказал Пушкин внезапно, но деловито, как если бы думал об этом и раньше. — Поставь-ка, брат, колышек да подвяжи, чтобы не вырвали. Раз залетел, пусть возрастает. — И, тихонько вздохнув, он поднялся на крыльцо.

Узнав о приезде Горчакова в именье Лямоново, к дяде, Пушкин, не чинясь, сам поскакал тотчас же к Пещурову. Старого товарища застал он больным.

Горчаков лежал на кушетке, прикрытый клетчатым английским пледом. Был он все так же красив, хоть похудел; на лице нездоровая бледность. Пушкин рад был увидеть лицейского друга, но ни чувства к нему ничуть не походили на откровенную близость с Пущиным или на нежную дружбу с Дельвигом, ни сам Горчаков не стремился к открытости; скорее, напротив, был он всегда несколько церемонен и даже надменен, пожалуй. Эти черты, кажется, ныне еще возросли, это почувствовалось с первых же слов. Милый Лицей отошел в область преданий, пути же их были явно различны; больше того, вели они в разные стороны.

Вытянувшись под сине-серым пледом и методически холеною рукой перебирая короткую его бахрому, сиятельный молодой дипломат, первый секретарь русского посольства в Лондоне, говорил хоть и лежа, но несколько все ж свысока: Я давно тебе, Пушкин, советовал жить в мире со светом, у тебя же талантливый ум и вообще дарование. Ты себе мог бы сделать карьеру.

Пушкин достаточно сухо ответил:

— У меня карьера своя.

Но Горчаков улыбнулся: Карьера опального? Мне говорил это Вяземский. Ты упиваешься будто б гонением, объедаешься им. Ну, этого я не скажу. Меня, может быть, даже тошнит от него… но предлагаемое да едят, — усмехнулся в ответ ему Пушкин. Д-да… Может быть, это отчасти как и лекарство. Я вспомнил, как в Спа так же я пил эти целебные воды: хочешь не хочешь, а пей! — И Горчаков принялся живописать красоты курорта: — Представляешь себе: лесная долина, над уровнем моря до тысячи футов, грудь уже чувствует… Великолепные ванны и отборная публика…

Тут он добросовестно начал перечислять всех титулованных и знаменитых мужей, с которыми там пребывал и дружил; Пушкин невольно зевнул. Но оратора это не остановило,

и он продолжал длинный свой перечень. Пушкин прервал его: Но и у нас, в нашей глуши, есть дипломаты! Скажем, хоть Рокотов, и тоже изящен и блещет умом.

Горчаков понял, конечно, насмешку (о блестящем уме Ивана Матвеевича Рокотова он уже слышал от дядюшки), но виду, однако, не показал и, чтобы закончить о Спа, заключил свою речь замечанием, что древний тот городок — еще в шестнадцатом веке курорт для аристократии — после революции вовсе увял. Скажи, Горчаков, — внезапно спросил его Пушкин, — а тебе самому не предлагали вступить в тайное общество? Если уж ты в нем не состоишь, — отвечал Горчаков несколько высокомерно, — то мне с какой стати в нем состоять! И вообще цели благие не достигаются тайными происками. А питомцам Лицея, основанного императором Александром Павловичем, не подобает идти против августейшего его основателя. Монарху в конце концов мы обязаны всем. Нет, Пущина я осуждаю.

— Как, разве ты знаешь? — неосторожно воскликнул Пушкин. Не бойся, я не доносчик. Мне и самому предлагали вступить, но я предложение это отверг.

Пушкин сидел весь красный: ему не следовало начинать этого разговора с Горчаковым! И все ж таки он задал еще вопрос о себе:

— А ты не взял бы меня за границу? Мне нужно паспорт. Ежели б ты был в Петербурге, я думаю, это было б нетрудно. Но ведь не властен же я отвезти тебя в Петербург. Шутки в сторону: а ежели б был в Петербурге, хотя б непрощеный, и мне надо было бы тайно покинуть Россию?

Горчаков деловито подумал, взвешивая что-то в себе. Холодные глаза его чуть посветлели, и он негромко сказал:

— Я это сделал бы для любого лицейского товарища.

— Правда?

Пушкин быстро поднялся с кресла, сделал несколько шагов по ковру и сел возле товарища: наконец-то услышал он нечто близкое по-настоящему. Но в лицеисте проснулся уже опять дипломат. Он тронул Пушкина за рукав: Однако же ты Александр и я Александр, и мы никогда не выступим против третьего Александра.

Пушкин вскочил:

— Послушай, не будем говорить о царе! Тогда я позвоню: будем пить ром. — И он позвонил в небольшой серебряный колокольчик с изваянием Будды.

Перед обедом не обошлось без показа пещуровских девочек-вундеркиндов. Старшая, Соня, была в Петербурге, а две младшие — Олимпия и Глоссалия (в просторечье — Олимпиада и Глафира) — пребывали дома; их всегда выводили перед гостями.

— Это же настоящие две маленькие музы! — представлял их отец.

— А как они музицируют! — вторила мать.

Пушкин знал уже хорошо, как они музицируют…

Но ничего не поделать! И покорно он слушал, как играли они, достаточно долго и достаточно сильно фальшивя, и как потом представляли комедию и читали стихи. Он глядел на них и соображал: «Хороший сюжет! Не знаю, кому подарить, а сам не осилю». Родители были в восторге, что гость похвалил и игру и декламацию. Этот концерт все ж таки не отбил вконец аппетита, и, глядя уже за столом на крупные греческие черты Елизаветы Христофоровны, на черные ее, влажные, как маслины, глаза, Пушкин опять с удовольствием вспоминал Кишинев: обед был на славу! Сегодня у нас настоящий литературный вечер, — провозгласил Алексей Никитич после того, как Олимпия и Глоссалия, покушав, удалились к себе. — Первым номером — наши дорогие малютки, а теперь в свою очередь будем просить и вас, драгоценный наш Александр Сергеевич!

Пушкину вряд ли было особенно лестно это сближение артистических талантов, но он не погордился: тетрадь была с ним, и он прочитал начало «Бориса». На сей раз читал он, однако ж, неважно: ощутимо он чувствовал, как на него шел от слушателей холодок.

Стихи его все же хвалили, но он вспомнил при этом, что и сам похвалил чудо-малюток. Горчаков между тем подмигнул:

— А помнишь ли ты «Монаха и юбку»? Просто «Монаха», — поправил с досадою Пушкин. — Да ты же его уничтожил.

Горчаков действительно отобрал когда-то себе эту рукопись. Д-да…— неопределенно протянул дипломат, как бы не желая останавливаться на этом, — уничтожил, пожалуй. Но там тоже был недурной диалог — в пятистопном же, помнится, ямбе.

Пушкин поморщился:

— То чепуха… Как можно сравнивать! Н-ну… сравнивать можно. И знаешь что, Пушкин? И тут у тебя есть кое-что лишнее.

— А например? Да хотя бы про слюни. К чему это? Мажут слюнями глаза… или что-то подобное. Не лучше ли вычеркнуть? Ты теперь лондонский житель и, верно, читаешь Шекспира: у него найдешь и не то.

— Ну, это не довод: когда жил Шекспир! А у нас девятнадцатый век.

Пушкин жалел, что согласился читать. Он заторопился домой, условившись, что непременно еще навестит Горчакова. На сердце его было смутно, и, уже выходя и еще разок вспомнив про слюни, он созорничал:

— Не провожайте, не провожайте!

А оставшись один, презрев казачка, сплюнул в передней и сам — прямо на пестрый хорошенький коврик. Это его облегчило, и вспомнилась нянина сказка: И говорит Марья Царевна: «А ну, убежим!» И плюнула три слюнки на окно Ивана Царевича да три слюнки к себе — сели верхом и ускакали. К Горчакову больше он не поехал.

Пушкин мечтал во что бы то ни стало свидеться с Керн. Вернувшись из Лямонова, он в два или три дня закончил вторую часть своего «Бориса». И думал одновременно: «А что, если удрать в Петербург, пока еще будет там Горчаков? Ведь он почти обещал… И вызвать туда Анну Петровну…» Сначала он ждал ее возвращения в Тригорское, но надежда на это теперь была слабая: отношения тетушки и племянницы, видимо, портились. Что ж предпринять? Беглые мысли о Петербурге все же казались несбыточными, и он стал склоняться к поездке во Псков, думая, как бы им встретиться там.

Напряженная страсть томила его, когда он писал: «Прощайте, теперь ночь, и ваш образ чудится мне, полный грусти и сладострастной неги, — я будто вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста. Прощайте, — я чувствую себя у ног ваших, сжимаю их, чувствую прикосновение ваших колен, — всю кровь мою отдал бы я за минуту действительности. Прощайте и верьте моему бреду: он смешон, но искренен».

И, по-библейски, о том же мечтал в знойных стихах:

В крови горит огонь желанья, Душа тобой уязвлена; Лобзай меня: твои лобзанья Мне слаще мирра и вина. Склонись ко мне главою нежной, И да почию безмятежный, Пока дохнет веселый день И двигается ночная тень.

«…вы непременно должны приехать осенью сюда или хотя во Псков. Предлогом может быть болезнь Анеты. Что вы об этом думаете? Отвечайте мне, умоляю вас, и ни слова об этом А. Вульфу. Приедете? Не правда ли? До тех пор не решайте ничего относительно вашего мужа…»

Когда стало ясно уже, что Осипова уедет из Риги и не возьмет с собой Керн, желание видеть ее достигло предела. Пушкин писал еще в предыдущем письме: «…будьте уверены,

что я не из тех, кто никогда не посоветует решительных мер, — иногда это неизбежно». И вот теперь он уже пишет, чтобы она покинула мужа: «…бросьте его, но знаете как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых на Остров и приезжаете… куда? В Тригорское? Вовсе нет! — в Михайловское! Вот прекрасный проект, который уже четверть часа мучит мое воображение. Но понимаете ли, какое это было бы для меня счастье? Вы скажете мне: «А огласка? А скандал?» Кой черт! Уже бросая мужа, делают полнейший скандал, и все прочее уже ничто или очень мало».

Пушкин предчувствовал, что если этот проект будет осуществлен, то между тетушкой и племянницей произойдет разрыв; но когда Прасковья Александровна вернулась наконец со всем семейством, он убедился, что полное их расхождение и без того совершилось. Видимо, бури свирепствовали и в далекой Риге. Анна почти с ужасом шепотом рассказывала все Пушкину, и он теперь выговаривал Керн: «Я сделал шаги к примирению вас обеих, но после ваших последних опрометчивых поступков теряю надежду на успех…» — «…вы на «ты» с вашим кузеном: вы говорите ему: «я презираю твою мать», — ведь это ужасно! Следовало сказать: «вашу мать», даже ничего не следовало говорить, потому что эта фраза произвела дьявольский эффект».

Он теперь даже задумался и над собственным, сгоряча рожденным проектом — о приезде Анны Петровны в Михайловское, прямо к нему. Он уже на этом не очень теперь и настаивал, хотя и писал: «Серьезно ли вы говорите, делая вид, что одобряете мой проект? У Анеты от этого мороз по коже пробежал, а у меня голова закружилась от радости. Но я не верю в счастье, и это весьма извинительно». Самое чувство его не ослабевало ничуть, и по-прежнему мечтал он видеться с Керн наедине; но когда на него пахнуло суровостью и непреклонностью возвратившейся Осиповой, он стал опять думать о Пскове… «…приезжайте, по крайней мере, во Псков. Это вам будет легко сделать. При одной мысли об этом сердце у меня бьется, темнеет в глазах и истома овладевает мною». Но его не оставляла и мысль, зародившаяся после свидания с Горчаковым: «Или, еще лучше, не съездить ли вам в Петербург? Вы дадите мне знать об этом, да? Не обманите меня, прелестный ангел! Как я был бы обязан вам, если бы расстался с жизнью, познав счастье!»

Конечно, он знал хорошо, как рискует своей самовольной поездкою в Петербург, но для Керн он готов был на все. Впрочем, только одно он отвергал. Она снова советовала, чтобы он написал Александру. Он очень благодарил за заботу и за совет, но извещал: «Последовать ему не могу». И действительно, этого Пушкин не мог. «Участь моего существования должна решить судьба; я не хочу в это вмешиваться. Надежда вновь увидеть вас, прелестною и молодою, — единственное, чем я дорожу. Еще раз, — не обманите меня».

Он уже поставил было и дату — «22 сентября. Михайловское», — но потом приписал и еще: «Завтра — день рождения вашей тетушки, — стало быть, я буду в Тригорском». И как бы в ответ на это няня скрипнула дверью, и он увидел руку ее с протянутою к нему запиской. Записка была, конечно, от хозяйки Тригорского, завтрашней новорожденной. «Мы не видались летом с вами так долго, — писала Прасковья Александровна, — что я хочу видеть вас завтра целый день у себя». Слова «целый день» были подчеркнуты; иначе сказать, она приглашала его приехать накануне — сегодня же вечером. Может быть, она и сама решила иметь с ним какой-нибудь решающий разговор об Анне Петровне? Что ж, он готов! И тотчас дописал последние строки письма: «Ваша мысль выдать замуж Анет, чтобы иметь у нее убежище, — мысль восхитительная, но я еще не сообщал ей об этом. Отвечайте, ради бога, на главные пункты этого письма, и я поверю, что мир стоит еще того, чтобы в нем жить».

К тригорским друзьям своим прибыл он в настроении, однако же, смутном, и разговор у них как-то не совсем клеился: Пушкину все напоминало об отсутствующей Анне Петровне.

Хозяйка же демонстративно почти ни слова о ней. Это значило, что отношения их между собою порваны — раз и навсегда. Нет, видно, не быть тому разговору, ради которого он и приехал в Тригорское — в канун семейного торжества.

Выпала, впрочем, минутка, когда Пушкин остался наедине с Анет, но едва с нею он заговорил, едва произнес имя Анны Петровны, как она разрыдалась: Вы всё о ней! Все ваши мысли — о ней! Оставьте меня… Нет, нет… пожалейте меня!

Пушкину в эту минуту было искренне жаль эту молодую незадачливую жизнь, в которой смешное смешано было со скорбным. А вместе с тем, что же мог он сказать ей в ответ?

Слезы у девушки падали градом. Но едва лишь услышала отдаленные шаги своей матери, Анет, как если бы подхватило и унесло ее ветром, исчезла в противоположных дверях.

Прасковья Александровна хоть ничего этого и не видала, все видела и понимала, но оставалась по-прежнему непреклонной. Ей и самой было очень нелегко. Мечтала она и сама — поговорить обо всем начистоту, но сил, оказалось, хватило лишь на молчание. Машинально она провела рукою по воздуху, будто чего-то ища, и вот наконец безобидная фраза нашлась:

— Вы что-то нынче слишком задумчивы или устали? Пушкин быстро ответил:

— Нисколько! Тогда, может быть, вам нездоровится! На покой не пора ли? Идите прилягте, а я водворю в доме полную тишину.

Он тотчас же послушался, встал и ушел в отведенную ему комнату, где его ждал свежепостеленный диван: верно, за этим она и выходила! Теперь, когда в Тригорском не было так людно, как летом, не надо было идти ночевать в одинокую баню.

Осень Пушкин очень любил, но сейчас деревья стояли во тьме какие-то настороженные, мрачные. Если бы ветер гудел в полуголых ветвях, было бы все-таки лучше: какое- то разрешение внутренней напряженности. Как это иногда бывало, он быстро провел по лбу рукою. Лоб был горяч, действительно, но нет, не простуда: это жар его мыслей и чувств. И тотчас же в нем встрепенулся его внутренний мир, который на людях он сдерживал.

Трудно ему было о Керн заговорить с ее тетей, но зато не говорить с самою Анной Петровной — было совсем невозможно. Он быстро опустился на кресло, достал из кармана на груди свое, еще не запечатанное, к ней послание и медленно стал его перечитывать: да, да… беседа его с Анной Петровной была завершена. Он спрятал письмо, но продолжал сидеть, словно застыв, словно бы чего-то ожидая. Так сидят на станции путники, когда нет для них лошадей. Чего ж ему можно ждать?

Конечно, он знал хорошо, как рискует своей самовольной поездкою в Петербург, но для Керн он готов был на все. Возможно, что после этой поездки судьба оставит ему один-единственный путь: бежать за границу! Но это было бы почти равносильно физической смерти.

Керн он писал по-французски: эта привычка — изливать свои чувства на языке, будто специально для того созданном и отточенном, — не была еще окончательно им преодолена в переписке. Но вот сейчас, когда отзвучала эта его страстная речь — признания, призывы, — он вдруг как бы со стороны увидел в себе человека, который не только готов принести себя и все свое в жертву любимой, но который все это уже и принес, и его охватило еще не нашедшее себе выражения чувство, которое уже никак не укладывалось во французскую речь. Что-то быстро на глубине плавилось в нем и закипало.

Да, казалось ему, что он может ее никогда более не увидать, а образ ее, запечатленный памятью, стоял перед ним совершенно живой — совсем как тогда, когда расставались они,

здесь же, в Тригорском. Он почти видел ее снова перед собой: как в широко раскрытых, счастьем блистающих глазах ее отражались собственные его строки стихов, к ней обращенных, и казалось, сама она была воплощенным «чудным мгновеньем».

Да, этому чудному образу — ему было отдано все, что в нем жило, что волновало его. Именно с нею, с такой — хотел он «познать счастье», а потом хотя бы и умереть…

Но смерть, конечно, ему не грозила. Было нечто другое, близкое к ней: свидание с Анной купить этой страшной ценой… А ведь один тогда оставался исход — покинуть родные края и все, что связано с ними. Все он готов был покинуть, со всем готов был проститься — ради нее, и увезти с собою одну только память о ней, о счастье близости с ней. В его голове теснились многоразличные куски его внутренней жизни: и творчество, слава, изгнание, и жгучая ревность его к Вульфу, и страдающий образ Анет, и невозможность утолить не умиравшую в нем жажду мщения — дуэли с Толстым-Американцем, оскорбившим его раз на всю жизнь…

И вдруг ему показалось, что у него уже нет выбора, что все это уже произошло… И острый холод пробежал по всему его существу. Вот уж действительно все тогда, как опавшие листья у осеннего дуба, все лежало у его ног… И что же, все это — ради нее, все это принесено в жертву ей, живому ее видению, воскрешенному памятью? Да, да, да! И это внезапное «да» было как извержение вулкана.

Но этого по-французски не скажешь! Нет, этого не скажешь и на письме какою бы то ни было взволнованной прозой… Рядом лежал какой-то листок с рисунком цветка ивана-да-марьи (таких неразлучных между собою!). Он повернул его тыловой стороной и, продолжая непосредственно нить горячих своих размышлений, так даже и начал — с маленькой буквы. Он написал эти стихи без единой помарки: все «черповое» мгновенно перегорало и полностию переплавлялось в нем самом. Он перечитал…

Все в жертву памяти твоей: И голос лиры вдохновенной, И слезы девы воспаленной, И трепет ревности моей, И славы блеск, и мрак изгнанья, И светлых мыслей красота, И мщенье, бурная мечта Ожесточенного страданья.

Странное это было ощущение. Почти испепелив себя в этих коротких строках, он тем самым как бы нашел себя снова. Чувства победили его, но вот он внезапно возникшим в нем вдохновением, которым он овладел, овладел тем самым и этими своими чувствами. Он оказался над ними: поэт победил!

Раздумчиво он обмакнул еще раз в чернила перо и поставил, как делал обычно, короткую дату — год и число:

1825 Тригорск 22

Но в эту минуту он услыхал, как в зале часы пробили два… «Уже не двадцать второе, — подумал Пушкин. — Двадцать второго писал я письмо…» Он быстро мазнул ошибочно написанную цифру и уверенным почерком слева поставил новую помету:

Триг. 23

И тотчас новый звук: в дверь постучали. Как подошли, он не слыхал. Кто бы это мог быть? Прасковья Александровна? Письмо уже было спрятано, а на этом листке со стихами и чернила еще не засохли… но он почти судорожно сложил его вдоль, крепко нажав где-то пальцем, а потом перегнул и еще в два раза — уже поперек. И положил, у сердца, в карман. Да, да! — произнес он с какою-то даже приподнятостью. — Кто это там? Войдите, Прасковья Александровна!

Это была действительно хозяйка Тригорского.

— Извините меня, но в вашем окне все время свет, и я затревожилась.

Она стояла на пороге, теперь не столько уже встревоженная, сколько смущенная. «Почему и она не спала?»

Пушкин владел собой полностью. Он улыбнулся:

— Но ведь не спали и вы! А я не тревожился: можете меня пожурить.

Прасковья Александровна ответила очень серьезно: Видите, Александр, вы не думали обо мне ни настолечко… — И она показала кончик мизинца. — А я думала о вас все это время, как вы ушли, и я…

— И вы угадали мою болезнь?

— Да, угадала. И я завтра же ей напишу. Пусть приезжает.

Легкая краска тронула щеки поэта. И он теперь стал серьезен. Он подошел к Прасковье Александровне, взял ее руку и почтительно-нежно поцеловал. Она ответила ему поцелуем в голову и быстро ушла, забыв притворить за собою дверь. Так вот как все обернулось: стихи можно и не отсылать. Да что стихи? И никаких заграниц!

— Ах, как жизнь трудна и сложна, и как она же чудесно проста!

Так этот день рождения хозяйки Тригорского, столь необычно начавшийся ночью, стал веселым и праздничным. У Александра Сергеевича оказалась к тому же с собою новая рукопись.

Она глядит ему в лицо. «А это с чьей руки кольцо?» — Вдруг молвила невеста, И все привстали с места.

Пушкин прочел своего «Жениха» и, смеясь, говорил:

— Каков мой разбойник? А ведь это про Дельвига! Как хорошо, что он у нас такого не накуролесил.

Однако же и Прасковья Александровна взяла с Пушкина слово, что он обязательно, наконец, и теперь же, съездит во Псков. На этом настаивали и Жуковский и Вяземский. Раз он отпущен, эта поездка становится необходимой, иначе на все это могут взглянуть и неласково.

Пушкин давно это знал, но не хотел покоряться. И без того его жизнь ввергнута в тень. Теперь им хотели руководить, и за него обдумывался каждый его шаг. О леченье своем он и не думал всерьез: нисколько его ни аневризм, ни нога не беспокоили. Но при таких обстоятельствах он, пожалуй, не мог уже отказать Прасковье Александровне, и договор его с ней стал обоюдным. Пушкин вздохнул и сказал: — Хорошо. На днях и поеду.

Глава семнадцатая

Поездка во Псков

«На днях, увидя в окошко осень, сел я в тележку и прискакал во Псков», — так писал немного спустя Жуковскому Пушкин, давая отчет об этой поездке.

Друзья уже давно на него всячески наседали. Жуковский писал о его теперешней славе, что она «никуда не годится». «Дорога, которая перед тобою открыта, ведет прямо к великому; ты богат силами, знаешь свои силы, и все еще будущее — твое. Неужели из этого будут одни жалкие развалины?»

Пушкин очень хорошо понимал, на какие «развалины» намекает Василий Андреевич: только недавно в «Северной пчеле» было напечатано его послание к Чаадаеву, то самое, которое он с таким трудом восстанавливал и из которого два кусочка послал в письме к Дельвигу:

Я мыслил имя роковое Предать развалинам иным…

Позже Жуковский выразил мысль свою, какою должна быть жизнь Пушкина, с лапидарною краткостью: «Пора уняться. Она была очень забавною эпиграммою, но должна быть возвышенною поэмою». И через месяц опять повторил, короче еще: «Перестань быть эпиграммой, будь поэмой».

Получив разрешение поехать во Псков, Пушкин спокойно пребывал дома, а князь Вяземский уже наставлял его, как держать себя в этой поездке: «Только ты, сделай милость, не ступи этого первого шага левшою». «Право, образумься и вспомни собаку Хемницера, которую каждый раз короче привязывали; еще есть и такая привязь, что разом угомонит дыхание; у султанов она называется почетным снурком, а у нас этот пояс называется Уральским хребтом». Вяземский выздоровел и проводил время в Ревеле, ухаживая за Ольгой Сергеевной; он купался в море и особенно склонен был поострить.

Делая вид, что сдается на просьбы друзей, Пушкин еще в середине августа сообщал, что поедет во Псков, но не прежде как в глубокую осень. Как раз впервые тогда у него возник этот проект — увидаться с Керн осенью именно там. Но сестре около этого времени он написал очень сердитое и откровенное письмо на тему о том, что родители ждут не дождутся, чтобы он поскорее убрался совсем из Михайловского, хотя б и во Псков: дескать, папаша соскучился по Михайловским рощам! Вяземский за Ольгу Сергеевну весьма разозлился: «…за письмо к сестре деру тебя за уши, и не шутя, а серьезно и больно».

Пушкин читал письмо князя и огрызался. «Бедная сестра твоя только слез, а не толку добилась из твоего письма. Она целый день проплакала («А чего же плакала, если не поняла? Да и мудрено не понять!») и в слезах поехала в Москву. («Да: не в Михайловское!») На всякий случай, могу утвердительно сказать, что твой отец даже и не знал о письме твоей матушки к государю, и, следовательно, он во всем этом деле не причастен».

Тут уже Пушкин и рассмеялся: «Не поняли!» Вяземский-то сам, во всяком случае, все понял отлично! Но сразу же взяв высокую личную ноту, Вяземский и дальше обрушивался настоящим ливнем уже общих доводов и соображений. Нежеланию Пушкина ехать во Псков он придавал прямую политическую окраску и горячо уговаривал: «Остерегись! Лихорадка бьет, бьет, воспламеняет, да кончит тем, что и утомит. Уже довольно был ты в раздражительности, и довольно искр вспыхнуло из этих электрических потрясений. Отдохни,

попробуй плыть по воде: ты довольно боролся с течением. Разумеется, не советую плыть по воде к грязному берегу, чтобы запачкаться в тине…» И пояснял: «Душа должна быть тверда, но нехорошо ей и щетиниться при каждой встрече». «Имя твое сделалось народною собственностью. Чего тебе недостает?» — «Если приперло тебя потеснее другого, то вини свой пьедестал, который выше другого». «Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом. Мороз сделал свое, вот и все!»

Осень склоняла к раздумью. Пушкин ехал и думал: не ступить бы действительно левшою во Пскове. Он уже отвык от властей. Он думал еще и о доводах Вяземского: «Ты любуешься в гонении…» — «Гонение придает державную власть гонимому только там, где господствуют два раскола общественного мнения. У нас везде царствует одна православная церковь». А не прав ли он был в этом последнем своем утверждении? Где тот «раскол», па который можно бы опереться? «Чуть из пеленок, — думал Пушкин про Горчакова, — а уже законченный государственный муж, преданный всем существом императору».

Бедный, а то и нищенский край развертывал перед ним панораму пути. Если и было какое богатство, то это — золото осени, да и оно уже рушится па скудный песок. Петербург одинок, но и всесилен. Доколе же?

«Мы еще не дожили до поры личного уважения, — все продолжал с ним беседовать Вяземский. — Оппозиция у нас — бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: она может быть домашним рукоделием про себя… но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа». «Ты служишь чему-то, чего у нас нет».

Вяземский дальше писал о стихотворном своем «Водопаде», по и самые мысли его, и увещания были как водопад. Пушкин на них на бумаге отвечал весьма осторожно: «Мысли твои об общем мнении, о суете гонения и страдальчества (положим) справедливы, — но, помилуй… это моя религия; я уже не фанатик, но все еще набожен».

При всей краткости этого ответа Пушкин и сейчас, по существу, ничего бы к нему не добавил. Он ощущал именно это самое. Друзья его звали к покою и примирению. Надобно быть поэмою, не эпиграммой. Что же, от эпиграмм он отдохнуть бы не прочь, но лишь отдохнуть, а ему не давали и этого! Поэмою быть? А разве когда-нибудь он бежал от поэмы? Но тут его мысль перешла на «Бориса». Это не есть ни эпиграмма и ни поэма, хотя это именно — не только произведение, а и он сам: столько туда вложено и своего, что эта вещь и автор ее неразделимы. Это есть самая жизнь, в которой отдельные люди и действуют сами, и сами подвержены действию, где одинаково место и мысли, и широкому чувству, и политическим выпадам. Так же он мыслил и о себе, о собственной жизни. Он не мог быть пассивным, как себе представлял «возвышенную поэму» Жуковский, который писал еще так: «Слышишь ли, Бейрон Сергеевич! Но смотри же: Бейрон на лире, а не Бейрон на деле: комментарии на эту фразу найдешь в письме Вяземского, в котором для тебя много разительной правды». Пушкин, однако, понял бы все и без комментария, но вот чего мирный Жуковский не понимает: лира не есть сама по себе, она неотделима от дела, и больше того — она и сама есть уже дело.

Путь был не близкий, но Пушкин его почти не замечал. Порою он думал и о другом, но даже и эти короткие мысли снова повертывали все к одному. Так, вспомнив, что где-то во Пскове проживала сестра Ивана Ивановича Пущина, он вдруг живо представил и его самого и как он сказал: «Надо — пойду!» Это тогда его поразило, и он спрашивал сам у себя: пошел ли бы? И вот теперь отвечал: «Да, я уже не фанатик, но все еще набожен: пошел бы и я! И Пущин считает, что это возможно не раньше, как лет через десять, а все же пошел бы…» Но без фанатизма и без огня — какая же, в сущности, жизнь? И мысленно снова он повторял и

утверждался все более в мысли, что и самое дело его, и горенье его, и «фанатизм» — все это «на лире». Вот чего «теплый» Жуковский не понимает…

И чем ближе был Псков и его старина, такая живая ныне для Пушкина, тем более он уходил в стихию своего «Годунова».

Приехал он к концу дня и, только умывшись и наскоро закусив, никуда не заходя, просто пошел побродить по этим многое видавшим на своем веку улицам, обсаженным щедро деревьями, среди которых кое-где попадались и тополя, смутно напоминавшие юг. Небольшие дома полупрятались в вечерних садах; между старыми плитами второй раз зацвела глухая крапива. На улицах круглолицые девушки прогуливались с приземистыми купчиками в картузах. Шел крутой говорок.

Пушкин прошел через рынок, уже опустевший; между ларьками бродили собаки, в кучах отбросов вынюхивая себе добычу. Мальчишки пугали галок, кружившихся стаями; птицы выглядывали, где бы им сесть. От берега Псковы несло запахом тины и рыбы: там исстари был расположен огромный рыбный базар, а в башне, через которую шел вход из Запсковья, такую же рыбью «снедь блюли собакам на ядь». Пушкин живо представил себе это множество псов, охранявших в Детинце купеческие склады товаров, общественные амбары с хлебом, на случай отсиживания от неприятеля, и погреба с пороховым «зельем». Впрочем, отсиживались там и со скотом, и со всем прочим имуществом… Такие же склады были и в подземельях изящных церквей с их легкими звонницами, родимыми сестрами вязёмской, памятной с детства, и во многих пристройках, где в старину бывали и кабаки.

После долгого сидения в тележке (коляска, увы, укатила в столицу с родителями!) ему было приятно поразмять ноги, и всю эту далекую старину он вдыхал полною грудью. Да, когда-то кипела здесь жизнь, когда-то бывал и гражданский раскол на старой Руси! Для Пушкина книги и летописи вновь оживали. Назад тому три с половиною века канцелярист Стефана Батория записал для себя: «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж». Один иностранец в то время насчитывал в городе свыше 40000 домов, а «Писцовые книги» числили до 1300 одних лавок с товарами! Через город катились литовские войны, ливонские войны; крестьяне и черные городские люди вскипали, как вода на огне… Тут был и свой самозванец — Исидор, беглый дьякон из Новгорода… А история хлебного бунта, когда так потрепали помещиков!.. Да, пожалуй, поэтам тогда, если б и были такие, тоже круто пришлось бы, но за них неплохо работали юродивые! Недаром все в том же письме сообщал ему Вяземский: «Жуковский уверяет, что и тебе надобно выехать в лице юродивого». Что же, он и без этого совета в «Борисе» уже «выезжал»…

Псков сейчас мирен и тих. Только шаги опального гостя звучат одиноко и глухо. Ко всенощной рано еще, и будочник из-под алебарды пытливо скосил один глаз на проходившего бойко незнакомого черного господина. Но Пушкин весело мигнул ему — именно как знакомцу — и вступил под широкую арку. Пахнуло простором и теснотою кремля.

Пушкин бывал уже здесь. Но в этот приезд, наступающим вечером, свободный еще от людей, и от карт, и от разговоров с лекарями, и от официальных визитов, он особенно полно дышал этим живым для него городом. Он не жалел, что приехал сюда. Ни Керн, ни друзья больше его не тревожили. Прохлада и тишина пребывали сейчас в этих полуразрушенных стенах, однако же строго хранивших богатство событий, некогда здесь протекавших, движение толп и кипенье страстей: так точно и книга в малом объеме своем заключает целый законченный мир,...

Служба в соборе не начиналась, но вход был открыт, и Пушкин вошел. Дымная полумгла подымалась в высь, покоящуюся на огромных колоннах. Пахло воском и пылью,

маслом и старыми тканями. Пушкин был рад, что один. Старый меч итальянской работы, именуемый мечом князя Всеволода, меч над гробницей Довмонта, икона, изображающая помощь, пришедшую от богородицы Пскову, осажденному Стефаном Баторием, — все это говорило о временах, исполненных дыханья легенд, гула истории.

Эта икона висела в правом приделе, и Пушкин, никем не стесняемый, ее подробно разглядывал. Там был изображен весь город Псков, с церквами, и стенами, и укреплениями. Поляки с алыми знаменами и поднятыми черными саблями шли на приступ; пушки навстречу им изрыгали огонь; лодки под парусами, и те принимали участие в битве. Внизу, неподалеку, — палатки Батория; наверху заседал вышний совет; Покровская башня охранялась сонмом всех псковских святых. Картина была и наивна, и исполнена жизни.

Когда он выходил, служба должна была уже вот-вот и начаться: духовенство проследовало, и старушки в салопах расстилали уже половички на холодные плиты, а убогая и нищая братия по лесенке выстраивалась по обе стороны входа. Пушкин быстро сошел и почти пробежал вдоль остатков правой стены, перепрыгивая через провалы пороховых погребов, к самому мысу кремля. Там, у слияния Псковы с Великой, через пролеты старой разрушенной башни (бегло припомнился ему и Вальтер Скотт) он долго, как в окна, глядел то на Завеличье, то на Запсковье. Красавица церковь Успенско-Пароменская с чудесною звонницей мягко гляделась в закатные желтые воды Великой; подальше Ивановский женский монастырь утопал в золоте осенней листвы; а на другом берегу маячил высокий шпиль Снетогорского архиерейского монастыря.

Запсковье попроще: церковки там похожи на незатейливые свежевыпеченные пряники, немного с сыринкой. Вся Пскова усеяна бревнами; по ним, как жуки-водомеры, смело, легко шныряли мальчишки. Рыбаки перекликались, складывая ладони у рта, гулко: «Гу-гу-у!» Из расщелины камня тянулся к просвету тощий цветок колокольчика, голубые лепестки его изредка вздрагивали, как бы от прохлады.

Уходить не хотелось. Так он когда-то просидел целую ночь в Аккермане, на прибрежной башне Днестровского лимана, любуясь через него отдаленным, но видимым Овидиополем. Оттуда беседовал он с Овидиевою тенью. Тени иные теперь его окружали в кремле… Так и сейчас встретил он вечер, и ночь, и городские огни, звезды на небе. Отрадно было ему это полное его одиночество не дома и не в постели…

Заслышав призывный реденький звон к ранней обедне, которому откликнулись звоны в десятках церквей, Пушкин открыл отдохнувшие веки и потянулся. Он не беседовал нынче с Овидием, но он помянул свою молодость этою вольной ночевкой.

Утро едва занималось, было прохладно. Он осторожно, пробуя камни, спустился к реке и, наклонясь, поплескал себе на лицо. Так он миновал и ворота и будочника, который, быть может, вздремнув, вспомнил только бекешу его да одни бакенбарды над ней (чего во сне не привидится!) и, перекрестившись, суеверно отплюнулся.

В гостинице встретил его сонный швейцар, должно быть ругнувшийся про себя на господина сочинителя, который не иначе как до рассвета резался в карты, а не то и кутил в каком-нибудь притоне на Запсковье.

Но Пушкин не лег; после столь короткого сна он чувствовал себя необыкновенно свежо и легко. Он не спеша переоделся и вымылся, потом, с промежутками, стал добиваться слуги, ничуть не сердясь, что на оклики не появлялся никто. В конце концов жизнь все-таки заворошилась, он выпил и чаю, а еще погодя и позавтракал.

Тут, в полупустой общей столовой, ему удалось разговориться с заезжим и, кажется, знающим лекарем. Он ничуть не пугал Пушкина ни операцией и никакими другими лечебными неприятностями, остерегая всего лишь от излишних движений: не ездить верхом

и не ходить много пешком, и все в этом роде. Пушкин слушал в пол-уха. Ему важно было одно: чтобы было что сказать губернатору.

Близко к полудню снова он вышел на улицу и кликнул извозчика. Солнечный день понемногу разогревался. Пушкин не чувствовал ни малейшей усталости. Он был весел и бодр и совершенно здоров. Эта ночевка на воздухе только его укрепила.

— Так к губернатору?

— Да, к губернатору! Да кой черт к губернатору, хотя б и к царю! Не все ли равно? Только вези.

Кучер испуганно зацокал на лошадь, задвигал вожжами, но к странному седоку больше не оборачивался.

Адеркас редкого посетителя принял с изысканной вежливостью. Он сам имел тайную склонность к стихам и не прочь был их почитать и услышать совет, а быть может — и похвалу: кое-что, по его скромному мнению, у него выходило вовсе не плохо. Другие очередные посетители ждали, когда ж наконец выйдет сей дворянин, приглашенный тотчас, как о нем доложили. А в кабинете меж тем очень скоро стало похоже на то, что не губернатор принимал ссыльного поэта, а Пушкин у себя принимал губернатора, заехавшего к нему с визитом. Провинциальному администратору этому посетитель его весьма импонировал — и не одною только своей поэтической славой, но, пожалуй, и всею фигурой, французской легкою речью и общею непринужденностью. Да и кроме того, как-никак — например, государь: вспоминает ли он Адеркаса?.. Смешно и подумать… А Пушкин ему, может быть, снится каждую ночь. Дьявольская разница!

— Так, собственно, что ж вы хотите?

— Я сказывал вам, что лекари здесь за операцию никак не берутся… Сколько я спрашивал! А операция между тем неизбежна. Необходимо в столицу, а может быть — и в чужие края.

— Я понимаю вас, да. Дело серьезное. Дело о жизни и смерти.

— Вот именно.

— Так я в этом смысле и отнесусь, тут шутить не приходится. Или в чужие края?

— Вот именно так.

— Я доложу его высокопревосходительству… господину маркизу, да.

Надеюсь, вы у меня пообедаете?

Пушкин обедал у губернатора и поправил ему стишок. Губернатор посоветовал побывать и у архиерея. «Что ж, архиерей… Можно и у архиерея…» — подумал про себя Пушкин, но с этим визитом не торопился. Он побывал у своих псковских знакомых, отыскал и Вениамина Петровича Ганнибала, заседателя от дворянства в псковской палате гражданского суда.

Двоюродный дядя Вениамин о необычайном конце своего родителя уже знал и готовился, покинув должность, перебираться в Петровское. Пушкин поразился необычайному количеству флейт, любовно расставленных в особом обширном шкафу. Речь Ганнибала была несколько затруднена, и не совсем понятно было, как он исправляет свою заседательскую должность. Пушкину вспомнились слова Петра Абрамовича о том, как он пишет записки: «Думаю — флейтой, а выходит как барабан». Не так же ль по службе и у Вениамина? Он попросил его что-либо сыграть, и тот сразу преобразился. Пальцы его оказались тонкими и подвижными, звуки лились мелодически грустно.

— А вот поглядите, — сказал он и вынул из замши необычайно широкую, из десяти равномерно укорачивающихся и сдвинутых рядом друг к другу тростниковых дудочек, флейту. Пушкин глядел с любопытством.

— Это называется флейтою Пана.

Пушкин его попросил показать, как ею пользуются. Но Вениамин Петрович покачал головой и кратко сказал:

— Я на ней не умею.

По обычаю, в этот приезд порезвился Пушкин и в карты, и не раз выходил потолкаться у речки и на базарах. Переходы от Адеркаса к грузчикам и от базара к архиерейскому дому весьма освежали его. Этот последний визит развлек его и сам по себе.

Будочники знали его теперь хорошо и даже ему козыряли, а он, для разнообразия, иногда уже им не кивал, как знакомцам, а поглядывал несколько строго. Это еще больше поднимало к нему уважение.

Так же почтительно встретил его и архиерейский швейцар в галунах. Он доложил сначала келейнику, красивому парню, безукоризненно чисто одетому, с шелковистыми светлыми кудрями, с глазами архангела; келейник, взлетев по ступеням, доложил личному секретарю; личный секретарь, изогнувшись, — владыке. Преосвященный был тучен, и главным пороком его было, как видно, чревоугодие. Во всем остальном он был достаточно добродушен, имея, впрочем, к тому солидные основания: кроме казенного содержания, шли отчисления от многочисленных в епархии монастырей, не говоря уже о милостыне, сиречь о доброхотных даяниях. Кроме того, во владении архиерейского дома (лично владыка не мог иметь капиталов) были еще и земельные и лесные угодия, а на Снетной горе была и отличная молочная ферма.

Заслышав про редкостного гостя, он приказал позвать эконома (монаха) и повара: надо обдумать обед. И одновременно распорядился: просить! Обедню уже отстоял он с утра в домовой церкви своей, официальный прием, протекавший до двух, был также закончен, и владыка предчувствовал приближение (был он когда-то во флоте) «адмиральского часа». Отдых до четырех? Но разве беседа с поэтом не отдых?

Пушкин прошел через приемную: иконы и зеркала. В зале посередине был стол, крытый сукном, бархатная мебель; по стенам портреты духовных лиц высокого сана и предшественников архиерея по епархии, картины из истории Пскова. Владыка вышел к нему приветливый и почти улыбаясь: ведь он встречал вольнодумца! Пушкин, однако ж, подошел под благословение, но руки не целовал. Это не вышло демонстративно, ибо умный хозяин, сообразив, тотчас привлек его за плечи и приблизительно куда-то облобызал.

— Как это вы в наши края? Я вас почитаю как отца «Евгения», будучи и сам в то же время отцом Евгением.

Он улыбался своему каламбуру, но и Пушкин его оценил в полную меру; от такой остроты он и сам бы не отказался.

Так завязалась беседа по данному владыкою камертону. Он оказался не только любезно простым, но и образованным человеком и скоро повел гостя показать ему свою библиотеку.

— Я не люблю громоздких шкафов и пыльной учености и всю фундаментальную передал семинарии. Видите, там вон — в окно, недалеко было и перетаскивать. Но редкости я приберегаю… Что надо? Я занят. — Он обернулся к келейнику, но тотчас же вспомнил: «Ах, эконом!» — Вы меня извините, я на минуту…

Оставшись один, Пушкин взял наудачу небольшой томик из шкафа. Заглавие было на целую страницу: «Храм древности, содержащий в себе Египетских, Греческих и Римских богов имена, родословие, празднества и бывшие при оных обряды; знатных древних мужей…» и т. д. Небрежно он полистал эту книжицу и хотел уже было поставить на место, как вдруг улыбнулся, заинтересованный: речь шла о любезной Парни и ему самому Прозерпине:

«Теперь следует открыть, из чево баснь сия начало взяла: Прозерпина, будучи в свои времена не последнею красавицею, привлекла к себе многих женихов, а в числе оных был один мужик, именем Плутон, чрезвычайно богатой, которой с нетерпеливостью любовной, подхватя ее прогуливающуюся одним вечером в поле и посадив с собою в коляску, помчал, куда ему угодно было. Мать, немедленно о сем спознав, бросилась с вооруженными людьми в погоню за похитителем, а он, как увидел множество народа, за ним бегущего, то не имея надежды ни жизнь свою спасти, ни добычу при себе удержать, погнал коней своих прямо в озеро, подле которого ехал, где, чтоб доказать горячность любовнице своей, и желание жить и умереть неразлучно, за нужное почел с нею утонуть. А вода как Венеру от себя произвесть имела счастие, так и ее угодников в себя скрыть не отреклась».

Пушкин чем дальше читал, тем веселей ему становилось, порой он почти хохотал.

— Простите, я вас задержал… меня вызывали по неотложному делу. Но, как видно, вы и без меня не скучали.

— Я с вами согласен,— ответил Пушкин, смеясь. — В семинарскую библиотеку это, пожалуй, не надо.

— А да… пустяки,— благодушно махнул рукою владыка.— Но, однако же, поговорка-то оказалась права: на ловца и зверь бежит! Вы на меня не обижайтесь, я человек простой.

— За что ж обижаться!

— Но, между прочим, скажу: у нас на иконе, на так называемом «древе Евсеевом», языческие философы изображены вместе с пророками.

Тут Александр, в свою очередь, рассказал о киевской росписи в храме, над воротами в Лавру: и там была эта близость язычества с христианством. Больше того: они были рядом, и объединяло их не что другое, как поэзия, широкое и единое восприятие мира.

Отец Евгений отозвался неожиданно:

— Я ведь моряк и побывал-таки в разных чудесных краях. Корни человечества суть многообразны, как и корни природы, а источник один. Так и всякая мысль есть родня всякой мысли другой. Но не только что речи псковского архиерея были своеобразны, а и самое сочетание это: и поэт и изгнанник — моряк и сановный монах. Луч низкого солнца косо падал на них на обоих.

— И история мира — как древо, — продолжал архиерей. — Оно сотрясается бурями, но между ветвей промысел божий хранит малые с виду, но драгоценные вещи.

И он стал показывать:

— Вот поглядите, хотя бы и эта — настоящая редкость: «Синаксар» 1684 года. Имеется всего еще один экземпляр, в Риме. Или это «Евангелие», обратите внимание на надпись: «Лето 7040 (1532) написана бысть книга сия…»

Пушкин глядел на рисунки: рай, птицы, солнце, Ева выходит из ребра Адамова; наречение имен; ангел придерживает Еву за руку; и, чтобы не спутали, подписано: Евва, Адам.

Позже прошли во флигель, соединенный с архиерейскими покоями крытым переходом. Там жили, учились и пели, скучали и развлекались певчие-мальчики — хор до пятидесяти человек: маленький духовный лицей! Видно, и к ним проникла весть, кто именно их навещает. Сотня ребяческих глаз уставилась на Пушкина. Для них это было диковинно. Кое-кто из них знал кое-что из его стихов, другие слыхали фамилию, остальным рассказали. Пушкин об этом и не подозревал, но ему вспомнилась школа майора Раевского в Кишиневе, и он невольно вздохнул: да, велико разнообразие мира…

Осматривая самый дом, на обратном пути он обратил внимание и на потайную, круто витую деревянную лесенку, хотел было полюбопытствовать и о ее назначении, да постеснялся: он явственно различил шедший оттуда запах тонких духов.

В столовой были штофные обои, ковер во всю комнату; на подзеркальнике часы, семисвечник, фарфор; фигурки, впрочем, опять-таки были все больше на сюжеты мифологические. Над столом чуть покачивалась, мелодично звеня, изящная люстра в двадцать одну свечу. Самый обед — постный, конечно, но с винами — был создан на славу, а разговор шел о Державине и Хемницере, и о… Парни. Но, слава богу, архиерей сам стихов не писал.

Пушкин хвалил соуса, хозяин же, шутку любивший, ему отвечал:

— Соуса ничего! У нас есть и церковь: Никола на Соусах!

Когда же наконец гость поднялся уходить, «отец Евгений» ему дружески-светски жал руку и все повторял:

— Люблю поболтать со своими!

Перед самым отъездом Пушкин успел побывать и у Екатерины Ивановны, сестры своего милого Пущина; он уж давно и забыл, что на него рассердился. Посещение это оставило в нем грустное и тихое, но немного и тревожащее впечатление. Мужа Екатерины Ивановны Пушкин не видел. Маленький домик их был чист и опрятен. Желтые канарейки скакали по клеткам. О брате она только вздохнула.

— Что вы? Здоров ли Иван?

— Здоров-то здоров, да я за него всегда очень страшусь.

Так и сказала — не «боюсь», а «страшусь» и, подумав, добавила:

— Он рассудителен, но и очень горяч.

Она подняла глаза; они были такие же, как и у брата, прямые и честные, несколько строгие. Пушкин невольно вздохнул, и ни к кому больше во Пскове идти не захотелось.

Г л а в а в о с е м н а д ц а т а я

Попытка бегства

Пушкин из Пскова приехал одновременно и примиренный, но и приподнятый. Множеством жизней и человеческих судеб пахнуло на него в ночном псковском кремле, и собственная его судьба не казалась ему теперь каким-то мучительным исключением. Не губернатор и даже не архиерей, о котором написал было преуморительное письмо Вяземскому, да остерегся и сжег его, но именно эта одинокая и полная движения ночь и сам древний город, да еще мимолетно скользнувшая тень милого Пущина — вот что осталось в нем жить от этой осенней поездки.

Странное дело: ото всех этих стен, башен, бойниц, да и от самых церквей, где некогда возносились молитвы над дремлющим в подземельях порохом и в соседстве с прямым кабаком, — веяло жизнью, движеньем общественных сил, напряженной борьбой, передаваемой от века к веку. В этом была простота и величие, и дивная сложность, и собранность, и широта, — и это крепило, пусть охлаждая, но закаляя.

Тем же для Пушкина дышал во весь этот год и его «Борис Годунов», которого часто писал Гудуновым, как бы слыша в нем отзвук гуденья времен, но только сейчас и на себя и на «Бориса» взглянул он со стороны, и сам осознал, как он вырос за этой работой. Резкие вспышки страстей, мечта политической мести — все это будет и дальше, это в крови и в раздражающем воздухе, омывающем кровь, но — больше теперь, чем когда-либо прежде, — все это отнюдь не походит на одни раздраженные нервы; Пушкину кажется, что он теперь больше владеет собой.

И первым его испытанием стала опять-таки Керн. Он не присутствовал при самом приезде супругов и только из перекрестных рассказов представил себе, как это вышло забавно.

Анна Петровна выехала из Риги по предложению мужа, который взялся помирить ее с тетушкой. Письмо от Прасковьи Александровны она получить не успела и очень робела с ней встретиться. Генерал, как генералу и подобает, храбро пошел вперед, оставив жену в экипаже. Но Анна Петровна не усидела и через рощу и сад сама торопливо направилась к дому. Тетушка вышла как войско из крепости: окруженная всеми домашними. Керн поняла, что мир заключен, и бросилась к ней на грудь…

Пушкин застал уже вполне благодушную сцену: даже сюртук на Ермолае Федоровиче был полурасстегнут, а лицо выражало победу, доставшуюся в результате отважного натиска на неприятеля. По одному этому выражению самодовольства можно было составить себе представление об этом храбром вояке и обольстительном муже. Пушкин лишь бегло взглянул на него, но сразу же в нем, впервые за все это время, вспыхнуло острое ощущение жалости к Керн, выданной замуж насильно, совершенною девочкой, да еще за такое сокровище! В этом совсем неожиданном ощущении сразу поблекла и та полтавская тень, что пала на нее на маневрах…

Генерал обошелся с новоприбывшим с самой изысканной вежливостью, на какую был только способен, и долго тряс руку Пушкина своею широкой и потной рукой. Разговор завязался об общих военных знакомых и, в частности, о генерале Раевском. Керн из себя также пытался изобразить генерала-вояку и нес небылицы. Пушкин старался на него не

глядеть. И тем разительней было его впечатление, когда наконец вынужден был прямо взглянуть.

— Вот этот рубец! Видите, за ухом?

Генерал повернул свою дряблую шею, напоминавшую щуплую репу, и Пушкин увидел, склонясь, тяжелый его, с малыми бачками, с височками под Александра, якобы бравый, старческий профиль: нетвердо поджатая снизу губа, а на верхней коричневый порошок табака под красноватым, мясисто нависнувшим носом.

— Да. Замечательно. Вижу. Вы настоящий герой!

«Муж ее очень милый человек, мы познакомились и подружились», — позже писал Пушкин Алексею Вульфу. Но его почти затошнило от непосредственной близости этого милого человека, и он, отвернувшись, отошел прочь; генерал тяжело, но отчасти и недоуменно поглядел ему вслед.

Пушкин был рад, что в эти минуты Анны Петровны не было здесь: она еще не появилась. Это было невежливо, но он через террасу вышел на двор, отыскал бочку с водой и корец и, тщательно вымыв руки, вытер их носовым платком.

Ему было странно: сейчас он увидит Анну Петровну, но того волнения, восторга, раздражительной злости или мольбы, чем полны были его одинокие письма, — сейчас ничего этого не ощущал. А между тем он был истинно рад ее возвращению. Быть может, так было и оттого, что отвращение к мужу и жалость к жене теснили другие, более яркие чувства, но было еще нечто иное — точно бы кровь спокойно и крепко в нем отбивала: пусть будет что будет! Он возвратился в гостиную.

Генерал в это время разглядывал, наклонившись, альбом Прасковьи Александровны: видны были только его подбитые ватою бравые плечи, все еще прямая спина и широкие, круглые, бычьи бока. Анна Петровна входила как раз из противоположных дверей. На ней было легкое платье, изящные туфельки; свежие руки полуоткрыты. Шла она быстро и сразу, легко остановилась. Невыразимым очарованием снова повеяло на Пушкина, словно какая-то милая родная страна опять открывалась пред ним. Как ее можно было жалеть, когда она носит в себе эту полную и легкую радость! А муж? Он как репейник на платье: стоит лишь наклониться и, отодрав, кинуть в канаву…

Она улыбнулась ему еще издали, чуть покосив милым смеющимся глазом на склоненную спину почтенного Ермолая Федоровича. Этот безмолвный и краткий их разговор заключал в себе все: и радость свидания, и призыв к осторожности, и, тем самым, признание, что есть что скрывать.

В эти немногие дни, пока супруги гостили у Осиповой, так и установились взаимные их отношения. С мужем Пушкин был то церемонен, то позволял себе изредка какую-нибудь словесную выходку. По отношению к Анне Петровне, кажется, сам генерал успокоился: и Пушкин и мадам Керн тщательно остерегались его недоброго взгляда. Больше всего досадовал Ермолай Федорович за то, что — «штатский! поэт!» — бил его в шахматы. Пушкин знал, что на доске защищаться труднее, чем нападать (как, впрочем, и в жизни), и опрокидывал Керна самыми дерзкими выпадами. Пожалуй, что только так он и переносил его близость, и ему доставляло большое удовольствие знать, что Анна Петровна на его стороне и радуется поражениям мужа. Отдаленно, пожалуй, это было как бы сражениями и из-за нее самой.

Все же изредка удавалось повидаться и наедине. Пушкин знал теперь ее планы и строил свои. В Ригу она вернется лишь ненадолго, уедет в Петербург; он про себя также решил — в Петербург непременно «удрать». Наконец, это не будут только слова, но и поступок! Оба они

жаждали свидеться на свободе, и оба, смеясь, отвергли ее предположение — выдать замуж кузину Анету, чтобы иметь у нее прибежище.

— Выдать замуж Анету? Да и подумать об этом смешно. Она ж прирожденная дева!

В один из таких разговоров Пушкин спросил полушутя:

— Ну, а кузен?

— Ах, Алексей очень смешной! — ответила Анна Петровна. — И он вас не любит, боится.

Пушкин действительно был теперь рад, что она не последовала призыву его приехать в Михайловское. Он был после Пскова спокойней, увереннее, и самый проект посетить Петербург был связан теперь не с одной только Керн, но и с разными планами об устроении жизни по-новому: может быть, все же удастся на время покинуть Россию! Однако ж, когда была она в непосредственной близости и шло от нее живое тепло, он страстно мечтал об одном: видеть ее у себя в Михайловском… и забыть с нею обо всем и обо всех.

Такое свиданье и было. Только одно. Обстоятельства им благоприятствовали. Прасковья Александровна с генералом уехала к Рокотову на партию в вист. Звали и Пушкина, но он уклонился. Анна Петровна сказалась больной и заперлась у себя, а в послеобеденный час, убедившись, что сестры прилегли отдохнуть, вышла из дому будто гулять; никто ее не видал. Пушкин ждал в роще (не в той, где были вензеля); из осторожности, как было условлено, он не выходил за опушку, похаживая взад и вперед, как бы у запретной черты.

Весь этот день было тепло и ясно, предвечерняя мягкость лежала над озером. Доживая последние свои северные дни, аист стоял у самого берега, как бы неся почетную стражу, длинную, тонкую ногу поджав под крыло. Керн показалась вдали; Пушкин едва не кинулся к ней; но порыв свой сдержал. Она приближалась быстро, легко, точно гонимая ветром. И у нее было так: пусть будет что будет! Когда она была уже близко, Пушкин на месте не устоял. Он побежал к ней навстречу и на бегу принял в объятия.

В это свидание, короткое, страстное, они почти вовсе ни о чем не говорили. Ни словом он не обмолвился ни про мужа и ни про Вульфа, словно бы и на свете их не было! Было лишь жаркое дыхание милых уст, которые он целовал, целовал — как сбывшийся сон.

Свидание это прошло необнаруженным. Но оно не принесло с собою желанного разрешения. Что-то меж ними стояло, и Пушкин догадывался: Керн не могла переступить через чувства кузины Анны. Скрывать от нее было бы тяжело, невозможно; признаться — жестоко. Мужа решила она окончательно бросить и звала в Петербург Александра, зная, как это трудно.

Нечто подобное испытывал и сам Пушкин. Тригорское, Осиповы — не Анна, конечно, а прежде всего сама Прасковья Александровна — связывали его. Возникла бы ссора, разрыв, Тригорское было б отрезано, одиночество стало бы полным, невыносимым. Но с тем большею страстью мечтал он теперь о побеге: пока что в Петербург.

А вместе с тем, как и всегда, работе его это ничуть не мешало. Керны уехали в Ригу, и в Тригорском по-прежнему воцарились мир и согласие. Осень была хороша, писалось отлично; работал, гулял. На прогулке однажды припомнилась прошлогодняя такая ж пора и ее треволнения, ссора с отцом и как, пребывая в Тригорском, раз поскакал прямо в телеге за неизвестным письмом, находившимся в руках Сергея Львовича, и когда отъезжал — эти опенки, цветы, ему поднесенные Анной, осенние, и недовольный взгляд ее матери. Но, как всегда, Анна не трогала, лицо же Прасковьи Александровны, вставшее в памяти, невольно заставляло подумать о тех огорчениях, которые он ей причинял, и захотелось хоть несколько строк ей оставить на память. Она же и окна ему убрала на лето цветами…

Иные из них еще доцветали. Цветы последние милей Роскошных первенцев полей. Они унылые мечтанья Живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час Живее самого свиданья.

Осипова была растрогана до глубины души, слушая это, а Анна ушла к себе плакать. Как же не плакать, когда решительно все шло мимо нее и даже Зизи получила чудесный подарок:

Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись!

Пушкин однажды Анне признался, что начал стихи и для нее, а когда она попросила припомнить, заранее радуясь и трепеща, хоть одну только строчку, он произнес целых две:

Ты приближаешься к сомнительной поре, Как меньше женихов толпится на дворе…

Это ли не было горькой насмешкой? Но Анна была удивительной девушкой. Могла ль разлюбить она Пушкина? О, никогда! Эта злая для нее любовь все глубже и глубже оплетала своими корнями девическое ее верное сердце. А он ничего этого как бы вовсе и не замечал… Но хоть ценил ли?

Тем временем Пушкин наводил последний порядок и в книге стихов. Стихотворение «К ней» он вычеркнул вовсе: так в эту пору Керн в его сердце заменила собою Бакунину…

А между тем наступила годовщина Лицея.

Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле. Проглянет день, как будто поневоле…

Весь этот день он провел у себя, вспоминая товарищей. Он им предсказывал, что в будущую годовщину и сам явится к ним, единственным верным друзьям, ибо новые друзья ему изменили:

Но горек был небратский их привет.

Так и сегодня, на празднике дружбы, этой его исконной стихии, вспомнил он неверного друга — Александра Раевского. Но с тем большею теплотой выливались стихи о настоящих друзьях. Он помянул и умершего во Флоренции Корсакова, и Матюшкина-морехода, и всех троих его посетивших товарищей: Пущина, Дельвига и Горчакова. Первые двое были ему ближе неизмеримо. Но пусть Горчаков даже его и не посетил и неизвестно, настолько ли даже был болен, чтобы к нему не приехать, но все же и он как бы у него побывал. И, вспоминая о паспорте и загранице: «Я это сделал бы для любого лицейского товарища», — на одиноком пире своем Пушкин забыл и про «слюни», про клетчатый плед и про «Монаха», и лирически-полно помянул у себя и Горчакова:

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней, Хвала тебе! — фортуны блеск холодный Не изменил души твоей свободной: Все тот же ты для чести и друзей. Нам разный путь судьбой назначен строгой; Ступая в жизнь, мы быстро разошлись, Но невзначай проселочной дорогой Мы встретились и братски обнялись. Он поминал и себя: Служенье муз не терпит суеты; Прекрасное должно быть величаво, Но юность нам советует лукаво, И шумные нас радуют мечты…

Под горячую руку мысленный тост предлагал и за царя. Что же, и он, как все, способен поддаться «мгновенью»…

Он человек! Им властвует мгновенье, Он раб молвы, сомнений и страстей… И, обращаясь к Кюхельбекеру, говорил и о нем и о себе вместе: Пора, пора! Душевных наших мук Не стоит мир…

В эту минуту готов он был бросить свои «заблуждения»!

Подобные настроения Пушкину не были чужды и раньше. Теперь же в эту сторону его гнули усиленно и друзья, и самые обстоятельства жизни. Жуковский положительно требовал,

чтобы в «Годунове» обнаружился новый пушкинский «дух»: «…напишешь такого Годунова, что у нас всех будет душа прыгать: слава победит обстоятельства». Вяземский беседовал и с Карамзиным; Карамзин слал советы. Но Пушкин ни в чем не уступал: трагедия его была выношена и выстрадана до конца. Одно дело — в годовщину Лицея простить ради тоста, неправое гоненъе царю, и вовсе другое — лукавить перед собою самим, и как раз в том, что является истинным делом его жизни. «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию, — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого, торчат!»

Так он писал Вяземскому, закончив своего «Бориса». Это был год напряженной работы, и последняя ночь походила на вздох освобождения.

Седая легкая изморозь лежала за окнами. Меж сосен курился ранний рассвет. Садовник Архип, выйдя на волю, увидел огонь в барском окне; смутно ему послышались крики. Он поспешил через двор, поглядеть, все ли в порядке. Единственным глазом через неплотно задернутую занавеску много он не мог разобрать, но все ж успокоился: барин был жив и здоров и совершенно один. Стоя посреди комнаты, громко он что-то читал по бумаге, махая другою рукой. Но, успокоившись, тут же Архип снова и испугался: здоров ли? Вот он кинул бумаги на стол, стал бить ладонью в ладонь и что-то кричал, кого-то ругая. Архип от греха попятился прочь.

Сам Пушкин писал о том Вяземскому: «Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедией, в ней же первая персона Борис Годунов! Трагедия моя кончена, я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши, и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

После своего отъезда Керн ничего не писала ни Анне, ни Пушкину. В последних словах он поклялся, что тотчас же приедет в столицу свидеться с ней. Однако же дни шли за днями, а никакого движения не было, и не было никаких перемен в личной судьбе его. «Движенья нет», — думал он про себя, вспоминая свои же стихи. И внезапно — движенье настало: всплески его докатились и в псковскую глушь.

Столица была без царя, уехавшего с больною женою на юг, и Пушкин подумывал: подольше бы он не возвращался, легче будет проникнуть в столицу. Он ждал только знака от Керн. Но почта молчала. В Тригорском в последние дни было также невесело. Осипова простудилась, у нее было рожистое воспаление на лице. Но сквозь все это безмолвие стали сперва доходить смутные слухи, что и сам царь заболел, а потом на деревенскую скуку пало событие: известие о смерти царя в Таганроге.

Пушкин стоял у себя в зале один. Зима наступала холодная, но, как и в прошлом году, совершенно бесснежная. Няня топила теперь, и он кое-когда сюда заходил — покатать шары на бильярде. С поднятым кием, на стук он ответил:

— Войдите!

— Записка от барыни Осиповой.

Пушкин отложил в сторону кий и принял от няни записку. Она была коротка, и он быстро ее пробежал. Резким движением, изогнувшись, как кидаются в прорубь, он внезапно нырнул под бильярд и вынырнул с другой стороны. Няня глядела на него с испугом; сам Пушкин едва ль понимал, что он делал. Он был потрясен всем своим существом, и, очевидно, какой-нибудь стремительный жест, эта разрядка возникшего напряжения были для него необходимы: так именно он вынырнул в новую жизнь. На лице его быстро менялись противоречивые чувства. («И опять- таки в Таганроге… на той самой кровати!») Так он постоял и, оглядевшись, с изумлением увидел няню, как если б она только что появилась перед ним. У нее было испуганное спрашивающее лицо.

— Няня, я еду… Ура!

Няня была готова заплакать, но он ее затормошил и завертел с собою по комнате.

Тотчас же, однако, он не поехал, хоть и очень его подмывало. Не обратиться ль к друзьям? Он был возбужден: царь был другой! «Ради бога, не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге: черт ли в них? а просить или о въезде в столицы или о чужих краях. В столицу хочется мне для вас, друзья мои, — хочется с вами еще перед смертию поврать; но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море…» Так он писал и Плетневу, начиная письмо: «Милый, дело не до стихов…» Он ждал, что теперь, при Константине, изменится многое, и выражал эти мысли Катенину: «Как верный подданный должен я, конечно, печалиться о смерти государя, но как поэт радуюсь восшествию на престол Константина I, в нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем… К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше». Так, прямо не говоря об Александре, в рассуждении ума не забыл-таки «добрым словом», хотя бы и косвенно, помянуть покойного императора.

А вскоре пришло письмо и от Керн. Она присылала в подарок ему полного Байрона и извещала, что с мужем совсем порвала и уезжает наконец в Петербург. Сердце забилось у Пушкина. Итак, тень царя сама отошла и рассеялась… Итак, она теперь будет одна…

Но заботливо он подумали о деньгах: жить одной нелегко! И спешно послал ей стоимость книг. Он очень ее благодарил и выражал надежду, что перемена, только что происшедшая, приблизит его к ней. «Опять берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног; что я все люблю вас; что иногда ненавижу вас; что третьего дня говорил про вас ужасные вещи; что я целую ваши прелестные ручки; что снова целую их, в ожидании лучшего; что больше сил моих нет; что вы божественны, и т. д.».

И действительно, сил больше не стало. На именинах у Анны, которой он написал-таки кое-как приветственные строки в стихах, было много народу. Но он сидел меж гостей и думал свое. Только один рассказ о происшествии, недавно случившемся по соседству, в Новоржевском уезде, запал ему в память.

Иван Матвеевич Рокотов рассказывал его длинно, с подробностями, витиевато. Однако же самое происшествие было забавно. Муж уехал на охоту, а молодая жена приняла проезжавшего мимо молодого и красивого путешественника. У него сломалась коляска, и его оставили ночевать. Ночью он совершил вылазку, но получил пощечину от хозяйки.

— Нападение было слишком внезапным! — лукаво добавил рассказчик, как бы в пояснение.

Пушкин слушал и улыбался, но настоящие мысли его были совсем о другом; он поднялся и прошел к Прасковье Александровне, все еще не выходившей к гостям.

Она его приняла. Лицо ее было забинтовано, но она накинула на голову шаль, чтобы не пугать гостя. Как обычно в последнее время, они заговорили о положении в Петербурге.

— Вот Арсения нынче отправила с яблоками. Жду новостей, как вернется.

Пушкин подумал: «Вот жаль, что уехал уже!» — и, следуя своим думам, начал расспрашивать Осипову, как она делает, отправляя людей в Петербург.

— А как? Очень просто. Пишу им билет, приметы, года и ставлю печать.

— Просто свою?

— Ну конечно. Боюсь, теперь на заставах не стало ли строже.

«Пишу им билет…» Как это просто! На возвратном пути, вспоминая побег Гришки Отрепьева и чтенье примет, он говорил сам себе: «А что, в самом деле, почему бы и не выступить этаким самозванцем?»

И дома, лишь изменив несколько почерк, быстро составил он на себя и на Архипа-садовника отличный «билет»; предварительно глянул и в зеркало и убедился, что лет себе надо прибавить.

Билет

«Сей дан села Тригорского людям: Алексею Хохлову росту 2 арш. 4 вер., волосы темно-русые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29, да Архипу Курочкину росту 2 ар. 3/2 в., волосы светло-русые, брови густые, глазом крив, ряб, лет 45, в удостоверение, что они точно посланы от меня в С.Петербург по собственным моим надобностям, и потому прошу Господ командующих на заставах чинить им свободный пропуск».

Перед тем как поставить число, он задумался: не лучше ли пометить более ранним числом, когда о смерти царя еще не было слуха? Так будет лучше, чтоб избежать подозрений… И он пометил «билет» концом ноября.

С улыбкой, припоминая почерк Прасковьи Александровны, Пушкин свободно, легко подписался на документе: «Статская Советница Прасковья Осипова» и приложил собственную свою печать.

Ночью ему неважно спалось и привиделся дед Ганнибал, шагавший между дерев. Однако ж с утра призвал он Архипа и отдал все необходимые распоряжения.

Так все пути к отступлению были отрезаны. Он волновался не только близким свиданием с Керн. Он вспоминал и Горчакова: мог бы не говорить, но если сказал, так и сделает. Но он ясно представил себе, что покидает Россию — как будто привычная мысль, — и все ж холодок пробежал по спине. И что вообще сейчас в Петербурге? Он знал хорошо, чем бывает чревата пора междуцарствия.

Архип уложил тайно от всех мужицкий наряд для своего барина. Пушкин знал, кому можно довериться, когда будет он сам выступать в роли «Алексея Хохлова». Даже и няня не была посвящена в эту тайну. Ей он сказал, что на своих поедет во Псков, и чтобы тригорским так же сказали, буде запросят.

— Да так ли уж надобно ехать? — спросила старушка, и в самом тоне ее была различима тревога.

Пушкин в ответ ничего не сказал, но заботливый этот вопрос и беспокойство, в нем прозвучавшее, сопровождали его всю дорогу. Издали вскоре они увидали, как им в тележке пересекло дорогу лицо духовного звания в монашеской черной одежде.

— Не иначе как случай предвидится, — сказал, обернувшись, Архип. — Поп на пути — не к добру.

— Ну я их часто встречаю, — отозвался с неудовольствием Пушкин: он и сам предпочел бы не встретить в дороге попа.

Выехали они в сумерках, с точным расчетом через три дня (ехать не на почтовых!) в такую же пору попасть и в Петербург. Вечер был глух, и лошади то и дело поводили ушами и настораживались. Было невнятно на душе и у Пушкина. Первый тому показатель был этот монах. Он на него и не обратил бы внимания, будь в другом настроении сам, но он знал хорошо, что приметы только тогда и смущали его, когда смущение это уже пребывало в нем самом. Ехать ли дальше? Кто его гонит? Не ложное ли одно беспокойство? Что, собственно, нового произошло? Керн? Конечно, чудесно встретить ее тотчас по приезде, но… И во все недавно писал через Плетнева запросы друзьям… Отчего же и не подождать? «Да так ли уж надобно ехать?..»

— Что это там?

— Заяц дорогу перескочил.

— А знаешь что, Архип?

— Слушаю, барин.

— Нет, ничего…

Пушкину стыдно было признаться — в зайца он верил даже сильней, чем в попа. Приметы одна за другой ложились на собственную его неуверенность. И, чтобы развлечься, он стал представлять себе охоту и псарню. Как отъезжал этот муж, про которого рассказывал Рокотов, со сворой борзых:

Пора, пора! рога трубят; Псари в охотничьих уборах Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах. Турецкий нож за кушаком, За пазухой во фляжке ром
И рог на бронзовой цепочке.

Этот рог висел у него теперь на стене. Он вспомнил, как летом, при Керн, трубил он в тот рог и на минуту почувствовал прелесть охоты.

Наташа! Там у огорода Мы затравили русака.

Так начал он «думать стихами», через которые перебегал и действительно только что бывший русак, и понемногу привычная эта стихия все больше его размагничивала, и самая цель путешествия как бы задергивалась зыбким туманом. Едет куда-то и все… Когда показались вдали огоньки погоста Врева, на секунду поймал себя Пушкин на мысли: «Ну вот, как будто бы и доехали…»

Заяц опять, длинный, с косыми ногами, метнулся у самых лошадиных копыт… Пушкин больше не стал разговаривать и коротко приказал Архипу повернуть лошадей.

И ничуть ему не было стыдно. Разве не волен он этак решать или так? Даже напротив: теплое спокойствие, почти физически ощутимое, охватило его. То же, казалось, разделял и Архип; и лошади, хлопая добро ушами и фыркая, прибавили рыси. Значит, домой… Пусть теперь целая заячья стая перебегает дорогу: не страшно ничуть! Да когда же им и скакать, как не в эту вечернюю пору!..

Пушкина няня встретила радостно и обняла, крепко прижав к груди.

— Уж как рада-то я! А то и места себе не находила!

«Ну, так… — думал Пушкин наутро. — Буду ждать, авось и дождусь чего-нибудь доброго. И стихи писать хочется!»

После «Бориса» он уже сильно теперь затосковал по вольным, летучим стихам. «Онегин» почти был заброшен, и сразу к нему приступить не так-то легко среди напряженного ожидания последних дней. Но эта охота, и этот проезжий (пусть будет граф!), да и весь анекдот — так и стоят перед глазами!

Но весь анекдот, однако ж, ему обернулся еще и по-новому. Невольно он вспомнил «Лукрецию» и привычной рукой вынул с полки Шекспира. Он перечел еще раз эту поэму, которую, впрочем, не особенно и ценил. Да, происшествия были подобны и стали бы вовсе похожи, когда б героиня Шекспира, как и Наталья Павловна (Пушкин уже окрестил свою барыню), так же обошлась с Тарквинием. Быть может, это охладило б его предприимчивость и он отступил бы… Тогда вся история мира была бы не та. Мысль пародировать историю и Шекспира представилась ему с соблазнительной ясностью, и за каких-нибудь два дня он написал эту повесть. За все это время был он особенно весел и часто захаживал в девичью, чего за последнее время почти не бывало.

Когда он читал отрывки из «Нулина» позже в Тригорском, все были в диком восторге. Евпраксии надо б не слушать, да разве с девчонкою справишься?

— Ведь я уже слышала этот рассказ. А ежели Рокотова мне дозволительно слушать, то как же не слушать мне Пушкина?

Резон был таков, что пришлось уступить.

В самый разгар оживления Осиповой доложили, что повар Арсений вернулся.

— Позовите его сюда, — попросил Прасковью Александровну Пушкин. — Может быть, он что и расскажет.

— Что-то не слышала я, как ты подъехал, — сказала хозяйка.

— А я отпустил лошадей, дабы, сударыня, вас не беспокоить.

— Как отпустил лошадей? Где же они?

— В Петербурге-с. Гостят. А я на почтовых.

— Что же там, бунт? — стремительно спросил Пушкин, стоя у печки с заложенными за спину руками.

— Истинно бунт, — ответил Арсений. — Стреляют на площади. Войска на войска.

— А ты когда выехал?

— А так что четырнадцатого.

«Как раз накануне приехал бы!» — Кровь отлила от головы и кинулась к сердцу. Пушкин так побледнел, что лицо его едва отделялось теперь от желтоватого кафеля печки.

— А государь? — спросила Прасковья Александровна.

— И государь при войсках. Да только не знаю, который…

— Как так «который». Один государь — Константин!

— Да кто говорит — Константин, а кто — Николай!

Все были поражены: значит, междоусобица?

— Я так слыхал, — понизил голос Арсений. — Да уж не знаю, как и сказать… Будто в глухую в полночь бояришки наши — министры да генералы — требуют царя в сенат. А когда он пришел, и Константин себе подскакал и преогромным мечом стучит у ворот. Как тут не пропустить…

— Невозможно! — воскликнула Осипова. — Это уже начинаются сказки!

Но Арсений во все это верил больше, чем во что-либо другое.

— И в полночь, перед крестом и Евангелием, на основанье законов, присягнули друг другу и друг на друга пошли… Пушкин спросил, прерывая:

— А на площади только войска? — Жаркий румянец сменил на лице его бледность.

— И господа офицеры. И, извините… черный народ.

В зале возникло молчание.

— Я вам еще в прошлом году предсказывал бунт, — сказал Пушкин, отойдя наконец от печки, словно бы непосредственная опасность уже миновала и можно было покинуть убежище.

Он произнес это, когда Арсения уже не было в комнате. Но вообще был неразговорчив и скоро стал собираться домой.

Он ехал поспешно, мысли кружились в его голове, как осенние листья. Да, это так: он попал бы как раз в самый разгар или накануне… А он писал в это время веселую повесть… Писал и смеялся, как Лидин:

Смеялся Лидин, их сосед, Помещик двадцати трех лет.

Не странно ль? Пощечина, заяц… какие-то мелочи на поворотах судьбы…

Мысль эта, впрочем, только мелькнула. Он думал теперь о Петербурге и все вспоминал, как повар Арсений на самый последний о бунте вопрос отвечал:

— Видать, что прикончился.

Приехав домой, тотчас же он распорядился, чтоб затопили в зале камин.

— Да печи уж топлены нынче, — попробовали было ему объяснить.

Но Пушкин разгневался, чего с ним почти не бывало, и строго потребовал, чтобы его приказание немедленно было исполнено. Потом он привел в порядок бумаги и отобрал особо

записки, которые вел уже давно. Вышла порядочно толстая стопка бумаги. Но, отобрав, он над нею задумался.

Еще этою осенью он спрашивал Вяземского: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними! Слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов». И теперь, над грудою собственных своих листков, он размышлял, как и все в том же письме: «Писать свои мемуары заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбегу перед пропастью, на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать суд людей нетрудно; презирать суд собственный невозможно».

Пушкин знал, что записки Байрона были сожжены друзьями после его смерти, и думал теперь: лучше все самому уничтожить! К тому, впрочем, были причины весьма основательные. Воспоминания эти могли замешать имена многих людей и таким образом умножить число жертв: Пушкин ждал грядущей расправы и не был спокоен и за себя. Он отобрал лишь немного листков и сохранил их для Вяземского. А остальное — предать все огню!

Подумав еще, к этой пачке присоединил он и стопочку писем: «Пущин, и ты — тоже гори! Ты тоже когда-то сжег свой дневник».

Дом уже спал, когда через коридор вошел он на половину родителей. Камин еще ярко горел, и длинные беспокойные тени бродили в углах. Няня готовилась к праздникам: вещи все сдвинуты, лампа снята (будут чистить ее кирпичом), торчал наверху один только крюк; и комната вся была как незнакомая.

Пушкин не медлил и сразу кинул бумаги в огонь. Желтый и синий смешанный дым окутал всю стопку: огню не под силу сразу ее охватить. Пушкину стало мучительно грустно. Записки были еще черновые, но он собирался со временем, опираясь на них, нарисовать большую картину эпохи.

Желая ускорить сгорание, он захватил щипцами сразу всю кучу бумаг и хотел ее растрясти. Неверным движеньем руки, однако, он их потянул на себя, щипцы ослабли, и вся эта груда, уже разворошенная, выпала на пол перед камином. Ярко вскинулось пламя. Пушкин хотел его потушить, но вдруг ему показалось, что кто-то скрипнул дверями. Он обернулся. Конечно, почудилось. И в то же мгновение увидел свою огромную тень. Снизу огонь кидал ее на потолок, и голова его колебалась на самом крюке.

Негромко он крикнул, схватился за грудь, но тотчас и опомнился. Через полчаса камин прогорел, оставив лишь мелкие уголья да горсточку пепла.

Глава девятнадцатая

Тревога

В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, На третье в ночь.

Пушкин писал эти строки, возвратившись к «Онегину», четвертого января, по свежим следам наконец-то пришедшей зимы. Второй уже год она так запаздывала.

После незадачливого своего побега, после вестей о восстании и петербургских арестах Пушкин впервые почувствовал себя спокойным; выпавший снег приносил с собою какое-то тихое умиротворение: не все еще перевернулось на свете вверх дном, и природа черед соблюдает.

Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя…

Так он писал в прошедшую зиму, и вот снова жужжание няниного веретена, или спицы мелькают в сморщенных ее руках, и снова мила ему девичья, и тепло, и уют, и любящие серые глаза. Но полно, умиротворение ли? Не убегал ли от беспокойства и дум?

Так и к «Онегину» он возвращался— будто домой после тревожной поездки: прелесть зимы и гаданья — как этим легким морозом отрадно дышать! И попадает в стихи кое-что из мелочей и текущего дня. Оля гадает.

— Кто ж тебе встретился?

— А встретился кучер.

— Ну, тогда у тебя будет муж Агафон.

Так он смеялся, вспоминая, что именно так звали лицейского кучера, воспетого Дельвигом…

Как ваше имя? Смотрит он И отвечает: Агафон.

Так поминал и приметы, приписывая Татьяне кое-что и свое, очень недавнее:

Когда случалось где-нибудь Ей встретить черного монаха Иль быстрый заяц меж полей Перебегал дорогу ей, — Не зная, что начать, со страха, Предчувствий горестных полна, Ждала несчастья уж она.

И вот он затаивался в своих окутанных снегом лесах и давал волю воздушному полету воображения, но в нем одновременно пребывала и глубокая тревога, и иногда, среди самого легкого бега стиха, нападало раздумье, и он, размышляя, сопоставлял факты, слова и людей и забывал свое время.

С большим запозданием, даже храня явные следы вскрытия, дошло до него краткое письмо из Москвы. Пущин писал, что едет в Петербург и очень желал бы увидеться. Как не желать повидаться! Но было ли это простым выражением надежды, что при изменившихся обстоятельствах Пушкину будет разрешено въехать в столицу, или же это было нечто вроде призыва самовольно покинуть Михайловское, спешно скакать в Петербург и… принять участие в бунте? Никаких уговоров на сей счет между ними не было, да и кто бы мог предсказать так внезапно сложившиеся обстоятельства; но все же, приди письмо вовремя, кто знает: быть может, он и не повернул бы обратно, а заявился прямо к Рылееву! Кому он обязан тем, что письмо запоздало? Вернее всего, что Пещурову. Бранить ли его за это или благодарить? А впрочем, не о себе: самые тайные думы его были совсем о другом.

Так вот как пришли эти «странные происшествия», которые пять лет тому назад предсказывал Михаил Федорович Орлов, оказавшийся настоящим пророком, и как точно их предсказал: «Девятнадцатый векне пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий…» И что же? Декабрь двадцать пятого года! Пушкину вспоминалось и другое место из писем того же Орлова: «Одно событие — и все изменится вокруг меня… Кому из нас ведомо, что может случиться».

Сколько раз самому Пушкину казалось: вот-вот разразится жестокая и очистительная буря! А потом приходила полоса сомнений, разочарований, или просто это напряжение как бы рассеивалось и уступало место частным событиям личной его жизни. Но так, конечно, только казалось: беспокойство и ожидание никогда окончательно его не покидали, и весь «Борис» его был огромным раздумьем над яркой эпохою кризиса в жизни страны; и все те же два стана: царь и народ. Народ у поэта безмолвствовал, — где же он был и четырнадцатого декабря?

А между тем… между тем — Разин и Пугачев? Но сейчас ему было не до новых творческих замыслов. Как хорошо, что кончил своего «Годунова»! Иначе история, вторгшаяся столь внезапно-стремительно в текущие «мирные» дни, — могла бы она ему и помешать.

Знал ли кто-нибудь точно, что именно так вот и будет? Нет, видимо, Пушкин в сомнениях своих был не один, и Иван Иванович Пущин клал сроки значительно более отдаленные, а прав оказался все тот же Орлов. «Одно событие» — конечно, он думал об императоре Александре, о том, что его уберут. Но тут по-иному случилось. Царь умер своею смертью. И эта сумятица между двумя возможными его преемниками… Кто это мог предсказать? И кто мог предсказать трагическую неудачу?

Так вот оно — тайное общество! Пушкин ясно теперь связывал юг и Петербург. Недаром он прожил на юге четыре полных года, недаром дышал воздухом Каменки и Тульчина. Опять перед ним вставала фигура майора Раевского: «Свободы сеятель пустынный, — Я вышел рано, до звезды…» И обаятельный облик покойного Охотникова, и сколько других, знавших в душе этот чистый огонь! Да, в Кишиневе Якушкин был тайно, и тайно туда же, якобы по личному делу, выезжал и милый друг Пущин… Как все теперь ясно обнажено, когда бурей все листья сорваны с дерева!

И как среди всего этого видна теперь с полной очевидностью руководящая роль полковника Пестеля. Его отдельные фразы звучали сейчас в воспоминании со всей убежденною четкостью и властною строгостью самой интонации. «Все должно быть обдумано, расчислено и сосредоточено так, чтобы именно этот путь оказался путем победы», «Всякое колебание, всякая неуверенность совершенно погибельны. Это путь к поражению, а не к победе. Смелости здесь недостаточно».

И вот все совершилось внезапно и непредвиденно; и совершилось без Пестеля. Аресты и следствие. А несколько позже слухи дошли и до Тригорского, что к январю стали привозить в Петербург и участников Южного общества, в том числе Пестеля и Волконского. Пушкин глубоко переживал это известие. Но оба те, как бы в сражении — окружены, взяты в плен, а как же… Мария?

И вот, догоняя друг друга, сливаясь между собой, возникли два образа юной Марии Раевской: в горах над Гурзуфом и на скале у самого моря. В ушах его снова сейчас зазвучали эти слова ее, которых не забывал никогда: «Эта дорога, поглядите, какая она каменистая… это дорога — моя…» И куда она ее привела? И куда поведет еще дальше?

И, как бы озирая этот, еще неведомый путь и чего-то на нем ища, он окинул глазами свой стол и увидел торчавший уголком из тетради листок со стихами, только недавно написанными и посвященными именно ей…

Отсюда, из края изгнания — далеко от Крыма, далеко от милых дней юности, он видел не только ее, но и себя самого — как бы со стороны, и потому эти стихи были не только о ней, но и о себе, как он ее видел.

Ты видел деву на скале В одежде белой над волнами, Когда, бушуя в бурной мгле, Играло море с берегами, Когда луч молний озарял Ее всечасно блеском алым И ветер бился и летал С ее летучим покрывалом? Прекрасно море в бурной мгле И небо в блесках без лазури; Но верь мне: дева на скале Прекрасней волн, небес и бури.

Так он видел ее, и так высоко оценил. И дело тут было не в женской ее красоте, о которой в стихах и ни звука, а в красоте молодой этой, смелой души, которая спокойно и гордо глядела в самую глубь бушующих перед нею стихий. В этом не только одна красота, в этом и нечто подлинно великое.

Да, бывает и так: поэтический отклик в душе родится далеко не сразу. И большею частью это случается, когда и само впечатление зародилось на большой глубине. Ему, как и зерну, глубоко посаженному, положен, как неизбежный, определенный самой природою срок. Здесь же случилось все — и острей и сложнее: помеха была! — и, родившись в душе, стихи не легли на бумагу, точно сама судьба определяла строгий свой срок, давая грозе воплотиться и в жизни в ту самую бурю, которой отныне Мария была обречена.

Пушкин глубоко вздохнул, судорожно смяв листок со стихами. Потом он непроизвольно расправил его и, почему-то еще немного помедлив, сунул обратно в тетрадь. А мысли, оказывается, были уже о другом… Так кто же был во главе заговорщиков в Петербурге? Не иначе — Рылеев. Этот поэт, не нашедший себя на бумаге и, уж конечно, нашедший на площади.

Как по-иному теперь понял Пушкин строки из майского письма Кондратия Федоровича: «Петербург тошен для меня; он студит вдохновение; душа рвется в степи: там ей просторнее, там только могу я сделать что-либо достойное века нашего…» Казалось бы: там я напишу что-то значительное, а не вернее ли там, в степях, то есть на юге, то есть где Пестель… и не написать, а именно сделать что- либо достойное века нашего?

И как пронзительно остро звучали стихи его, пожалуй, последние, из «Гибели Наливайки»:

Известно мне: погибель ждет Того, кто первый восстает На утеснителей народа; Судьба меня уж обрекла, Но где, скажи, когда была Без жертв искуплена свобода?

Пушкин думал, переплетя пальцы и долго их не размыкая. Ужели Рылеев был прав и ждет их погибель? Пущин особенно его волновал: уж он-то, конечно, был именно вызван.

И, размышляя, Пушкин чертил на полях летучих стихов о зайце, перебежавшем ему дорогу, строгие профили Мирабо и Вольтера, полу-себя, полу-Робеспьера, и милого Пущина, бывшего год назад в этой самой комнате. Не через десять лет, как он здесь говорил, а всего лишь через один только год: позвали — пошел!

Возникал перед ним и Петр Андреевич Вяземский; сей уцелел ли? В заботливых письмах последнего времени он проявлял много благоразумия, но то были письма… И Пушкин чертил профиль в очках.

Так, перебирая друзей, с тревогой подумал он и об Александре Раевском. «Милый барон! — писал Дельвигу Пушкин. — Вы обо мне беспокоитесь, и напрасно. Я человек мирный. Но я беспокоюсь — и дай бог, чтоб было понапрасну. Мне сказывали, что А.

Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности. Но он болен ногами, и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня». Так Пушкин забывал обиды и озабочен был судьбой и неверного друга. Однако же в этой тревоге его было также сомнение и по отношению к себе самому: мог ли он на Раевского целиком положиться? А какие у них были беседы! Достаточно вспомнить Каменку!

Барон был, однако, сильно припуган. Сам он на площади не был, но близко прогуливался, как и многие — из любопытства, и видел царя Николая; по дороге домой зашел он к Одоевскому и узнал, что тот уже арестован. В Москву он писал Баратынскому: «Напиши мне об Московском Парнасе, надеюсь, он не опустел, как Петербургский. Наш погибает от низкого честолюбия. Из дурных писателей хотелось попасть в еще худшие правители. Хотелось дать такой нам порядок, от которого бы надо было бежать на край света. И дело ли мирных муз вооружаться пламенниками народного возмущения?»

Правда, Дельвиг писал так отчасти и для чиновников, читающих письма: он знал, что малейшее сочувствие бунтовщикам ставилось в прямую вину, и знал, что весь Петербург полон доносчиков. Он и Пушкину отвечал с большой осторожностью, что Раевские оба па совершенной свободе, но умолчал, что все же оба брата были некоторое время под арестом. Он сообщал и о Кюхельбекере: «Наш сумасшедший Кюхля попался, как ты знаешь по газетам, в Варшаве». «Говорят, что он совсем не был в числе этих негодных славян, а просто был воспламенен, как длинная ракета». Но Дельвиг боялся написать, что и Левушка причинил немалое беспокойство родителям, очутившись на площади и приняв палаш от бывшего своего учителя Кюхельбекера.

Впрочем, петербургские слухи и новости проникали в озерную эту глушь не только из писем, но и изустно: сношения с Петербургом усилились.

Беспокойство за арестованных царило и в Тригорском. Там уже было известно, что среди восставших находились и внучатые племянники Осиповой — Сергей и Матвей Муравьевы-Апостол, и троюродный брат князь Оболенский; Анна вспоминала и мальчиков Муравьевых — Никиту и Александра, с которыми некогда она и кузина ее шалили и дурачились в детстве.

О случае с братом Пушкин узнал от Прасковьи Александровны. Волнение родителей было столь велико, что они «по секрету» шептались об этом и печаловались решительно всем друзьям и знакомым, пока слухи о происшествии не обошли чуть ли не весь Петербург. Теперь, с поимкою Кюхельбекера, его, несомненно, допросят и о злополучном палаше и заставят-таки сознаться в совращении Льва. Но ежели брата не тронули сразу, когда хватали направо и налево за всякий пустяк, не значит ли это, что решили взглянуть как на простой анекдот: ну, принял оружие, которое Кюхельбекеру, видимо, некуда было деть, ибо палаш он только что отнял у спасенного им от толпы жандармского чина, а в другой руке держал свой пистолет; и даже пусть Лев Сергеевич смолчал, не протестуя, когда тот же все Кюхля за него провозгласил его новым воином, — однако что же дальше? Сунул палаш куда-нибудь в снег и побежал домой хвастаться?.. Ведь Кюхельбекер-то пришел вооруженный, а не с пустыми руками и не мялся с оружием в руках, а стрелял!

Впрочем, Пушкин на брата был очень сердит еще с лета. Он долго не мог добиться от него, уплачены ли остальные пятьсот рублей Всеволожскому, на чем он категорически настаивал, и до сих пор еще не известно было, отдал ли и Вяземскому затянувшийся долг в шестьсот рублей, о котором он было совсем перестал беспокоиться, думая, что Лев давно уплатил. Все это мучило Пушкина. Брат не только пускал по ветру деньги, но и ставил его самого в неловкое положение. «Теперь пишу тебе из необходимости. Ты знал, что деньги мне

будут нужны…» — так Александр давал понять брату, что тот лишает его самой возможности думать серьезно о том, чтобы попасть за границу.

И все же он долго терпел эту беспорядочность Льва, почти решительно ничего не делавшего и по изданию, а только читавшего стихи знаменитого брата направо и налево… Пушкин долго ему лишь выговаривал в письмах, сменяя былую нежность и шутки на строгость и раздражение. Это было невесело, да и нелегко, но, раз открывшись, глаза уже не могли не видеть того, что было в действительности: всей пустоты милого Левушки! И Пушкин совсем прекратил сношения с братом.

Слушая теперь этот рассказ, он живо себе представлял пыл Кюхельбекера; не менее живо увидел, как всплескивал руками Сергей Львович, перемежая имя божие именем Карамзина, который «один может спасти»; угадывал тайную гордость Надежды Осиповны и как блеснули глаза ее при вести о «подвиге» Льва. Да, им восхищались и Ольга, и, наверное, Керн, жившая после переезда своего в Петербург у Пушкиных же. Левушка очень умел очаровывать женщин. В этом было нечто фатальное, и они извиняли ему решительно все и обольщались его поверхностным блеском. Но мог ли сам Пушкин поверить, что Лев был на деле с восставшими?

— А куда же он дел тот палаш? Ведь ежели принял оружие, надо тогда и сражаться. Иначе смешно.

— Не нападайте на Льва, — заступилась Прасковья Александровна, — он же не трус.

— Я в этом его и не обвиняю. Но уж наверное на память потомству он не запишет сей эпизод. Гордиться тут нечем.

— Да он же и не был ведь заговорщиком, зачем бы ему и сражаться?

— Я тоже так думаю. А впрочем, — добавил он с легкой усмешкой, — издали, как говорится, виднее… И как это знать, отважный мой брат: может быть, подвиг твой все же со временем и воспоет какой-нибудь славный историк!

Пушкин явно был раздражен, и Прасковья Александровна имела достаточно такта, чтобы беседы о Льве не продолжать.

Она, как и Пушкин, была далека от мысли хоть как-нибудь сближать его с теми людьми, настоящими, что томились теперь в казематах. Сам Пушкин был бы, пожалуй, не прочь братом и погордиться, если бы было за что. В первое мгновение он и ощутил было, как горячее чувство готово смыть все обиды и разочарования. Брат… неужели?., вот как! Но тотчас же так на него и пахнуло фамильным тем духом безволия и несобранности, тщеславия и суеты, который всегда мешал дышать ему дома и от которого, хоть и принудительным образом, бежал из Петербурга, отрясая прах от ног своих.

Однажды пришла весть и о Пущине, заставившая дрогнуть сердце. Горчаков не забыл-таки, видимо, разговора в Лямонове и, враг заговорщиков, сам пришел к Пущину и предлагал бежать за границу: для него это был настоящий поступок. Но — замечательно — Пущин наотрез отказался: он считал долгом разделить общую участь.

Милый, бесценный друг! У Пушкина дрогнули ресницы. Сам он не поступил бы так, но это его умилило. Пущин не гнулся, его было можно только сломить. Надо ли так?..

Пушкин совсем не цеплялся за жизнь, он не раз ее ставил на карту из-за какого-нибудь оскорбления: порою действительного, а порою и мнимого или совершенно пустячного. Он вспыхивал, как порох, хотя случалось и так, что таил в себе непогашенную надежду отмщения и целые годы, как это было с Толстым. Но все это было его личное дело, когда ж возникала борьба из-за чего-то иного, он допускал и игру, маневрирование, без этого было даже нельзя, это входило в самое понятие жизни и часто являлось ее настоящей пружиной. И

здесь это бывало подчас жестоко и трудно, ибо порою задевалась и собственная гордость, но это же было и высоким искусством: как бы уступая — не уступать!

И Пушкин в те дни много думал все же и о себе. Сон его стал беспокойным. Часто грезились сборища, чудища, схватки. Это врывалось даже и в мирные воды «Онегина», и сон его Татьяны был родствен его собственным снам…

Он сам уцелел, но надолго ли?.. И начал опять разговор с Петербургом. Кому ж и писать, как не Жуковскому?

Повар Арсений чаще обычного ездил теперь в Петербург, и с одной из оказий Пушкин отнесся к Жуковскому, объясняя ему, что не писал, «потому что мне было не до себя». Принадлежность свою к заговору он отрицал, но признавался, что «все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно». И тут же опять с тревогою спрашивал: оба ли Раевские взяты?.. Но, вспоминая двадцатый год, он не хотел уже никаких поручительств: он хотел сохранить за собою свободу поступков. «Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю: не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства и т. д.». И в самом конце письма, помянув покойного Александра, не удержался-таки: «…я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба».

Как поведет себя новый царь Николай? Пушкин Плетневу писал (по почте уже): «Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен, — но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит. Надеюсь для них на милость царскую». — «С нетерпением ожидаю решения участи нещастных и обнародования заговора, — так обращался и к Дельвигу. — Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира». Письмо это шло также уже не по оказии.

Так он и жил, не предпринимая пока ничего. В феврале Прасковья Александровна увезла Анну в Малинники. Пушкину в эту зиму было совсем не до ухаживаний за девицами, хотя бы и выражавшихся всего лишь в легком поддразнивании. Анна особенно нервничала и то хотела уехать одна, то поджидала, не приедет ли Нетти за ней. Однако же, когда мать собиралась отъезжать, ей стало так горько, что даже и Пушкин ее пожалел. Он проводил их обеих до Пскова и на прощанье был с Анной так нежен и мил, как только один он умел. Но уже па обратной дороге едва ль он ее вспоминал, а письма, которые она теперь ему присылала, то негодуя на мать («Я, право, думаю, как и Анна Керн, что она одна хочет одержать над вами победу и что она из ревности оставляет меня здесь»), то вспоминая счастливые для нее самой псковские дни («Сегодня она подсмеивалась над нашим прощаньем во Пскове, находя его чересчур нежным»), то упрекая его в равнодушии, — все эти длинные излияния чувств его не трогали вовсе. Разве лишь изредка он улыбался, читая, как бедная Анна описывала ему тамошние свои успехи у мужчин: как один из ее обожателей схватил ее за руку и хотел поцеловать («О, этот превосходит даже и вас…»).

Все это было, быть может, даже жестоко, но в области чувства был Пушкин правдив до конца и Анну, так его ждавшую, так ему отдававшую сердце и думы, мечты, — так и оставил и без любви, и без настоящих стихов.

Пушкин сидел, подпершись локтем, как сиживал, бывало, в Лицее. На сей раз он думал всецело о своих личных делах. Он пережил свое бурное чувство к Анне Петровне, отрезав его как ножом. Его сближение с Оленькой давало ему забвенье, покой.

Но вот утром сегодня она встретила его в коридоре и, проходя, опустила глаза. Он тронул ее за плечо, она опустила и голову. Тогда он ладонью отогнул ее лоб, и она уже не стала больше таиться. Однако ж и выговорить то, что хотела б сказать, было трудно. За нее говорили глаза, и Пушкин, как ни далек он был от той мысли, сразу ее прочитал:

— Неужели… ждешь ты ребенка?

Она кивнула ресницами и продолжала глядеть с той неотступною преданностью, которая была ему так знакома и досель никогда не была тяжела. Да и сейчас глазами она ни о чем не спрашивала и ничего не требовала от него. Но у него внутри все перевернулось. Чем мог он ответить на первые эти ощущения матери? Мог ли он ответить естественным чувством отца? И почему никогда он не думал даже о самой возможности этого? Ему стало трудно выносить этот прямой ее взгляд, он положил руки ей на плечи, привлек к себе и поцеловал в голову. Он едва смог вымолвить несколько слов:

— Ну, что ж… ничего. Увидим… Не беспокойся.

Слова были бедны, чувства в душе — смутны и нелегки. Радости не было, волнения отца не было тоже, была лишь одна озабоченность.

Он озирал теперь мысленно весь свой роман, столь не похожий на другие его романы. Не было с его стороны ни борьбы, ни домогательств, не встречал ни в чем он отказа, не было страстных порывов к недосягаемому, ни упоения на каждом новом этапе сближения. Разве испытывал он муки отчаяния, или томленья разуверения, или… ревность? Нет, ничего этого не было, и все произошло как бы само собою, бездумно, естественно, и продолжалось спокойно и ровно и, казалось бы, прочно.

Пушкин не раз думал и о разлуке, но эти мысли его были поверхностны: как он будет ее вспоминать и как тяжело будет ей расставаться. Так же мало думала, верно, и Оленька, и ни в чем не перечила няня: для нее это все тоже было как бы в порядке вещей.

Но как круто все изменилось! Теперь возникала ответственность и… тысяча всяческих неудобств. Даже и это мелкое слово возникало в его голове. Что, например, скажут в Тригорском? У него даже, в сущности, не было угла на земле, где он был бы хозяином: он жил у родителей. Даже негласной семьи он не мог бы иметь. Так что же теперь?..

До сей поры в жизни его так еще не бывало. Была беспорядочность в юности, но легкая и ни к чему не обязывающая; были романы со светскими дамами, но все это было не то. И больнее всего была эта ее безответность, покорность, слепое доверие. От него не требовали ничего, но разве же это исход?

И Пушкин вставал и разминал занемевшие ноги и снова садился; думы не покидали его. Он перечитывал «Фауста», и перед ним возникал образ Гретхен с ребенком. Но, давая в самом сжатом виде суть чужого творения, как это часто любил, он не дал ее самое — молодую злосчастную мать, — в то же время насытив именно ее болью свою Сцену из «Фауста». Он ничего не стремился приукрашивать «сочетаньем двух душ» и обнажал для себя страшнее тайны. Так он хотел быть правдивым с собой до конца.

«Презирать суд людей нетрудно; презирать суд собственный невозможно». Так только сейчас, когда отношения их с неизбежностью прерывались, увидел он все это со стороны.

Он никого не хотел учить и ничего никому проповедовать, но сам от суда над собою не убегал. Он никуда его не выносил, доверяя одним лишь стихам, и ни перед кем не каялся. Это было бы, может быть, легче, но это не лежало в натуре его. Он выражал горячее свое убеждение, когда один раз писал Вяземскому по поводу уничтоженных записок Байрона: «Толпа жадно читает исповеди, записки и т. п., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении.

Он мал, как мы, он мерзок, кап мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе!»

Ужель он вступил на следы жившего именно здесь деда своего Осипа Абрамовича Ганнибала? Проклятые предки! Но Пушкин умел по-своему с ними справляться. Замкнувшись в себе и недоступный ни для единого стороннего ока, он принимал сам от себя редкую казнь, но умел и пребыть не подавленным ею. Не острая боль эта заливала собою все его бытие, а наоборот: оно покрывало ее и включало в себя, как составную и неизбежную часть. Так события шли и развивались своей чередой. Пушкин готов был к тому, чтобы так иль иначе держать ответ за себя и за ребенка.

Однако же все сложилось не так. Михаила Калашников, утвердившись в Болдине, просил у старого барина разрешения вывезти к себе и семью. Разрешение последовало. Сергей Львович, до которого дошли первые неясные слухи, не без удовольствия отписал Михаиле, чтоб взял всю семью: пусть едет и Оленька! Для Пушкина это было, конечно, житейски большим облегчением, благопристойной развязкой, но настоящего душевного облегчения это не приносило и не могло принести.

Михаила Калашников ждал всех в Москве, и дочь должна была вот-вот выехать к нему. Пушкин тогда написал письмо Вяземскому, которое передаст сама Оля Калашникова, — с просьбой позаботиться о будущем малютке. Так он попытался взглянуть на все это дело «взглядом Шекспира»; «Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, — а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи)». Однако же ни «Шекспира» не выходило, ни юмор не удавался. Все эти и подобные им выражения и весь тон письма, легкомысленно грубый и нарочитый, — тем более был таковым, чем глубже закапывал он в себя свою боль: «Милый мой, мне совестно, ей-богу, — но тут уж не до совести».

Прощанье с Оленькой вышло коротким, но все же не легким. Няня оставила их наедине. У Пушкина вовсе не было слов. Даже девушка, казалось, была бодрее его. Она все понимала и ни о чем не просила: ее, крепостную, барин любил, и вот она уезжала к отцу. Но именно эта покорность ее, и обреченность, и полная невозможность никакого другого «иначе» томили его, и когда Оленька к нему подошла, чтобы проститься, и лишь в эту минуту, припав к нему, зарыдала, — как страстно ему вдруг захотелось все перевернуть и все заново поставить на место!

Но вместо того он вручил ей письмо и, целуя, напутствовал, чтобы не скучала… не забывала… была весела и здорова…

Это было уж в мае. А еще до того, под сердитую руку, злой на весь мир, беспощадный к себе и другим, он написал последнюю отповедь Льву, с которым незадолго до того попробовал было обойтись по-родственному под давлением общих приятелей, которые за Левушку усердно постанывали. До Пушкина дошел слух, что любезный братец позволил себе вольно болтать как раз про Олю Калашникову: что, дескать, брат Александр с предметом своей деревенской любви обращается уже не стихами, а практической прозой. И Пушкин со Львом не постеснялся…

Было такое — широкое и строгое желание: очистить себя от всей шелухи, от ненужного, чтобы стало просторней вокруг и ясней. Это касалось его отношений и с Анной и с братом. Противоречивую сложность, возникшую в его отношениях с Оленькой, за него развязала судьба.

Теперь Пушкин раздумывал о царе: надобно было предпринимать что-нибудь решительное. По совету Плетнева еще в марте Жуковскому было написано такое письмо, чтобы его можно было показать самому государю. Пушкин ясно представил себе друга —

Плетнева, получив от него этот совет. Он почти слышал мягкие его, с придыханием, интонации, как если бы тот не писал, а говорил о Жуковском: «После этого письма он скоро надеется с тобою свидеться в его квартире». Пушкин исполнил совет, но, однако ж, писал: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».

Жуковскому этого, естественно, показалось мало, и он письмом не воспользовался. Он даже делал вид, что и не думал Плетневу давать такой мысли: «Я никак не умею изъяснить, для чего ты написал ко мне последнее письмо свое. Если оно только ко мне, то оно странно. Если ж для того, чтобы его показать, то безрассудно. Ты ни в чем не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством», — и дальше шли обычные наставления о «добром Гении» и о «злом Гении».

Пушкин только пожал плечами: там, в Петербурге, видно, все быстро менялось. Важней был вопрос о стихах у арестованных, но, впрочем, и это для Пушкина не было новостью. Он знал от Плетнева также и то, что даже его книга стихов, разошедшаяся в один месяц, вызвала, кажется, неудовольствие. «Ты говоришь, мой милый, что некоторых пиес уже цензор не пропустит; каких же? А. Шенье? Итак, погодим с новым изданием, время не уйдет, все перемелется — будет мука». — «…скажи: разве были какие-нибудь неудовольствия по случаю моих Стихов? Или это одни твои предположения?» Прилагая при этом то самое письмо к Жуковскому, которое Плетнев же и рекомендовал ему написать, — письмо «в треугольной шляпе и башмаках», — Пушкин добавлял, однако: «Впрочем, держусь стоической пословицы: не радуйся, нашед, не плачь, потеряв».

Получив же ответ от Жуковского больше нежели сдержанный («…не просись в Петербург. Еще не время»), Пушкин, однако, решил, что самое время проситься, и написал Николаю. Жуковский был болен и уезжал лечиться в Карлсбад; был болен и Карамзин, которому так и не послал своего «Годунова», да также и он отбывал за границу; подумал — и сделал все сам, не прибегая к друзьям. Он просил позволения ехать лечиться «или в Москву, или в Петербург, или в чужие края», а оговорку об «образе мыслей», который он оставлял про себя, он теперь сделал туманней и осторожнее, но все ж помянул, что обращается «с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку», то есть вслух не высказывать их.

Однако же письма этого сразу он не послал. Не так-то легко было решиться. Все тот же вопрос сидел в его голове, какой он задавал еще в марте Плетневу: «Вопрос: невинен я или нет? Но в обоих случаях давно бы надлежало мне быть в П. В.». Невинен — так надо вернуть, виновен — привлечь его к делу, допрашивать! Но — «вот каково быть верноподданным! Забудут и квит». — «Мне не до Онегина. Черт возьми Онегина! Я сам хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите!»

Это не значило, впрочем, что Пушкин за это время как- то совсем ушел от литературы. Он находил время интересоваться даже стихами своего «почти однофамильца», крестьянского поэта Слепушкина, которому Академия присудила награды. Кстати — и император с императрицей пожаловали его подарками. По поводу этого чествования он шутливо Плетневу писал: «Что это в самом деле? Стыдное дело. «Сле-Пушкину» дают и кафтаны, и часы, и полумедаль, а Пушкину полному шиш. Так и быть: отказываюсь от фрака, штанов и даже от академического четвертака (что мне следует); но крайней мере, пускай позволят мне бросить проклятое Михайловское».

Да, Пушкин уже насиделся в деревне, и хотелось ему не только свободы передвижения, но и простора для высказывания накопившихся мыслей о литературе как раз для критики,

для журнальных стычек. Еще в феврале писал он Катенину о задуманном им альманахе: «Вместо альманаха не затеять ли нам журнала… Голос истинной критики необходим у нас…» И выговаривал Вяземскому: «Жаль мне, что с Катениным ты никак не ладишь. А для журнала — он находка». Эти мечты о журнале не оставляли его.

Он уже знал о болезни Карамзина. «Карамзин болен! — писал он Плетневу. — Милый мой, это хуже многого. Ради бога, успокой меня, не то мне страшно вдвое будет распечатывать газеты». И позже Вяземскому: «Грустно мне, что не прощусь с Карамзиными. Бог знает, свидимся ли когда-нибудь». Карамзин все готовился к отъезду, но так и не успел уехать. Пушкин не видел его с самого своего отъезда из Петербурга на юг. Он помнил, чем был обязан Карамзину. Работая над «Борисом», он научился в полную меру ценить его «Историю Государства Российского». Петру Андреевичу Вяземскому, на сестре которого Карамзин был женат, Пушкин писал уже после смерти историка:

«Читая в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти? Отечество вправе от тебя того требовать. Напиши нам его жизнь, это будет 13-й том Русской Истории; Карамзин принадлежит Истории».

Решив обратиться к царю непосредственно, Пушкин с друзьями все же советовался и в копии посылал им проект своего письма к Николаю. Известие о смерти Карамзина лишь осложняло его положение, и он порешил выжидать.

Шло уже лето, томительно знойное. Целыми неделями не показывалось облачка на небе. Ни ветра и ни дождя. Писать почти невозможно. Пушкин смертельно томился теперь без людей. Баратынский, с которым завязалась было у него переписка, не приезжал, а очень его хотелось бы видеть: от «Эды» его он был в восторге, и эта любовь к простой девушке особенно живо теперь и трогала и занимала.

Стих каждый в повести твоей Звучит и блещет, как червонец. Твоя чухоночка, ей-ей, Гречанок Байрона милей, А твой зоил прямой чухонец.

Языков сидел еще в Дерпте, ожидая денег, чтобы двинуться с места, а больше и ждать было некого… И Пушкин для развлечения и нащупывая почву у лекарей, чтобы дали ему наконец свидетельство об аневризме, часто наведывался во Псков, играя там в карты, покучивая.

Прасковья Александровна, сразу заметившая, как весною еще вернулась в Тригорское, что-то неладное в Пушкине, не знала, что делать.

— Что теперь пишете? — говорила она.

— Зимою — чернильница, а летом — песочница: так я всегда говорил про Одессу; но и у вас уж совсем невозможно с чернильницей летом общаться. Колодцы все высохли, не только чернила!

Из Петербурга — слухи невнятные. Следствие шло; следствие кончено; назначен и верховный уголовный суд. Какая же и здесь будет развязка?

А дни между тем шли и шли. Неспокойно становилось и в деревнях. Прасковья Александровна знала обычно все такие новости раньше других и настороженно следила за отдельными вспышками крестьянских волнений. За себя непосредственно она не боялась: ее отношения со своим «деревенским людом», как она выражалась, не заключали в себе ничего угрожающего. И тем не менее. «Если вспыхнет пожар, — говорила она, — огонь разбирать не станет: кого спалить, а кого обойти стороной».

Но если общего большого пожара не разгоралось, то отдельные костры полыхали с немалой силой. Уже с ранней весны, неподалеку от Михайловского, взбудоражили всех в деревнях «верные слухи», шедшие прямиком из столицы, — о том, что крестьянам вот-вот

дадут волю. Местные власти связывали эти ожидания с «происшествиями в Санкт-Петербурге в декабре месяце». Иван Матвеевич Рокотов с дрожью в голосе шептал наедине Прасковье Александровне, что мужики «совсем ошалели», что к самому «престолу» пошли ходоки «со злыми жалобами» на своих господ.

Осипова слушала своего собеседника как-то немного пренебрежительно. Чувство это рождалось в ней всякий раз — независимо от того, что именно он говорил: в самом звуке его голоса, трусливом и вкрадчивом, было что-то, как она про себя признавалась, «мизерное». Но этот же шепоток в другой раз начинал просто звенеть, как колокольчик, когда обстановка в деревне обертывалась энергичной «расправой с крамольниками». С Пушкиным этой волнующей темы Прасковья Александровна почти совсем не касалась. Она понимала, как он и без того переживает судьбу всего декабрьского восстания и близких людей, в нем принимавших участие, и не хотела добавочно его омрачать. Но вот однажды с нею он сам заговорил…

Весь этот день по небу бродили легкие тучки, но к вечеру они сгрудились и воздух слегка посвежел. Стоя у края террасы, Прасковья Александровна подставила лицо свое ветерку, чуть похолодавшему: ах, если б гроза! Дома почти никого, тишина, Пушкин не был два дня… И только подумала — тотчас его увидала.

Она хорошо знала этот короткий толчок внезапно всколыхнувшегося сердца и молодую ответную свежесть в душе, в крови, в невольной улыбке: она никогда и никому не призналась бы в этом! И, уж конечно, менее всех самому Пушкину… Но почему-то сегодня он шел несколько необычно, не торопясь и как-то слишком раздумчиво — то появляясь между деревьями, то ими как бы заслоняясь. Вот он нагнулся, поднял короткую сосновую ветку, поглядел на нее, немножко помедлил и круто, одним сильным рывком ее разломав, откинул в стороны обе ее половинки. Осипова не тронулась с места и ждала его молча.

— Ну вот и финал! — сказал Пушкин, подойдя к ней уже обычным шагом (который Прасковья Александровна сама про себя причудливо, но метко называла «просторным»). — Вот и финал, — повторил он с большой простотой и с такой редкою для него острою горечью.

— Сколько ни молчали мы с вами об этом, а все на свете имеет конец.

— Боже мой! Александр Сергеевич! Неужели узнали вы?.. Ну, и каков приговор? Не томите.

— Я не о них… О них я совсем ничего… ничего не слыхал.

Прасковья Александровна поняла, что Пушкин имел в виду не декабрьское восстание.

— Ну, тогда я догадываюсь. Я знаю о чем. Пойдемте ко мне… Вы устали.

Пушкин, однако, не сел и в гостиной. Молча походил он из угла в угол, потом остановился у печки. Печь была холодна, но сам постепенно как бы разогревался. Он рассказал о нечаянной встрече и о беседе своей с одним из вожаков восставших крестьян — как он увидел его у любимых своих трех сосен и как завязался у них разговор.

— Вижу: сидит и закусывает. Походная старая сумка. Разговорились. Да, ветеран славной войны. «Чего там — в лицо Наполеону? Я ему и в спину глядел. Это куда веселей!» Подумайте, как говорит!

— А теперь самому пришлось отступить, — подала голос Осипова.

— И я ему так-то, а он отвечает: «Время, знать, еще не пришло». Вы подумайте только, Прасковья Александровна, это — как голос истории: еще не пришло… это значит — придет! И такой он крепко сколоченный и широкоплечий; и рыжеват — отблеск огня, а борода — ив кольцах, и вьется, и просто всклокочена: «Не борода — поле битвы!» — так, верно, Вельтман сказал бы.

— Это, пожалуй, что-то вроде вашего Стеньки? Разина? Нет! Разин красавец и молодой; о Разине надо поэму, а этот… этот просится в прозу.

— Тогда Пугачев!

— Вы великая умница!

Прасковья Александровна, как девушка, вспыхнула. Но Пушкин серьезно подтвердил еще раз:

— Вот, не подумав, сказали о Стеньке, а как точно и крепко — о Пугачеве.

Что говорил ветеран, хозяйка Тригорского знала про то и сама. И как поднялись мужики — кто с вилами, кто с кольями, а кто и с дубиной; как заседатель с отрядом приехал — зачинщиков взять… Но она слушала и слушала горячую передачу событий из уст своего милого гостя:

— Заседатель… А ему говорят: «Бери всех, а одного кого — не дадим!»

Пушкина это особенно восхищало.

— Были пожары и рукопашные схватки, — не удержалась, добавила Осипова.

— Да, у него самого — выше локтя, он показал: сожжено. Но уцелел, убежал. А ведь трое сгорели живыми!

— И здесь будет суд, — сказала Прасковья Александровна, мысленно снова переносясь к участникам декабрьского восстания, — а там чего ждать?

Понял, почувствовал это и Пушкин. Да, это было восстание на фоне другого восстания. Там была неудача — и здесь неудача. Движенье одно — и движенье другое; почему ж они порознь? А если б не порознь…

Эти короткие мысли были подобны таким же коротеньким молниям: вот-вот грянет и гром…

— Поглядите, — сказала вдруг Осипова. — Неужели же наконец это гроза? — И она откинула штору.

Оба теперь вместе глядели. Нет, не гроза. Это па западе меж сгустившихся тучек мерцали всего лишь зарницы. Нет, нет: это пока еще не гроза!

Пушкин шел по берегу Сороти. Даже вода млела и выцветала под солнцем. Слева увидел он верхового, который его уже миновал: не к нему ли? Не новости ль? А впрочем, так он скорее узнает, сам дойдя до Тригорского!

Верховой был с запиской, конечно, к нему, а новость узнал, даже и не доходя до дома. Еще издали он различил, как махал ему с берега Вульф, сбегавший купаться. С ним был и кто-то еще, незнакомый. Пушкин прибавил шагу. Небольшой, коренастый, с простым чистым и круглым лицом, чуть-чуть сутулясь, крепко стоял молодой человек, уже расстегнувши сюртук. Лицо его было серьезно, и брови слегка налегли на глаза. Казалось, что он как вошел несколько в землю, так никогда и не сойдет. Но он же вдруг побежал, слегка вперевалку и неловко махая руками, навстречу. Пушкин воскликнул:

— Языков?

— Пушкин!

Они обнялись, еще не знакомые, но дружные сразу.

— Давно ли?

— Сейчас. Будем купаться?

— Прекрасно!

Пушкин был рад. Больше того: он счастлив был видеть поэта! Этот недавний свой разговор с Прасковьей Александровной, так его взволновавший, да и просто жара, когда нечем дышать, — все это надобно было переломить, ото всего отдохнуть.

Пушкин смеялся, болтал и приглядывался. Это не был товарищ ни по детству, ни по Лицею. В нем было все ново и как-то свежо резало глаз. Языков был странно неповоротлив и страстно стремителен. Кажется, сей молодой человек не промолвит и слова, и вдруг как ножом режет воздух — быстро и вольно; и опять замолчал.

Языков поглядывал тоже. Он вырастал как поэт совсем из другого угла. Кондовая Русь, крепко сидевшая в нем, не хотела сдаваться и уходить ни из мыслей его, ни из крови, омывавшей неповоротливо дремное сильное тело. Но если огонь вырывался, то он бушевал в нем с невиданной силой, с обжигающим свистом. Он не выбирал и не взвешивал слов и выражений, он как бы заново их вырезал по свежему месту. Буйные волосы на голове были обильны, и кудлатую свою шевелюру с размаху захватывал он полною горстью. Он долго из Дерпта ежился и огрызался в письмах на Пушкина, чувствуя его превосходящую силу. Этим оберегал он себя, свою самобытность. Он был подобен зверьку с мертвым его распластанным сном и дикими прыжками на воде: он не хотел приручения, и он не терпел никакого над собою господства.

Но Пушкин, однако же, его покорил; сразу, тотчас. И покорил больше всего именно тем, что совсем не хотел покорять. Пушкин любил людей не под собою, а рядом с собой, и страстно ценил всяческую их своеобычность. Языков глядел, все еще принасупив глаза, как рядом ныряло смуглое тело, и думал: вот Пушкин! И видел блестевшие белые зубы и мокрую голову, залитую светом, и как падали в реку капли воды с его бакенбард. А Пушкин смеялся и говорил, и мысли его не одевались в одежды учености или парадного глубокомыслия, они выражались с такою же ясною простотой, каков сейчас был он и сам: да, это Пушкин — простой и гениальный.

Так первая же встреча их предопределила собою эти жаркие языковские дни в Тригорском и в Михайловском. Они пировали — вином и стихами, весельем.

Все было так или почти так, как предсказывал Пушкин, когда еще два года назад писал стихотворное послание Вульфу, приглашая его приехать вместе с Языковым. Зизи до сих пор это твердила:

Дни любви посвящены, Ночью царствуют стаканы; Мы же — то смертельно пьяны, То мертвецки влюблены.

Пушкин сам это чувствовал, как удалось ему передать ощущение хмеля, когда даже наречия в двух последних строках, как бы сами, в подпитии, перепутали те места, где им быть полагалось.

Языков тригорскою жизнью был очарован. Вернувшись в Дерпт, он писал матери об этих днях, проведенных на берегах Сороти: «…жизнь или, лучше скажу, обхождение совершенно вольное и беззаботное, потом деревенская прелесть природы, наконец сладости и сласти искусственные, как-то: варенья, вина и проч. — все это вместе составляет нечто очень хорошее, почтенное, прекрасное, восхитительное; одним словом — житье!» Языков охотно и много читал; тригорские девушки слушали стихи его — как если бы пили вино.

Днем обычно царили лень и жара. И, пока не появлялся Пушкин, ничего не предпринимали; книга валилась из рук, купанье освежало на полчаса. Но стоило ему появиться, и жизнь полно вскипала опять. Это прибытие Пушкина позже Языков сам описал:

И часто вижу я во сне: И три горы, и дом красивый, И светлой Сороти извивы Златого месяца в огне. И там, у берега, тень ивы, И те отлогости, те нивы, Из-за которых, вдалеке, На вороном аргамаке, Заморской шляпою покрытый, Спеша в Тригорское, один — Вольтер, и Гете, и Расин — Являлся Пушкин знаменитый.

Именно так он и являлся: загорелый, простой, овеянный ветром. И тогда шли гулять, играли в серсо на площадке, имевшей название «солнечных часов» (двенадцать дубков,

ровесники Пушкина, рассажены были по кругу), пили чай вечером у пруда, под «дубом у лукоморья», как прозвала его сама Осипова.

Однажды заехали бродячие цыгане с небольшой обезьяной, играли и пели. Пушкин им радовался, а когда их одарили и они удалились, он засмеялся и похлопал в ладоши:

— То-то было веселье! Да и с родственничком повидался! — и принялся уморительно изображать мартышку.

А вечером Машенька вырезала из картона обезьянку и дергала ее за ниточку. Обезьянка плясала, плясала и тень на стене. Мать была смущена, да и Пушкин сначала нахмурился, но потом рассмеялся:

— Что ты с ней сделаешь? Юна, как апрель.

Вульф от компании не отставал: пить он был мастер, но все ревновал к Пушкину — не Алину, не Керн, а уж Языкова. Ему было несколько странно и неприятно, как и застенчивый и угловатый приятель его, столько ворчавший на Пушкина в Дерпте, душою ему предался. Порою посещала студента особая подозрительность и по отношению к матери. Он как-то видел, как возвратились они с прогулки вдвоем… и мать была весела и раскраснелась… Из этого возникла острая сцена.

Вульф упражнялся в стрельбе из пистолета. Пушкин тотчас же к нему присоединился. Это было любимым его развлечением.

Вдруг Вульф спросил, осторожно, но и явно не просто:

— А где это вы гуляли… вдвоем?

Пушкин почувствовал тон этой фразы и ответил несдержанно:

— А вам, сударь, это зачем?

— То есть как так: зачем? Она же мне мать?

— Так не следует мать оскорблять. А ежели вы что по-до-эре-ва-е-те, тогда ни о чем и не спрашивают, а честно дерутся на пистолетах. — И он всадил пулю в самую середину звезды, нарисованной на воротах.

Вульф побледнел, но смолчал. Вечером выпили они на мировую, но обида на Пушкина осталась у Вульфа надолго, если не навсегда. Не столько не мог он забыть своих подозрений, сколько того, что вынужден был отступить. Впрочем, к рассвету все трое на покой отправились в баню.

Случалось, пирушки происходили и в самом Михайловском. Няня с утра хлопотала, присматривая на кухне за готовкой обеда, уставляя стол водками и вином.

Ганнибаловский дом заметно ветшал, обои во многих местах были ободраны, голые стены выглядывали, ничем не прикрытые, порой невозбранно шуршал быстрый прусак. По ночам бойко скреблись мыши, и пол был прогрызен в углах.

Но все покрывалось домашним теплом и радушием Арины Родионовны. Она сначала стеснялась, но Пушкин брал ее за плечи и сажал рядом с собою.

— Экой ты неуимчивый! — говорила она, но недолго чинилась. Постепенно их пиршество разгоралось боле и боле. И няня от молодежи не отставала.

— Да что ж, — говорила она, — пью не пью, а от рюмочки не отвертываюсь.

Эта ее приговорка очень полюбилась Языкову, и вообще они подружились. Она его вдохновляла: Мы пировалп. Не дичилась Ты нашей доли — и порой К своей весне переносилась Разгоряченною мечтой: Любила слушать наши хоры, Живые звуки чуждых стран, Речей напоры и отпоры И звон стакана об стакан. Но это было не часто. Жизнь в основном протекала в Тригорском.

В Тригорском теперь не было Анны, и без нее Евпраксия, выросшая, похорошевшая, расцветала у всех на глазах. Прасковья Александровна думала кое-когда и об Алине, но…

странный народ эти поэты: ужели они горячи только в стихах? Так и Языков никак не подошел на роль жениха. Да если правду сказать, то и он увлекался больше Зизи. Нет, не Алина, а именно эта — вчера еще девочка — своевольной рукой разрывала стихи, ей посвященные, и председательствовала на вечерних пирах. Она разливала серебряной ложкою жженку и вдруг восклицала:

— Слушайте: Пушкин читает! Пушкин, мы слушаем! Я хочу слушать прошлогоднюю вашу Вакхову песнь!

Он и не думал читать, но, поправив заглавие, послушно читал и вдруг разгорался:

Да здравствуют нежные девы И юные жены, любившие нас! Подымем стаканы, содвинем их разом! Да здравствуют музы, да здравствует разум! Ты, солнце святое, гори! Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари, Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма!

И в комнате глубокая тишина. Все окна распахнуты настежь, теплая ночь едва дрогнула ранним рассветом. Евпраксия так и осталась, застыв с отведенной серебряной ложкой, не замечая, как медленно, сгустившись, созрев, упадает за каплею капля на чистую скатерть. Не замечает этого и Прасковья Александровна — мать и хозяйка. Да и при чем тут хозяйка и мать! Разве в эти минуты не молода и она? Разве в ней умерли чувства? Горячие слезы, которым не дано воли, и умиленье, восторг — немой и потрясающий. Хозяйка? Да к черту хозяйство! Жизнь… о горячая жизнь, как ты коротка!

И вдруг тишина прерывается звуком — странным, скрипучим, как удушье совы. Языков сидит, откинувшись в кресле, из раскрытого рта вылетает, свистя, это дыханье яростного восторга, переходящего в хрип. Но вот он вскакивает, ловит рукою воздух, неизвестно зачем, точно и самый воздух насыщен еще звуками Пушкина, и, кидаясь к нему, обнимает поэта. Стаканы звенят, летняя ночь коротка, жизнь коротка!

Так иногда возникало для Пушкина и подлинное забвение; его увлекала горячая безудержность Языкова. Но стоило остаться одному, как привычные за последнее время невеселые мысли снова начинали его одолевать. Были и хлопоты.

Он уже передал Адеркасу свое прошение новому царю и приложил подписку о непринадлежности к тайным обществам. Но вскоре выяснилось, что необходимо и свидетельство о болезни. Совсем незадолго до отъезда Языкова он получил наконец и это свидетельство. Гербовый лист стоил всего три рубля, но «благодарности» — значительно больше. Как бы то ни было, но оказалось, «что он действительно имеет на нижних оконечностях, а в особенности на правой голени повсеместное расширение кровевозвратных жил… отчего Г. Коллежский Секретарь Пушкин затруднен в движении вообще».

Пушкин, прочтя это свидетельство до конца, усмехнулся: «И точно, я затруднен в движении вообще/» Это и был тот самый его «аневризм», про который Плетнев, как жив еще был Карамзин, выражался со знанием дела: «Больше всего прошу тебя не забывать Карамзина и Жуковского. Они очень могут тебе быть полезными при твоем аневризме. С такой болезнию шутить не надобно». И думал еще словами недавнего письма своего, обращенного к Вяземскому: «Если бы я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру».

Как бы то ни было, только теперь прошение это, которое он уже было считал отправленным, отослано наконец к маркизу Паулуччи. Опять, как и перед высылкой из Одессы, заскрипят отборные гусиные перья, и подпись начальников снова будет ложиться, как акт священнодействия и угодливо тут же присыпаться песком; и опять почтовые сумки и ямщики, и станционные смотрители… Круг замыкался.

Последние дни перед отъездом Языкова в Дерпт летели особенно быстро.

— Лето, а будто как в санках под горку… — говаривал он, смеясь и показывая свои ровные белые зубы.

— Глядите не вывалитесь! — в ответ восклицала Зизи, и общая беседа шла опять как сплошные «шутки-смехи»: выражение, слышанное Языковым в родной его деревне и которое всем очень нравилось.

Но нередко разговоры друзей, особенно, когда они оставались одни, принимали совсем иной характер. Почти всякий день приплывала какая-нибудь новая весточка о крестьянских волнениях: «мужицкое море», как выражалась Прасковья Александровна, глухо, но ощутимо шумело не так-то уж далеко за линией горизонта. Еще более остро воспринимались все слухи, доходившие из Петербурга, о возможной судьбе участников четырнадцатого декабря. Здесь и сама хозяйка Тригорского почти теряла порою так свойственное ей самообладание.

Эта больная тема — из доверительных немногословных дружеских фраз как бы переплеснулась однажды на общее и горячее обсуждение. До отъезда Языкова оставалось всего лишь три-четыре дня, и он с особенной живостью выдумывал разные шутливые тосты. Но в этот раз, сидя за завтраком, был он молчалив и даже как-то насупился.

— А вот сейчас и заговорит! — с легкой ужимочкой, сама для себя, шепнула Зизи, заметив, что его загорелые пальцы потянулись к тонкой ножке бокала.

Мать строго на нее поглядела. И Пушкин, как бы почувствовав что-то особенное, также серьезно взглянул на поэта-приятеля. Языков поднялся и, не поднимая глаз, негромко сказал, протянув свою руку по направлению к Прасковье Александровне:

— За родного и близкого вам — Сергея Ивановича Муравьева-Апостола!

У Прасковьи Александровны дрогнули ресницы. Она пошевелила губами, но ничего сказать не смогла. Все в молчании чокнулись. Опустившись на кресло, Осипова с места поблагодарила гостя-поэта, и понемногу вновь разговор завязался. Говорили и о других друзьях и знакомых. Пушкин вспоминал о Пущине и Кюхельбекере. Видимо, тоже он взволновался, особенно как помянул и о Пестеле, о тульчинском своем с ним разговоре. Все его слушали очень внимательно. На подобные разговоры не был он щедр.

— Павел Иванович Пестель так мне сказал: «Важно, кто станет у власти и будет осуществлять новый порядок».

— Вот тебе и стали у власти… — с горестною усмешкой заметил Языков.

Пушкин на реплику эту никак не отозвался, замолк. У него с новою силой вспыхнула основная его мысль, отчетливо зародившаяся именно во время его беседы с Пестелем — мысль о народе: а как же… как же сам-то народ? Неужели же эта попытка декабрьского переворота была напрасной попыткой? Ужели же время просто затянет ее и о ней позабудут? Нет, нет, это совсем невозможно! И они не должны так считать…

— Вы не должны так считать! — сказал он внезапно и поднялся со стула.

Вздрогнул Языков и повернулся к нему. Зизи даже схватила за руку мать и, ни слова не говоря, сжала ее изо всей силы. Мать не остановила ее и не отвела дочерней руки: она все понимала. Взгляд Пушкина был устремлен куда-то «поверх», точно глянул поэт уже в будущее.

— Все это друзья, братья, товарищи. Все мы их любим, и все они могут погибнуть, все могут подвергнуться жестокой каре царя. Но что бы с ними ни сталось, мы их никогда не забудем… Не правда ли?

— Нет, никогда! — горячо прошептала Осипова.

— А что до народа, то и народ не забудет своих декабристов!

Что-то еще хотела сказать Прасковья Александровна, с места вскочила Зизи, но Языков никому не дал и рта раскрыть.

— Как ты сказал: декабристов! Ах, Пушкин, слово какое!

— Да, так сказалось…

Языков с шумом отодвинул свой стул.

— Так «сказалось»!.. А я сидеть не могу… и вот встал, а опять же шатает! Ты знаешь, Пушкин, ты… ты северный наш гений! Мне плакать хочется… И как? Слезами радости плакать!

Пушкин на этот бурный порыв в ответ опять ничего не сказал. Он только подумал: «Языков! Да не шуми ты так… О, как здесь еще много — над чем размышлять и размышлять…»

Языков уехал, и Пушкин опять остался один. Ему было грустно. Он полюбил этого человека, в котором бродила еще жаркая юность. И сам он дышал эти недели, перебивая и боль и тоску, — полетом бесед, столкновением споров, сладостью дружбы. На столе еще не убраны были бокалы от последней пирушки. Один из них был особенный: его обновил в этот вечер Языков. И несколько лирических строк легло на бумагу. Пушкин задумался и, как всегда, сидел неподвижно, забывая о времени. Он по Языкову видел, насколько он старше его, да и себя, каким был. Годы сменяли один другой неумолимо, и жизнь проходила. В чем его жизнь? Любовь и политика? Книги? Иль близость друзей?.. Он поглядел на тетрадь и, не закрывая страницы, пальцем провел по обрезу, приподымая листы один за другим; со слабым шуршанием они упадали пред ним. И эта тетрадь, и другие, и все, что писал, — не это ли есть подлинно жизнь?

Он поднялся и уже отошел, чтобы лечь. Но, полураздевшись, вернулся к столу. Страница исписана. Он ее перевернул и на обороте, наискось, бегло бросил два слова:

— Тут жизнь.

Да, тут была его жизнь, но шумела она и вовне. В тот самый день 24 июля, когда маркиз Паулуччи получил рапорт псковского губернатора Адеркаса вместе с прошением Пушкина на высочайшее имя, — сам Пушкин в Тригорском развертывал свежеполученный номер «Северной пчелы». За последнее время полевые работы мешали поездкам в столицу, и новости к ним приходили лишь через газеты. И вот глаза его пали на манифест Николая: «преступники восприяли достойную их казнь». «Отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди его таившейся». «Приговор Верховного Уголовного Суда, состоявшийся 11-го сего месяца о пятерых государственных преступниках, коих оным решено повесить, исполнен сего Июля 13-го дня поутру в 5-м часу, всенародно, на валу кронверка Санкт-Петербургской крепости».

— Прасковья… Прасковья Александровна…— И он ничего не мог более выговорить, лист выпал из рук.

Прасковья Александровна тотчас подбежала, а через минуту рыдала уже, упав на диван: Сергей Иванович Муравьев-Апостол, за здоровье которого пили еще так недавно, в числе пятерых был повешен. Она откинулась на спинку дивана, прижав руки к глазам, но слезы сочились и между пальцами. Пушкин не видел ее и ничего не видел вокруг. Он большими шагами ходил от угла к углу, как зверь, которого захлопнули в клетке.

Так наступила и эта развязка, томившая ожиданием несколько месяцев. И какая развязка! Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол, Каховский, Бестужев-Рюмин: всех пятерых он знавал! А Пущин? — Смертная казнь и — по смягченью — Сибирь! Кюхельбекер? — Сибирь! И сколько еще: и Александр Бестужев, и муж Марии Раевской — Волконский, и Якубович, Якушкин и много, много других!

Первый его пароксизм быстро прошел. Но все ж он собою плохо владел. Он не ждал приговора такого сурового: пятеро были повешены, но скольких схватили за горло, да и только ли этих, не всех ли, кто мыслил и говорил — по своему разумению — на благо страны?

Какая-то новая мысль его обожгла. И быстрым движением он переплел и заломил горячие пальцы: а сам он… сам — отослал… — прошение — императору!

Глава двадцатая

«ПРОРОК»

На другом конце России на следующий день, 25-го числа, в том самом Аккермане, где некогда Пушкин беседовал ночью с тенью Овидия, граф Воронцов сидел в своем кабинете и изволил писать Лонгинову:

«Отъезд мой сюда помешал мне отвечать, любезнейший Николай Михайлович, на письмо ваше от 13 числа, коим уведомляете меня о совершившейся казни над преступниками. Нельзя было меньше сделать, и, конечно, те пять из оных, кои жизнию заплатили за ужасные свои намерения и опасность, которой подвергали всю Империю, более всех сего заслуживают. Во всякой другой земле более пяти были бы казнимы смертью. У нас, по странному предрассудку, смертная казнь, формально объявленная, всех пугает и кажется жестокою, тогда, когда беспрестанно на деле секут до смерти кнутом и гонят, также до смерти, сквозь строй; и никто об этом не говорит: умереть же таким образом в тысячу раз хуже, нежели быть повешенным. Впрочем, предрассудок сей в сем случае делает пользу; казнь пяти злодеев, не только совершенно заслуженная, но, можно сказать, не в пропорции с их преступлениями, имеет большое действие на умы, и тем самым цели суда совершенно достигаются!»

«P. S. За исполнение моей просьбы, в рассуждении статуи молошницы, приношу вам покорнейшую благодарность. Оная послужит новым украшением Александрийского сада».

Пушкин напрасно, сидя в Михайловском, думал, что он был оставлен в покое. Он ошибался: его не забыли. В эти же самые дни в Псковской губернии появилось лицо, прибывшее именно ради него и им лишь одним заинтересованное. Это был «любитель-ботаник» и отчасти даже писатель, очень воспитанный дворянин лет сорока — Александр Карлович Бошняк. Служил он в той самой Коллегии иностранных дел, при которой и Пушкин состоял в свое время. Впрочем, с ним вместе прибыл сюда и фельдъегерь — на случай надобности; он остановился и поджидал на соседней почтовой станции.

Тележка самого ботаника разъезжала меж тем в округе Михайловского по окрестным помещикам, коих он в разговорах выспрашивал, будто бы между прочим, про сочинителя Пушкина. Бошняк не впервые выполнял подобные поручения. Он был уже заслуженным секретным агентом у начальника херсонских военных поселений графа Витта и, без особого шума, как человек отлично воспитанный, проник в свое время в члены Южного тайного общества, где многих и предал. Ему доверяли, и отзыв его имел окончательный вес: так тому и быть, как скажет «ботаник»! Он послан был «для возможно тайного и обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению к вольности крестьян», и «в сочинении и пении возмутительных песен».

Александр Карлович Бошняк был человек аккуратный. Каждый раз, выудив какое-либо сведение, он вынимал из футляра очки и все заносил в записную свою книжечку: «Яд, разлитый его сочинениями, показывает, сколь человек, при удобном случае, мог быть опасен», «Пушкин говорун, часто возводящий на себя небылицы», «…так болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его присвоить». — И все в этом роде.

— Ну, а с крестьянами как?

— Возмутительно! — восклицал уездный судья.

— А все же именно как?

— Сам видел: здоровался за руку!

Смотритель по винной части был возмущен «недержанием монеты», как живописно он выразился.

— Ну, посудите: лошадь напоят, поводят, а он сейчас же — монету! Или же ягод ему поднесут… девчонки, подумайте, маленькие… и опять же — монету! Нет, развращает народ, и притом в самом, так сказать, корне.

«Яд, разливаемый водкой, не меньший есть яд, чем в сочинениях Пушкина», — про себя подумал Бошняк; но в книжечку это не внес. Предводитель дворянства был, со своей стороны, возмущен и железною палкою Пушкина, и пояском, и рубахой, и широкополою соломенной шляпой:

Это есть личное оскорбление каждому порядочному дворянину, и, не будь он опальный, ему надлежало б ответить за это на поле чести!

И все-таки даже и эти представители власти ничего не могли рассказать о «поступках, ко вреду государства устремленных». С другой стороны, сами крестьяне и содержатели постоялых дворов и гостиниц, как сговорившись, начисто отвергали всякую буйную деятельность Михайловского пустынника, относясь о нем только как о веселом и добром господине иль барине.

У Бошняка были, однако же, сведения, что главным источником слухов, докатившихся и до Петербурга, был местный помещик, бывший генерал-майор и былой член Союза благоденствия, Павел Сергеевич Пущин. Приезжий и по должности своей, и по свойственной образованному человеку любознательности многое знал и про многих людей. Так, подъезжая к усадьбе Павла Сергеевича в селе Жадрицах, припомнил он одну забавную историю, происшедшую еще в Кишиневе, где Павел Сергеевич был мастером масонской ложи «Овидий»; туда же был принят и Пушкин (Бошняк знал и это). Двор того дома, где была расположена ложа, выходил прямо на площадь, где всегда толпился народ и особенно много болгар. И вот они видят, что их архимандрита ведут через двор, с завязанными глазами, в подвал. Это был обряд посвящения в масоны, в сообщество которых он вздумал вступить. Но болгары кинулись выручать от разбойников своего архимандрита и устроили великий дебош. Павлу Сергеевичу вся эта история доставила изрядные неприятности… А уж как его Пушкин высмеивал! «Не с того ль и начнем разговор?» — улыбаясь, подумал Бошняк, но начал с другого.

— Граф Ланжерон Александр Федорович, бывший одесский генерал-губернатор-с, вас почитающий другом, шлет вам привет. Когда он узнал, что я еду в ваши края, он обязал меня видеть почтеннейшего Павла Сергеевича. Позвольте представиться…

Павел Сергеевич всегда был толст и неряшлив. В деревне совсем он опустился. Пил квас кувшинами и бил хлопушкою мух.

— Пушкин? — сказал он, когда разговор завязался. — Пушкин — отчаянный малый! Невежа. Даже ни разу не навестил.

— А вы разве с ним были знакомы? — с приятною вкрадчивостью спросил гость.

— Ну, зачем же знаком! Встречались, конечно. Но он ведь масон! А я ни в каких, знаете, тайных там обществах… Я, батюшка, чист, как слеза, а если за что и терпел, то разве по тайным доносам. Терпеть не могу этих доносчиков!

Бошняк улыбнулся.

- Доносы, доносчики… это лишь некрасивое слово, но государству необходимы же, так сказать, честные исследователи тайной действительности. Ведь важно уметь проникать в

корень вещей, а это наука, почти что ботаника. Я ведь, собственно, всего-навсего простой ботаник-любитель. Так что вы изволили говорить про сочинения Пушкина?

— Я говорил прежде всего о ложных доносах!— обиделся Павел Сергеевич, но вслед за тем сам начал нести про «сочинителя» явную чушь, опираясь в этом вранье на множество сплетен и слухов и прибавляя еще и от себя.

— Воспитанный гость ему не мешал, прерывая хозяина лишь краткими восклицаниями, вроде: «Вот как!», «Скажите на милость!», «Но это же просто чудовищно!» — и тому подобными. Только раз он спросил нечто определенное:

— А вы Висковатова не изволите знать, Степана Ивановича? Тоже пскович и тоже поэт, даже и драматург.

— Не ставьте его на одну доску с Пушкиным! Это же человек превосходный! Это ж доверенный мне человек! Да я тому три недели виделся с ним в Петербурге!

Тут мысли и настроения Александра Карловича Бошняка окончательно определились: он имел свое мнение о писателе Висковатове, также тайном агенте полиции, и у него были с ним свои счеты… Теперь ему приоткрывалось, откуда просачивались в Петербург преувеличенные, а то и начисто вымышленные слухи о Пушкине. И, сводя разговор поближе к прощанью, он ласково выговорил:

— Так вот, видите, любопытствую, какая ж у вас собственно флора?

— Флора какая?.. Да вот! — И Павел Сергеевич, стукнув ладонью о стол, придавил ею несколько мух, расположившихся у пятна от сладкого чая, потом он ладонь приблизил к глазам и закончил с некоторою даже задумчивостью: — Кажется, три. Вот вам и вся наша флора.

— «Ко всему он еще и невежда… и просто мужик!» — с возмущеньем подумал Бошняк, опрятный и чистенький. И он стал прощаться; по счастию, в мухах рука была левая.

Бошняк хорошо знал Висковатова и знал, как ненавидел тот Пушкина за насмешки его еще в Петербурге. Не жаловал его и сам Александр Карлович: Висковатов к нему всегда относился пренебрежительно и свысока, как «настоящий» писатель. «Подумаешь!»

Перед отъездом сюда Бошняк ознакомился и с подлинным донесением Степана Ивановича относительно Пушкина; он с него снял для себя даже копию:

«Прибывшие на сих днях из Псковской губернии достойные вероятия особы удостоверяют, что известный по вольнодумным, вредным и развратным стихотворениям титулярный советник Александр Пушкин, по высочайшему в бозе почившего императора Александра Павловича повелению определенный к надзору местного начальства в имении матери его, состоящем Псковской губернии в Опочецком уезде, и ныне при буйном и развратном поведении открыто проповедует безбожие и неповиновение властям, и по получении горестнейшего для всей России известия о кончине государя императора Александра Павловича он, Пушкин, изрыгнул следующие адские слова: «Наконец не стало Тирана, да и оставший род его недолго в живых останется!» Мысли и дух Пушкина бессмертны; его не станет в сем мире, но дух, им поселенный, навсегда останется, и последствия мыслей его непременно поздно или рано произведут желаемое действие».

«Какой же он дурак! — подумал Бошняк не без удовольствия, еще раз проглядев сей документ. — И как он в конце сам себя топит! Так-то, Степан Иванович, мы еще посчитаемся!»

Однако ж еще оставался игумен. Но он был о Пушкине немногословен и кратко сказал:

— Он ни во что не мешается и живет, как красная девка.

Бошняк против такой характеристики не возражал и, написав донесение, благоприятное Пушкину, отправил фельдъегеря, ждавшего на случай ареста, порожняком в Петербург.

Так отчасти соперничеством между двумя агентами и «научною» добросовестностью одного из них во многом определялась судьба Александра Сергеевича. Впрочем, Бошняк, хорошо различавший тонкий запах различных цветов, ещё у начальства верхним чутьем различил, что ветер, пожалуй, скорее попутный для ссыльного, чем супротивный. Видимо, там размышляли: «Бунт литераторов… но нельзя же совсем, до конца всех истребить… можно попробовать и приручать». И, благословись, он взял эту линию.

Может быть, тем же повеяло духом и на взморье у Риги. Если не привлечен, и если прошение подано, и предстоит коронация, надо так думать, что будут явлены милости. И маркиз Паулуччи писал по инстанции графу Нессельроде:

«Усматривая из представленных ко мне ведомостей о состоящих под надзором полиции, проживающих во вверенных Главному Управлению моему губерниях, что упомянутый Пушкин ведет себя хорошо, я побуждаюсь в уважении приносимого им раскаяния и обязательства никогда не противоречить своими мнениями общепринятому порядку, препроводить при сем означенное прошение с приложениями к вашему сиятельству, полагая мнением не позволять Пушкину выезда за границу и покорнейше Вас, Милостивый государь мой, прося повергнуть оное на всемилостивейшее его императорского величества воззрение и о последующем почтить меня уведомлением Вашим…»

Так и наверху постепенно оформлялось дальнейшее течение дела, а его направление, видимо, было подсказано еще Карамзиным.

Сам Пушкин ничего решительно об этом ходе событий не знал, как не подозревал и о сгущении вокруг него сыскной атмосферы. Он был потрясен ужасною вестью. Замолкло Тригорское, и мрачно в Михайловском,

Вернулся он поздно, няня спала; нашел ощупью спички и зажег свечу. Все как всегда. Но именно привычная жизнь казалась теперь неестественной, неправдоподобной — на фоне этих вторгшихся в нее и заполнивших все до горизонта чрезвычайных событий: точно так, как в первую минуту неправдоподобными показались сами эти события. Все восприятие жизни перевернулось: все, что было доселе видимо, живо и ощутимо, оказалось как бы на тыловой стороне, а все, что возникло из тьмы, — это и стало теперь настоящей и единственной реальностью. Да, даже привычные, обыденные предметы резали теперь глаз своим несоответствием с новою явью.

И он потушил свечу; ему казалось: так было правдивей, так будет легче.

Но легче не стало. Ночь была долгая. Сон и забвение не приходили. Едва заводил он глаза, ему мерещились виселицы. Большая одинокая муха, забравшаяся под полог, все время садилась ему на лицо, как если бы это было лицо мертвеца. Он сгонял ее, она садилась снова. Наконец он забылся на самое короткое время. Ему грезилось, кажется, как Машенька Осипова дергает нитку, а на стене пляшет тень от вырезанной ею обезьяны. А может быть, это плясала собственная его тень на потолке… на крюке… как сжигал он записки?

Он вдруг пробудился как бы от толчка, и ему показалось, что кто-то — не тень и не во сне — качается уже наяву под пологом в самом верху. Он испугался, но тотчас же все понял. Это было воспоминание раннего детства, землетрясение. Он вспомнил день — серый, осенний. Уже погуляв с няней на воздухе, он лежал в своей детской кроватке, также под пологом. Вверху на веревочке был привязан паяц. Он с ним обычно играл, приподымаясь к нему и раскачивая. И вдруг, так же вот задремав, как сейчас, ощутил он толчок — один и другой. Он открыл глаза и увидел, что паяц сам закачался у него перед глазами. Ему было тогда всего три с половиною года. И теперь было это ощущение где-то прогрохотавшего землетрясения, а образ подвешенного на нитке раскачавшегося шута вызвал в нем содрогание.

Утром сидел он один над тетрадью и упорно чертил один за другим профили, профили… И под пером возникала виселица и фигуры пятерых повешенных. Перо его было немо. Он пробовал что-то сказать, написать, а в голове возникала всего лишь одна короткая строчка: «И я бы мог как шут висеть…» Он писал ее, но онемевшая к буквам рука не могла дописать: «… как шут вис…» — и бросал перо.

Он отходил от стола и глядел в окно. Ничего не развлекало его взора. Он все думал и думал — о них и о себе. «И я бы мог как шут висеть…» Эта строка сидела в мозгу и билась в висках. От нее никуда не уйти. И вообще, кажется, он утратил способность и говорить и писать.

Все же отправился он, почти машинально, в Тригорское. Там тоже был траур.

Пушкин шагал по дороге и думал: что же такое есть милосердие? У него в голове остались слова: «…сообразуясь с Высокомонаршим милосердием…» И что же: не четвертовать, а повесить! О, гнусный убийца!

Он готов был кинуться на горячую землю и зарыдать от злобы и бешенства.

Прасковья Александровна, никогда не курившая, выкурила при нем две пахитоски. Она не спала эту ночь. Разговор с Пушкиным несколько ее облегчил. Она показала ему свой альбом, где Муравьев-Апостол за десять лет перед тем как бы сам предрекал свою гибель. Пушкин припомнил, как тогда, у Олениных, где он познакомился с Анной Петровной, другого Муравьева, семнадцатилетнего юношу, отсылали, как маленького, спать в десять часов. А теперь его отправляли в Сибирь!

Так он провел час или два. И, когда уже уходил, Осипова вспомнила вдруг и как бы между прочим сказала:

— Рокотов был. Откуда узнал — не догадалась спросить. В Италии умерла госпожа Амалия Ризнич; вы, кажется, знали ее по Одессе.

— Да, знал.

Пушкин домой шел не спеша. Сияла луна, и свет ее был мертвым, холодным. Смерть приходила за смертью и уже не потрясала. Он Ризнич любил с не меньшею страстью, нежели Керн. Как нежно-томительно тосковал он о ней, когда, бывало, не видит два иль три дня, с какою острою мукой ее ревновал и с каким тайным восторгом следил за ней на балу или в театре, где сидела она со своим постылым мужем, высокая, стройная, блестя очами и брильянтами… А бывали минуты, когда черные косы ее падали ниже колен и были похожи на змей. От запаха этих волос, когда она их распускала, у него кружилась голова и замирало сердце. Он искал теперь этих чувств и их напряжения — и не находил их в себе. Смерть легла между нею и им непреступной чертой, и были столь же сухи глаза, как и земля под ногами. Или есть мера и человеческим чувствам?

Он не спешил. Он пошел через Савкину гору и сел на надгробный чуть похилившийся камень. Он мечтал иногда, что построится тут и будет тут жить. И думал теперь: жить — пока жив.

Бедная Ризнич! Смертью своей она как бы прикрыла общим траурным полотном его тяжелые думы. Казнь вызывала в нем почти немоту и судорогу бешенства, — смерть же есть смерть, от нее не уйти, и она не замыкала уст. Он чувствовал, как холодок пробуждавшихся слов по нему пробегал. Мертвые — мертвы. Может быть, это страшно сказать? Но он чувствовал всем существом: между живыми и… отошедшими — «недоступная черта меж нами есть».

Через несколько дней Пушкин писал элегию на смерть Ризнич:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть, И равнодушно ей внимал я.

Но эти стихи о равнодушии не были равнодушны. Он был с собою открыт в них до конца. Нет, было дело не в том, что не хватило человеческих чувств, это было лишь инстинктивным противоположением жизни и смерти. Не так же ли, и чертя фигуры повешенных, думал он не только о них, но и о том, что избежал виселицы и остался в живых? В этой элегии было раздумье об отношении мертвого и живого. Живой отвращается от смерти, и пусть это страшно, но надо быть мужественным и доверить стихам правду такою, какова она есть.

Для себя он пометил, на самом стихотворении, эту неразрывную связь между стихами и двумя этими известиями, одно за другим — о казни пяти и о смерти самой Ризнич:

Усл. осм. 25

У. о. с. Р. П. М. КБ. 24.

Писем за все это время он почти не писал. Сказать то же самое в прозе, что выносили стихи, было почти невозможно. А только это одно на душе и лежало.

До сего времени было так: личное и современность; личное и история. Теперь одно догнало другое, и современность, история не только что рядом, они между собою слились в единое целое. И это было — как на вершине высокой горы — острое зрение: и то, что под ногами, и дальние дали — все неразрывно. И тут, как ни странно, была как бы прохлада, спокойствие созерцания.

Так, уже в августе, нарушая молчание и запрашивая Вяземского о судьбе «мятежного драгомана» и «Мирабо» — Николая Ивановича Тургенева, приговоренного заочно к смертной казни отсечением головы и будто бы выданного в Россию, — он решился сказать и свое основное: «Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна!» — и про свое письмо к императору: «Ты находишь письмо мое холодным и сухим. Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы».

Когда он писал письмо это Вяземскому, оказии не было, и, презрев осторожность, он отправил его просто по почте.

Итак, подо всеми этими событиями оставалось и личное. Он думал: но если остался в живых, это обязывает. Что он мог сделать отсюда, сидя в Михайловском? Мрачно он ждал коронации. Она должна была быть в августе, в Москве. Ждать оставалось недолго. Он прикидывал всячески свое положение. Он мог быть полезен друзьям и товарищам, если получит «прощение», но он готов был ответить, если придется, и сам за себя. Вне этих мыслей почти ничто его не занимало. И только с беглой улыбкой прочел он приписку сестры в письме князя Вяземского. Она сообщала о дружбе своей с Анной Петровной Керн и о том, что крестила ее девочку, которую нарекли так же Ольгой. «Может быть, это поможет мне возвратить хотя немного твоей нежности». Его насмешила последняя строчка: сестра воображала, что он так любит эту малютку. Может быть, она даже что-то подозревала… Ну и что ж!

Так же легко он обменялся стихотворными посланиями с Языковым. Однако и здесь, отвечая, он ощутил Языкова мягче и проще. Он взял даже прямо строку из давнего чернового наброска… к Жуковскому: «Как ты шалишь и как ты мил…», а самый этот набросок тут же перечеркнул. Но зато совсем по-иному воспринял он весть, пришедшую из Петербурга изустно: как Пущин, единственный из всех осужденных, пытался протестовать за себя и за товарищей во время чтения приговора.

Пушкин сжал зубы и про себя что-то решал; горячая кровь приливала к щекам.

Он писал в это время стихи, но никому из тригорских о них не обмолвился даже и намеком. Их было несколько, этих стихотворений. Это был цикл, подобный его «Подражаниям Корану», но писал он их с еще большим подъемом. Он чувствовал, как на

него ложилась обязанность — противопоставить себя тому, что творилось, он хотел обрести голос, которого было бы нельзя не услышать, с которым нельзя не считаться. В стихах была знойная сила и страсть убеждения.

Более чем когда-либо он рвался теперь из Михайловского. Он не проклинал эти свои деревенские годы. В конце концов жизнь его здесь была далеко не бедна. Он двинул «Онегина», дал «Годунова». Но он повелительно жаждал, чтобы стихи его непосредственно врезались в самую жизнь. Что же может, однако, сделать поэт? А разве пророки, себя выдвигавшие часто и против царей, разве не были они поэтами? У них был особый закал, это так. Ну, а как же назвать эти последние месяцы, как не закалом души?

Эти стихи носил он с собою в бумажнике. Он был готов, если окажется нужным, кинуть их прямо в лицо — хотя б и царю.

Как на игрушку, теперь он смотрел и на свои «Песни о Стеньке Разине». Не было ль это барским немного, простым любованьем отдаленными буйствованиями? А если уж брать эту тему, надо ее было брать широко и, пожалуй что, в прозе. Теперь же… теперь он порою действительно чувствовал, как весь перегорает в огне.

Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился…

Так он начал своего «Пророка».

Лишь понимать и созерцать — этого было мало. Надо готовым быть к действию. И Пушкин развертывал, сам для себя, эту картину преображения поэта в бойца. Его оружие по-прежнему — слово, но что же делает с ним серафим — вдохновение?

И он к устам моим приник И вырвал грешный мой язык, И празднословный, и лукавый, И жало мудрыя змеи В уста замершие мои Вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую во двинул.

Так вдохновение его, само обрызганное кровью, открывало в поэте «пророка», и отныне он хотел говорить как власть имеющий.

Таким же горячим напором, огромною внутренней силой дышали и другие его стихотворения этих дней. Одно из них, на листе почтовой бумаги, было открытою схваткой с царем. Так он и сам — «с вервием на вые» — готов был теперь к ожидаемой встрече, с глазу на глаз, с тем самым «убийцею гнусным», вопль о котором вырвался у него средь полей и которого теперь зашифровывал буквами «У. Г.».

Пушкин возвращался вечером из Тригорского. Его провожали. Коронация была уже, но для него все оставалось по-прежнему.

— Еще поживете у нас, — говорила Осипова. — Разве вам у нас плохо? Анна на днях возвращается…

Пушкин вздохнул: ужели опять все с начала…

— О чем вы там шепчетесь? — спросил он Евпраксию.

Валериан, осмелев, объявил:

— А мы спорим, какие глаза у вас. Она говорит: голубые, а я говорю: черные!

Пушкин не мог не рассмеяться:

— Сейчас ничего не видать. А вот приходите завтра ко мне — тогда и увидите!

— Дети, вы с Александром Сергеевичем совсем как с игрушкой, — заметила мать.

— Ну нет, — отвечала Евпраксия, — и вовсе даже наоборот. — И при этом глубоко и будто по-взрослому томно вздохнула.

Все рассмеялись, а Пушкин, прощаясь, еще раз ей напомнил, что завтра обоих их ждет.

Однако же Зизи можно было и не напоминать, и утром оба они побежали в Михайловское. Пушкина дома не оказалось. Их встретила няня.

— А он сказал: будет ждать! Няня, скажи, какие глаза у Александра Сергеевича: голубые иль черные?

Няня закрылась рукой и заплакала. Евпраксия с ужасом слушала, как она говорила сквозь слезы:

— Ночью… Жандармы приехали… И как в чем он был, вернувшись от вас, так и забрали… Ой, горюшко!

Валериан отступил в испуге, а Евпраксия опустилась на лавку и зарыдала.

Она плакала много и долго. Она ненавидела свет и царя. Она готова была побежать за ним… за Александром Сергеевичем… Побежать и не отдать! И как же здесь будет все без него? Озера по-прежнему, аист… зачем это все без него? Уж и няня теперь растроганно ее успокаивала:

— Вы вот говорили: глаза… Какие ж такие глаза? Глаза завсегда у него были добрые.

И тут они снова заплакали обе.

Действительно, Пушкин, вернувшись домой близко к двенадцати, тотчас же почти заслышал и звук бубенцов. Он насторожился. Сомнения не было: едут сюда!

— Няня!

Няня ложилась уже у себя и немного замешкалась, а когда вошла в комнату Пушкина, то оказалось, что перед ним стоял, вытянувшись, рослый жандарм, офицер.

— От его превосходительства господина губернатора вам предписание.

Пушкин взял толстый пакет, вскрыл его и прочитал:

«Милостивый Государь мой Александр Сергеевич! Сейчас получил я прямо из Москвы с нарочным Фельдъегерем Высочайшее разрешение по всеподданнейшему прошению вашему, с коего копию при сем прилагаю. Я не отправляю к вам Фельдъегеря, который остается здесь до прибытия вашего, прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне. С совершенным почтением и преданностью пребыть честь имею Милостивого Государя моего покорнейший слуга Борис фон Адеркас».

При письме губернатора была и копия с секретного предписания барона Дибича о позволении чиновнику 10-го класса Александру Пушкину «отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу главного штаба его императорского величества».

Пушкин не мешкал. Давно уже внутренне он был готов к этой минуте. Впрочем, от зоркого его внимания не укрылась и такая подробность… Адеркас писал фельдъегеря уважительно — с большой буквы, а Дибич, с высоты своего величия, — с маленькой. Да, все прочно стояло на своих местах! Но для него главное было не в том… Он потрогал бумажник: стихи были с ним!

— Няня, не плачь!

Она перекрестила его широким, по-деревенски, крестом. Он обнял ее за милые с детства, теплые плечи и несколько раз крепко поцеловал в мокрую щеку.

Выходя, он попрощался и с Архипом-садовником, не спускавшим с него единственного своего глаза. Что-то надо было сказать и ему, спутнику зимнего бегства.

— Ты что же не спишь? Вяз береги. Сто лет ему жить!

Жандарм пропустил Пушкина первым, и они поскакали, передыхая лишь для того, чтобы перекусить. Дорога под Псковом была сплошные пески, но ямщик, не жалея, гнал лошадей.

— Куда же прикажете?

— Прямо гони к губернатору!

«Да, — думал меж тем Адеркас, заслышав по улице скорые бубенцы тройки, — да, между нас разница дьявольская!» Все в том же своем кабинете принял он Пушкина. Пожалуй что долгий их разговор был бы теперь и неуместен, но перед дальней дорогой, хотя бы и самый легонький, — завтрак!

Пушкин черкнул несколько успокоительных слов Прасковье Александровне, и вместе с фельдъегерем они поскакали в Москву.

На станциях ожидания не было, и лошадей давали мгновенно. Станционные смотрители, привычные ко всему: и к начальству и к арестантам, все же покачивали головою с недоумением: «А не вернее ли так, что какой-нибудь особенно важный преступник?..»

Два года прошли. Сидение в Михайловском кончилось. Когда-то он ехал сюда, и были думы его о Воронцовой. Как это все далеко! Думы теперь — о царе. Сидение кончилось, — конец ли изгнанию? Дибич писал: «позволить отправиться». Было неясно. Как и смотрители, видно, и он точно не знал: не арестант ли? Но, как бы там ни было, что бы его ни ожидало, он был готов на очную ставку с царем.

Полосатые версты мелькали, как частокол. Кони летели по воздуху, пожирая пространства. Так наконец настало движение. Пушкин не раз трогал в дороге бумажник: «Пророк» был при нем.